В. ПИДМОГИЛЬНЫЙ

ГОРОД

ГОСИЗДАТ

1929



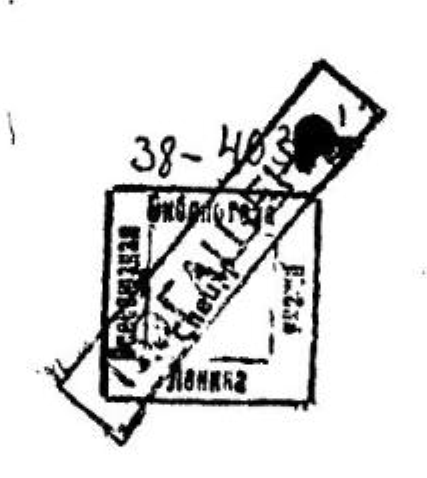
ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР

ВАЛ. ПИДМОГИЛЬНЫЙ

ГОРОД

РОМАН

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО
Б. ЕЛИСАВЕТСКОГО





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1930 ☆ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в типографии Госиздата
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ",
Москва, Краснопролетарская, 16,
в количестве 3 000 экземп.
Главлит № А — 43397.
Гиз X—22 № 31728.
Зак. № 9351.
19 п. л.

☆



ПРЕДИСЛОВИЕ

Сюжет о крестьянине, очутившемся в городе и подвергающемся сложному влиянию урбанистской культуры, стал одним из центральных и кардинальных сюжетов украинской художественной литературы последних десятилетий. Ибо процесс индустриализации и урбанизации Украины к началу XX века начинает развиваться особо энергичным темпом. Черноземная крестьянская Украина, быстро покрывшаяся сетью сахарных заводов и шахт, на некогда диких запорожских степях которой дымили мощные металлургические и сталелитейные заводы, окончательно теряла свою патриархальную старосветскость—параллельно с тем, как классово-расслоенные украинские села ежегодно—в возрастающей прогрессии—выбрасывали к заводским воротам и на городские тротуары массу крестьянской живой силы, ищущей заработка, так называемых «заробитчан». Этот процесс нашел рельефное отражение—и под социологическим и под психологическим аспектом—у лучших украинских классиков предоктябрьского периода, в частности у Ивана Франко, Коцюбинского, Чернявского. Для дооктябрьской украинской литературы, в значительной мере проникнутой крестьянской психологией или, скажем точнее, психологией интеллигентов, связанных с селом, город всегда казался каким-то чудовищем, чем-то вроде верхарновского «города-спрута», каким-то

развратителем душ и тел. Это понятно: город разлагал деревню, пожирал ее рабочие силы. Даже у Ивана Франко—наиболее прогрессивного из дооктябрьских писателей—мы можем встретить характеристику города как людоеда. «Пришел Матвей в город людоедов»—так начинается одна из его значительных поэм. Иным и не мог представляться чуткому украинскому писателю город дооктябрьской эпохи, когда эксплоатируемый на заводе крестьянин испытывал тройной гнет: не только социальный и экономический, но и национальный.

Параллельно с этим в буржуазно-интеллигентских кругах украинской литературы начала XX века постепенно культивируется диаметрально противоположное отношение к городу—раболепно-восторженное, надрывно-богемское, прославляющее не подлинную мощь городской культуры, а ее внешнюю, чисто показную, мишурную величественность, теневые стороны города с его туманами и копотью, с ресторанами-фантасмагориями, с его проститутками, короче говоря—город, показанный в декадентском восприятии тротуарных фланеров и завсегдатаев кафэ.

В конечном счете, оба эти отношения к городу питались своими корнями в одной и той же социальной почве и, в сущности, только дополняли и логически продолжали друг друга. Только на почве Октября, практически осуществившего смычку города с пролетаризующимся селом, урбанистские мотивы в художественной литературе находили и продолжают находить свое здоровое разрешение.

Все же—мы это отметим сразу—Валериан Пидмогильный, несмотря на то, что автор «Города»—писатель послеоктябрьской эпохи, трактует тему о переживаниях крестьянского парня, попавшего в городскую обстановку, исключительно в дооктябрьском декадентском

духе. Проблема взаимоотношений советского города и советского села в широком плане не заинтересовала художника. Перед нами не столько роман о городе во всей его сложности, сколько повесть о городской богеме, поймавшей в свои соблазнительные сети упрямого, эгоистичного и талантливого крестьянина-вузовца. Сюжет произведения движется совсем не по широким социологическим рельсам, как можно было бы ожидать, исходя из вызывающе-подчеркнутого заглавия романа, а по узкоколейке психологизма. Центр тяжести его не в анализе социальных взаимоотношений города и села, а исключительно в анализе настроений центрального персонажа, перерождающегося из неуклюжего, но идейного крестьянского парня Степана в циничного, самовлюбленного богемьена Стефана. Это—если не автобиографический, то в некоторой мере автопсихологический роман, интереснейший психологический документ, посвященный советской литературной богеме.

Замечательно, что несмотря на свою сугубую психологичность, роман оказался чрезвычайно читабельным. Уверенной рукой мастера ведет нас Пидмогильный по этапам врастания Степана Радченко, вчерашнего повстанца и сельского культработника, в круг богемских мироощущений. С тонкой иронией показывает талантливый украинский беллетрист, как Степан Радченко, недавно ожесточенно проклинавший город за его пышные витрины, за его праздную уличную толпу, тосковавший по идиллии сельской жизни, постепенно поддается городским соблазнам, с трепетом вдыхает аромат парижских духов у случайно проходящей дамы, мечтает об элегантных костюмах, о внешнем лоске, и новыми костюмами, равно как и новыми—с каждым разом более «светскими» любовницами—отмечает вехи своей карьеры. С неменьшей художественной убедительно-

стью изображены беллетристом моменты смены творческого подъема полосами творческой депрессии.

«Город» в связи с его социальным эквивалентом вызвал на Украине как в литераторских, так и в читательских кругах чрезвычайно много споров, зачастую подвергаясь—на устных диспутах и в журнальных статьях—острым обличительным нападкам пролетарской критики. При этом спорящие стороны, с редким единодушием, как нечто абсолютно бесспорное, признавали безупречное мастерство романа и незаурядную талантливость автора.

Валериан Пидмогильный—автор «Остапа Шапталы», «Третьей революции», «Проблемы хлеба»—выходец из крестьянской семьи. Он родился в 1901 году в Екатеринославской губернии. Дебютировал в 1919 году и, таким образом, принадлежит к первой фаланге украинских послеоктябрьских беллетристов.

Среди них, однако, будущий автор «Города» сразу занял обособленное место. Он специализировался исключительно на изображении индивидуалистически-настроенных интеллигентов. Он занял позицию скептического наблюдателя современности, преломляя ее сквозь призму несколько изломанной трагедийности этих анархиствующих интеллигентов.

Как мастер художественной прозы, он—один из лучших продолжителей традиции Коцюбинского, обогащающий эту традицию украинского европеизма непрерывной учобой у лучших-французских новеллистов.

Действительно—в импрессионистическом стиле Пидмогильного есть нечто французское в лучшем смысле этого слова. Ему свойственно большое чувство меры, чувство вкуса, искусство давать одновременно четкий, тонкий и скупой психологический рисунок. «In Begrenzung zeigt sich der Meister» «в самоограничении про-

является истинный талант». Пидмогильный верен этому завету и в выборе тематики, и в отборе лексики, и в самом легко скользящем, подернутом дымкой иронии стиле—типичном «style coulante» французов, благодаря чему его произведения (при всей их социологической недовершенности, а иногда и ошибочности) находятся на неизменно значительной художественной высоте.

Мы не сомневаемся, что русский читатель прочтет роман Пидмогильного с тем же эстетическим наслаждением, с каким он был прочитан на Украине.

А. Лейтес.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Казалось, плыть дальше некуда. Днепр как бы застыл в заливе, окруженный справа, слева и спереди зелено-желтыми предосенними берегами. Но пароход вдруг свернул, и длинная спокойная полоса реки потянулась дальше, к чуть заметным на горизонте холмам.

Степан стоял на палубе у перил, невольно погружаясь глазами в даль, и мерные удары лопастей пароходного колеса, глухие слова капитана у рупора обессиливали его мысли. Они растерялись в туманной дали, где незаметно исчезала река, словно горизонт был последней гранью его желаний. Молодой человек медленно посмотрел на ближние берега и немного смутился—на повороте справа выросло село, скрывавшееся до сих пор за изгибами лугов. Августовское солнце стирало с белых хаток грязь, узорило черные дороги, которые убегали в поле и исчезали где-то, синея, как река. И казалось, пропавшая дорога, соединившись с небом в безграничной равнине, снова возвращалась к селу, неся ему впитанные в себя просторы. А третья дорога, скатившись к реке, передавала селу свежесть Днепра. Деревня спала среди солнечного дня, и тайна была в этом сне среди стихий, питающих его своей мощью. Тут, у берега, село казалось родным творением просторов, волшебным цветком земли, неба и воды.

Покинутое Степаном родное село тоже стояло на

берегу, и он бессознательно искал сходства между ним и этим, случайно встретившимся ему на великом пути. И радостно чувствовал, что сродство это есть и что и в эти хаты, как и в свои оставленные, он зашел бы хозяином. С сожалением смотрел, как тает оно, отодвигаясь с каждым движением машины, и вот пряди противного дыма спрятали его совсем. Тогда Степан вздохнул. Может быть, это было уже последнее село, которое он увидел перед городом.

Он ощутил в своей душе неясное волнение и истому, словно в родном селе и во всех других, которые видел, он оставил не только прошлое, но и надежды. Закрыв глаза, он отдался грусти, баюкавшей душу.

Когда он выпрямился, рядом с ним у перил стояла Надийка. Он не слышал, как она подошла, и обрадовался, хоть и не звал ее. Он тихо взял ее за руку. Она вздрогнула и, не подымая головы, смотрела на веерообразную волну, гонимую носом парохода.

Они жили в одном селе, но до сих пор были мало знакомы. Он знал об ее существовании, о том, что она занимается и даже не выходит на гульбище. Несколько раз видел он ее в «Доме крестьянина», где ведал библиотекой. Но тут они встретились как бы впервые, и общность судьбы сблизила их. Она, как и он, ехала в большой город учиться, у них обоих в карманах были командировки и перед обоими была новая жизнь. Одновременно переходили они границу будущего.

Правда, ее положение было несколько лучшим—она говорила, что родители будут присылать ей продукты, а он надеялся только на стипендию; она должна была остановиться у подруг, а у него было лишь письмо от дяди к знакомому торговцу. Натура у нее была живая; он был сосредоточенным и как бы вялым. За свои двадцать пять лет он был подпаском-приемышем, потом

просто парнем, затем повстанцем и последнее время секретарем сельбюро союза Рабземлес. Только в одном он имел над ней перевес—был способным и не боялся экзаменов. За этот день, проведенный на пароходе, он успел разъяснить ей много темного в социальных дисциплинах, и она очарованно слушала его приятный голос. Когда отходила на мгновенье, ее сразу охватывала скука. А когда он начинал разъяснять ей непонятные экономические проблемы, ей хотелось, чтоб парень рассказал о чем-то другом: о своих надеждах, о том, как он жил тогда, когда они еще не были знакомы. Но она только благодарила его за объяснение и убежденно говорила:

— О, вы получите стипендию! Вы так подготовлены.

Степан улыбался, ему приятно было слышать похвалу и веру в свои силы от этой синеглазой девушки. И действительно, Надийка казалась ему самой красивой женщиной на пароходе. Длинные рукава ее серой блузки были ему милее иных голых рук; воротничок оставлял на виду только узенькую полоску тела, а другие бесстыдно выставляли напоказ плечи и линии груди. Ботинки ее на маленьких каблучках были округлены, а колени не выглядывали беспрестанно из-под юбки. Степана радовала ее безыскусственность, такая близкая его душе. К другим женщинам он относился с легким презрением и даже с боязнью. Чувствовал, что они не обращают на него внимания, игнорируют его за плохонький френч, рыжий картуз и выцветшие брюки.

Он был высок ростом, хорошо сложен и смугл лицом. Небритые неделю щеки придавали ему неряшливый вид. Брови у Степана были густые, глаза большие, серые, лоб широкий, губы чувственные. Темные волосы он откидывал назад, как многие из сельских парней и никто теперь из поэтов.

Степан держал руку на теплых Надийкиных пальцах и задумчиво смотрел на реку, песчаные крутые берега и одинокие деревья на них.

Вдруг Надийка выпрямилась и, взмахнув рукой, сказала:

— А Киев уж близко.

Киев! Это тот большой город, куда он едет учиться и жить. Это то новое, во что он должен войти, чтобы достичь своей взлелеянной издавна мечты. Неужели Киев в самом деле близко? Степан заволновался и спросил:

— А где Левко?

Они оглянулись и увидели на корме группу крестьян, расположившихся обедать. На разостланной перед ними свитке лежали хлеб, лук и сало. Левко, студент-сельскохозяйственник из того же села, сидел с ними и ел. Он был добродушен и не по росту толст. Прежде из него вышел бы идеальный священник, а теперь—образцовый агроном. Сам крестьянин от деда и прадеда, он прекрасно сумел бы помочь крестьянину либо проповедью, либо научным советом. Учился он очень аккуратно, ходил в поддевке и всего больше любил охоту. За два года голодного пребывания в городе он выработал и до конца оформил основной закон человеческого существования. Из распространенного во время революции лозунга «кто не работает, тот не ест» он вывел для себя категорический тезис: «Кто не ест, тот не работает»—и применял его при всяком случае и возможности. На пароходе крестьяне охотно угощали его сельскими продуктами, а он за это рассказал им много интересных вещей о планете Марс, о сельском хозяйстве Америки и о радио. Они удивлялись и осторожно, немного насмешливого, втайне не веря, расспрашивали об этих чудесах и о боге.

Левко подошел к своим молодым коллегам, усмехаясь и слегка покачиваясь на коротких ногах. Усмехаться и быть в хорошем настроении было его основным свойством, критерием его отношения к миру. Ни бедность, ни наука не могли убить в нем благодушия, выработанного под тихими вербами села.

Степан и Надийка связывали узлы. Еще один поворот руля, и в конце песчаных берегов реки слева легли серые полосы города. Пароход протяжно крикнул перед разведенным понтонным мостом, и этот пронзительный крик отозвался в сердце Степана болезненным отзвуком. Он забыл на этот миг о своих как будто бы сбывшихся стремлениях и тоскливо смотрел на струю белого пара над свистком, который давал последний сигнал его прошлому. И когда свист внезапно оборвался, в душе его стало тихо и мертво. Он ощутил где-то в глубине глупый прилив слез, совсем не подходящих к его годам и положению. И удивился, что эта влага еще не высохла в бедствиях и работе, что она затаилась и вот неожиданно и некстати прилила к глазам. Это так его поразило, что он покраснел и отвернулся. Но Левко заметил его волнение. Он положил ему на плечо руку и сказал:

— Не горюй, парень!

— Да я ничего,—неловко ответил Степан.

Надийка засыпала Левко вопросами. Он должен был назвать ей каждую горку, каждую церковь, чуть ли не каждый дом. Впрочем, Левко обнаружил очень слабое знание местности. Лавру, правда, он назвал, памятник Владимиру тоже, но за то, что горка, где стоит памятник, называется Владимирской, он поручиться не мог. В Киеве он живал, но знал небольшой район— улицу Ленина и институт. Из этого района он почти не выходил, разве только раза три за зиму в пятое

госкино на американские трюковые фильмы да изредка ездил охотиться по линии Киев—Тетерев. Поэтому он не мог удовлетворить Надийкиного любопытства, которое усиливалось все больше и больше. Группы домиков, таких крошечных и смешных издалека, приводили ее в восторг, и она веселым смехом выдавала свою радость, что будет тут жить.

Но внимание ее скоро отвлеклось от города. Она смотрела на моторные лодки, которые бодро стучали по реке, на обыкновенные лодки, где полуголые загоревшие спортсмены упражняли мускулы и весело качались на волне, гонимой пароходом. Смелые пловцы бросались чуть не под самое колесо и радостно вскрикивали. Внезапно мимо парохода белым привидением пролетела трехмачтовая яхта.

— Смотрите, смотрите!—вскрикнула девушка, засмотревшись на необычайные треугольные паруса.

На палубе яхты было трое юношей и девушка в газовом шарфе. Она казалась русалкой из старых сказок, которой нельзя было даже завидовать.

Ближе к Киеву движение на реке увеличилось. Впереди лежал пляж—песчаный остров среди Днепра, куда три моторки без устали перевозили с пристани купающихся. Город сбегал с горы к противоположному берегу. С улицы Революции по широким ступеням катилась к Днепру разноцветная волна юношей, девушек, женщин, мужчин—бело-розовый поток движущихся тел, предвкушавших наслаждение от солнца и купанья. В этой толпе не было печальных. Тут начиналась новая земля, земля первобытной радости. Вода и солнце принимали всех, кто покинул только что перо и весы—каждого юношу, как легендарного Кия, и каждую девушку, как новую Лыбедь. Закованные в одежду бледные тела выходили из тюрьмы, расцветали

бронзой в горячей истоме на песке, как затерянные где-то на нильских берегах дикари. И в каждом воскресала первобытная жизнь, и только легкие купальные костюмы напоминали о тысячелетиях.

Контраст мрачных сооружений над берегом и этого беззаботного купанья казался Надийке поразительным и очаровательным. В этих противоположностях она познавала размах городской жизни и ее возможности. Девушка не скрывала своего восторга. Ее ослепляла пестрота костюмов, гамма, тел, от бледнорозовых, только что выставленных под солнце, до каштаново-черных, уже закаленных в жгучих летних лучах. Она страстно повторяла:

— Как это красиво! Как красиво!

Степан не разделял ее восторга. Вид голой беспорядочной толпы был ему бесконечно противен. И то, что Надийка присоединяется к этой смешной и беспутной толпе, неприятно поражало его. Он мрачно сказал:

— От жиру все это.

Левко смотрел на людей снисходительней:

— Сидят в конторах, ну и дуреют.

Пробившись в толчее на берег, они стали в стороне, пропуская пассажиров. Восторг Надийки увял. Город, который издали казался белым от солнца и легким-легким, тяжело нависал над ними. Надийка робко оглядывалась. Ее оглушали крики торговок, свистки, лязг автобусов, отходивших в Дарницу, и ровное пыхтенье паровой машины где-то по соседству на мельнице.

Степан скрутил из махорки папиросу и закурил. По привычке следовало сплюнуть, но он проглотил слюну вместе с горькой махорочной пылью. Все кругом было странным и чужим. Он видел тир, в котором стреляли из ружей, ларьки с мороженым, пивом и квасом, торговок с булками и семечками, мальчиков с ирисками,

девочек с корзинками абрикосов и морелей. Мимо него проплывали сотни лиц, веселых, серьезных и озабоченных, жалобно причитала обокраденная женщина, кричали, играя, беспризорные. Так здесь бывает всегда, так было и тогда, когда его нога ступала еще по мягкой дорожной пыли села, так будет и дальше. И всему этом он был чужд...

Пассажиры разошлись. Пароход начали разгружать. Длинными сходнями пошли полуголые грузчики с мешками, тюками и фруктами. Потом понесли растопыренные воловьи туши и покатили засмоленные вонючие бочки.

Левко повел их в город, показывая дорогу. На улице Революции их пути расходились: Степан шел на Подол [1], Левко с Надийкой в Старый Город [2].

— Ты же ко мне переходи, если что там,—сказал Левко.—Адрес записал?

Степан быстро попрощался и свернул направо, расспрашивая прохожих, как ему пройти. Проходя мимо книжного магазина, он остановился у витрины и начал рассматривать книги. Они еще с детства были для него родными. Еще совсем мальчонкой, не умея читать, он любил перелистывать единственную книгу, украшавшую божницу дядиной хаты,—какой-то столетний журнал с бесконечными портретами царя, архимандритов и генералов. И как раз не на картинках, а на рядах черных ровненьких строчек останавливались его глаза. Он даже не помнил, как выучился читать. Как-то случайно. И с наслаждением выговаривал слова, не понимая их содержания.

У витрины он стоял долго, читая одно за другим

---

[1] Прибрежная часть Киева.

[2] Центр.

названия книжек, издательств и даты изданий. О некоторых из них он думал, что они ему нужны будут в институте. Вся эта масса томов производила на него странное впечатление. Среди них он увидел только одну прочитанную книгу. В них словно сосредоточилось все то чужое, которое невольно пугало его, все опасности, которые он должен преодолеть в городе. Вопреки желанию и всем первоначальным расчетам, безнадежные мысли, вначале в виде вопросов, начали овладевать юношей. Ну, для чего ему нужно было сюда тащиться? Что будет? Как он будет жить? Он пропадет, он нищим вернется домой. Не лучше ли было двинуться в свой окружной город на педкурсы? Для чего эти детские выдумки с институтом и Киевом? И юноша стоял у небольшого подольского книжного магазина, казавшегося ему ослепительным, словно колеблясь—не вернуться ли назад на пристань.

«Я устал с дороги»,— подумал он.

На счет усталости он и отнес отяжеление мускулов и нежелание двигаться, которое его охватило. Он чувствовал себя посыльным, выполняющим чрезвычайно важное чужое поручение. Свои давнишние желания он вдруг воспринял как постороннее принуждение и покорился ему не без глухого отвращения. И пошел дальше, гонимый поблекшими на миг, но цепкими мечтами.

На Нижнем Валу [1] он отыскал тридцать седьмой номер, вошел во двор и, поднявшись на крыльцо, постучал в глухие, изъеденные червями двери.

Отворил ему человек в жилетке, с короткой бородой и проседью в волосах. Это и был рыбный торговец Лука Демидович Гнедой, который во время революции

[1] Название улицы.

и городских бедствований сделал родное село Степана Теревени центром своих товарообменных операций и всегда останавливался в хате дяди Степана. Теперь рыбный торговец должен был расквитаться за эти услуги, хотя те годы уж прошли, да и совсем не такими были, чтоб принято было их вспоминать. Он немного испуганно посмотрел на Степана поверх очков, потом беспокойно разорвал конверт, просмотрел письмо и, читая его, молча пошел в комнаты.

Степан остался один перед раскрытыми дверями. Узлы жали ему плечо, и он сбросил их. Подождав несколько минут, сел на крыльце. Улица перед ним была пуста. За все время, что он тут был, никто не прошел, один лишь извозчик проехал, опустив вожжи. Юноша начал сворачивать папиросу, сосредоточив на ней все внимание, как человек, который хочет отделаться от надоедливых, но бесцельных мыслей. Немного послюнив край грубой махорочной бумаги, осторожно слепил свое изделие и полюбовался им. Папироса вышла удивительно ровной, немного заостренной в конце, чтобы ее легче было закурить. Взяв ее в рот, Степан откинул полу френча и опустил руку в глубокий, но единственный в брюках карман. Перебрав рукой сокровища, лежавшие в кармане,—ножик, старый кошелек, случайную пуговицу и платок,—он достал коробку спичек, но она была пуста. Последнюю спичку он потратил на пристани.. Степан бросил коробку наземь и растоптал ее сапогом.

И оттого, что не мог закурить, курить хотелось еще сильнее. Поднявшись, он подошел к калитке, высматривая случайного курящего прохожего, но подольская улица была, как и раньше, пустынной. Ряд низеньких старомодных домиков кончался у берега ободранными, давно немазаными халупами. Мощеная мостовая и тро-

туар исчезали за полквартала отсюда. Одинокий, голый от старости тополь странно торчал перед чьим-то окном.

Вдруг кто-то на крыльце позвал его по имени. Юноша вздрогнул, будто попался на месте преступления. Гнедой звал его.

«Я буду тут жить»,—думал Степан, и эта мысль казалась ему странной, как тополь, который он только что увидел.

Но Гнедой повел его не к дому, а в глубь двора, к сараю. Степан шел сзади и смотрел ему в спину. Торговец был сутуловат и тонконог. Он был невысокого роста, но его худые ноги казались длинными и несгибаемыми. И Степан подумал, что такие ноги легко переломать.

Подле сарая Гнедой остановился, отпер замок, открыл дверь и произнес:

— Вот тут перебудете.

Степан заглянул через его плечо в небольшую каморку. Это была маленькая столярная. У стены стоял верстак, на полках инструмент. Напротив темнело крохотное оконце. Пахло стружками и свежим деревом. Юноша так удивился, что невольно переспросил:

— Это тут?

Гнедой, звякая ключами, повернул к нему очки.

— Вам же не надолго?

Лицо его было в морщинах. Что-то приниженное было в его глазах.

Степан несмело вошел и положил в угол узлы. Наклоняясь, он увидел сквозь щель между досками своих соседей за перегородкой—пару коров, которые спокойно жевали у яслей. Хлев—вот где он будет жить! Как животное, как настоящая скотина! Он почувствовал, как быстро забилось сердце и кровь прилила к лицу. Он выпрямился, весь красный от оскорбления,

посмотрел Гнедому в выцветшее лицо, за которым, казалось, не было ни желания, ни мысли, и, чувствуя какое-то превосходство над ним, сказал:

— Спичку дайте. Прикурить.

Гнедой покачал головой.

— Я не курящий... Да и вы осторожней: тут дерево.

Он прикрыл двери, и еще минуту был слышен издалека звон его ключей. Степан большими шагами ходил по каморке. Каждый шаг его был угрозой. Такого унижения он не ждал. Он шел на голод, на беду, но не в стадо. Он, правда, когда-то пас коров. Так неужели же после революции, после повстанчества, какой-то торговец, тонконогое ничтожество, имеет право загнать его в хлев?

Маленькое оконце в каморке темнело. Летний вечер покрывал его. Степан остановился подле него. Над сплошной массой однообразных крыш вздымалась к небу фабричная труба. Черные клубы дыма незаметно сливались с светлосиними сумерками. Словно проходили сквозь небо, в глубь космоса.

Папироса уже порвалась меж пальцами и высыпалась. Он свернул новую и вышел во двор. Ну что же, он пойдет в дом, пойдет в кухню и достанет огонь. Чего там стыдиться! Разве это люди? Но на крыльце сидел какой-то юноша, и, когда Степан наклонился к нему, чтобы прикурить, он сказал:

— Закурите мою!

Степан удивился, но папиросу взял. Раскуривая, он смотрел на юношу. Тот безразлично пускал дым. Когда Степан поблагодарил, он лишь молча кивнул головой, словно о чем-то глубоко задумался и собирается просидеть тут до утра.

Степан лег в своей каморке на верстак, с наслаждением затягиваясь пахучим пьянящим дымом. Он мечтал,

закрыв глаза, и пришел к выводу, что все хорошо. То, что он в хлеву, казалось ему теперь забавным. Он дважды стукнул кулаком в стенку к коровам, рассмеялся и раскрыл глаза. За окном над трубой стоял ясный серп полумесяца.

II

Был день, когда Степан проснулся и поднялся на верстаке. Тело его онемело от лежания на голом дереве, но он не обращал внимания на эту усталость и со страхом протирал глаза. Сегодня вступительный экзамен—не проспал ли он? Припомнив, что экзамен назначен на час дня, немного успокоился и потянулся. Он почувствовал щемящую боль в шее и потер ее рукой.

Тихий однообразный шум слышен был из-за перегородки, которая отделяла его помещение от стойла,—там доили коров. Это успокоило его: еще рано. Он сидел на верстаке, упираясь руками в колени, склонив растрепанную голову, и припоминал. Детали вчерашнего дня проходили перед ним ясной нитью. Может, еще с того времени, когда он был пастушком и, подолгу лежа в поле, плел кнуты и корзинки, он выработал в себе привычку к самоуглублению. И теперь, припоминая прошедший день, остался недоволен собой. Он поймал себя на колебании, на какой-то минутной упадочности—словом, на том, что можно назвать малодушием. А права на это он, по собственному мнению, не имел никакого. Он—новая сила, призванная из деревни к творческой работе. Он—один из тех, которые должны бороться с гнилью прошлого и смело строить будущее. Даже за ту ароматную папироску, подачку какого-то барчука, ему было теперь стыдно.

Степан откинул со лба нависшие волосы и начал быстро одеваться. Вытряхнул френч, потер локтем брю-

ки, чтоб счистить с них пыль, и развязал свои узлы. В них были продукты, солдатская шинель царского времени и смена белья. Опорожнив один узел на пол, юноша вытер мешочком сапоги, поплевал на них и снова вытер. Теперь он был совсем молодцом.

Умыться было негде. Поэтому он решил выкупаться после экзаменов в Днепре, а пока принялся за завтрак. Привез он три хлеба, с полпуда пшеничной муки, фунта четыре сала, десяток вареных яиц, мешочек гречневой муки. Неожиданно из узла выкатилась пара картошек, и юноша громко рассмеялся такой находке. Сложив все продовольственные достатки на верстак, он поставил рядом для порядка походный котелок и уже начал резать хлеб, но вдруг вспомнил о физкультуре. Ему непременно хотелось начать день нормально, по-городскому, так, как будто он уже вполне освоился в новой обстановке. Важно сразу же установить для себя норму, ибо в порядке—залог успеха.

Степан поднялся и начал искать подходящий для упражнения объект. Схватив скамью, он несколько раз подбросил ее, довольный ловкостью и упругостью мускулов. Поставил ее, но не был еще удовлетворен. Любовно ощупав свои бицепсы, подпрыгнул, ухватился за край низкой перекладины и начал подтягиваться на руках все с большим и большим напряжением и упорством. И когда в конце концов спрыгнул на землю, красный от напряжения и удовольствия, то, повернувшись к дверям, увидел женщину с подойником в руке. Она смотрела на него испуганно и беспокойно.

— Я тут спал,—пробормотал юноша.—Мне позволили.

Она молчала. Степан чувствовал себя немного неловко, но не потому, что был без френча и сорочка высунулась от резких движений из-под пояса, как у ребенка, а потому, что физкультура вышла из надлежащих рамок

и превратилась в баловство, неподходящее ни к его серьезности, ни к положению. Верно, дойльщица будет трепать языком, что он пробовал влезть на чердак и что-то украсть. Он откинул назад волосы и, считая разговор оконченным, хотел приняться за завтрак, но она вошла в его кабинет, посмотрела на вещи и поставила на пол ведро с молоком.

— Твердо было спать?—уныло и устало спросила она, пощупав рукой верстак.

— Н-да,—недовольно пробурчал Степан.

Все-таки она не уходила. Что ей, собственно, нужно? Что это за подозрительный и пристальный осмотр? Он недвусмысленно нахмурился.

— Я—хозяйка,—объяснила наконец женщина.—Хотите молока?

Хозяйка! Сама коров доит! Ага, профсоюз кусается с прислугой! Конечно, от своего брата-доильщицы он взял бы молоко, но благодеяния хозяйки ему не нужны.

— Нет, не хочу,—ответил он.

А хозяйка, не ожидая ответа, уж наливала ему котелок.

— Умыться можете во дворе, там есть кран,—прибавила она, забирая ведро.

Степан смотрел ей вслед. У нее была толстая круглая спина,—раздобрела на привольных харчах! Он сердито надел френч и застегнулся. Нарезав сала и хлеба, начал завтракать, размышляя об экзамене. Нечего ему бояться! Математику знал он чудесно! Чтоб проверить себя, припомнил формулы площадей всех фигур, квадратные уравнения, соотношения тригонометрических функций. И хоть бессознательно припоминал то, что знал наилучше, ему все же приятна была ясность своих знаний. Об экзаменах по социальным наукам он даже не думал—столько докладов делал на селе и каждый

день столько газет читал. Плюс социальное происхождение, ревстаж и профессиональная работа. На фронте науки он был вооружен не плохо.

Посмотрев документы, он также остался доволен. Все было в порядке. Кучкой бумаг лежала вся его жизнь за последние пять лет—повстанчество во время гетманщины, борьба с белыми бандами, культурная и профессиональная работа. С удовольствием перечитал он кое-что. И чего тут только не было! Был плен и побег из-под расстрела. Были митинги, агитация, резолюции, борьба с темнотой и самогоном. И как приятно видеть все это в штампах, печатях, ровных строчках печатной машинки и неуклюжих кривульках полуграмотных рук!

Степан бодро поднялся, спрятал документы в карман, заострил ножиком карандаш и приготовил бумагу. Пора итти. Накрыв свои продукты мешочком, он остановился около молока. Правду говоря, ему хотелось пить. Соленое сало с хлебом так и просит жидкого. А молоко все равно прокиснет в таком тепле. Он взял котелок, опорожнил его одним приемом и с презрением бросил посуду на верстак. С паршивой овцы хоть шерсти клок!

Выйдя во двор, накинул на двери крючок и направился на улицу. Перед тем как итти в институт, он хотел побывать в профсоюзе по вопросу о работе. Сегодня он очень легко ориентировался в городе и мало обращал на него внимания. Озабоченный важным вопросом о своем устройстве, он больше смотрел в самого себя, нежели кругом.

Во Дворце-труда Степан едва нашел среди сотен комнат нужный ему отдел Рабземлеса. Так как он считал свое дело очень важным, то решил обратиться к председателю правления. Ему пришлось ждать, но он не огорчился—во-первых, было только десять часов, во-вторых, ждал он, сидя на скамейке рядом с другими

посетителями, как равный с равными. Попросив у соседа свежую газету, он, не теряя времени, познакомился с новостями в международном положении Союза республик и оценил его, как благоприятное. Затем перешел к отделу «Жизнь села». Он прочел его с увлечением. Узнав, что в селе Глухарях, по требованию сельсовета, сменили непутевого агронома, Степан с сожалением подумал:

«И у нас нужно бы. Только народ наш—как пень».

Аккуратно прочел о краже в кооперативе села Кондратевки, о борьбе с самогоном в Кагарлыцком районе, об образцовом случном пункте в местечке Радомысль. Каждую строчку и цифру он сравнивал с фактами из жизни своего села и в конце концов пришел к выводу, что у них не хуже, чем у людей.

«Культурные силы нужны нам, вот что»,—думал Степан.

И ему приятно было, что он только временно, на три года, оставил свои избы, чтобы потом вернуться домой во всеоружии на борьбу и с самогоном, и с кражами, и с бездеятельностью местной власти.

Тем временем пришла его очередь итти к председателю правления. Степан переступил порог, боясь встретить слишком строгое лицо в кресле у стола, мягкую мебель и накрытый ковром пол. Это ведь как-никак в Киеве! Но успокоился с первого же взгляда. Обстановка в комнате председателя правления мало чем отличалась от районного бюро, которое одновременно служило всему районному правлению союза кабинетом. Разве что диван у стены—о такой роскоши в районе даже не мечтали, да для него и места свободного там не нашлось бы.

Председатель правления был человек прямой и очень удивился, выслушав Степана. Разве он, сам активный

работник союза, не знает, куда с такими делами нужно обращаться? Нужно прежде всего зарегистрироваться как командированному и встать на учет биржи труда. На все это есть определенный порядок, и нельзя тратить зря свое время и время занятого человека!

Степан вышел из кабинета смущенный. Все, что говорил ему председатель, он и сам чудесно знал. Но это... в общем порядке! Юноша все время надеялся, что для него сделают исключение, хотя бы за его активное участие в революции и безупречную работу в профсоюзе. Кроме того он был командирован в высшее учебное заведение и имел право на поддержку в первую очередь. А председатель правления не спросил у него даже документов. Это скверно, но справедливо. Нужно признать! Какие тут протекции?

Найдя биржу, Степан узнал, что она открыта для посетителей только по средам и пятницам, а сегодня понедельник. Таков был порядок, и никаких исключений из него не делалось, даже для приезжих.

С какой надеждой он входил во Дворец труда, с таким же унынием покидал его кровлю. Ему вдруг стало ясно, что службы он тут не найдет. Он один среди сотен! Ему скажут, что он приехал учиться, что помогать ему должно государство, и посоветуют добиваться стипендии. Так и должно быть. Он никого не винил.

На улице в голову внезапно пришла мысль зайти в какое-нибудь большое учреждение. Может быть, там как раз нужен молодой сообразительный счетовод или регистратор? Просто зайти и спросить. Это ведь не грех. Скажут нет, он уйдет. А вдруг повезет? Эта мысль взволновала его. В душе жила твердая надежда на свою судьбу, ибо каждому свойственно считать себя исключительным явлением под солнцем и луною. Он

свернул к крыльцу под большой вывеской «Государственное издательство Украины» и быстрыми шагами взошел на второй этаж. В первой комнате сидели на диване и разговаривали какие-то молодые люди, в углу стучала машинка. У стен стояли шкафы с книгами.

Остановившись на минуту, с независимым видом Степан пошел дальше, боясь, чтобы его не остановили. Глазами он искал табличку с надписью «заведующий» и увидел ее лишь в третьей комнате. Он уже взялся за ручку двери, когда человек, сидевший вблизи над рукописями, вдруг спросил:

— Заведующего нет. В чем дело, товарищ?

Степан немного растерялся, пробормотал неясно «дело есть» и повернул обратно. У самого выхода он услышал слова, быстро сказанные, очевидно, по его адресу:

— Верно, торбу стихов притащил.

И потом смех. В дверях он обернулся. Это сказал один из молодых людей, сидевших на диване, брюнет в серой широкой рубашке с узким пояском.

Спускаясь по лестнице, юноша удивленно думал: «Какие стихи? Причем тут стихи?»

Между тем упорство не покидало его. И хоть в другом учреждении ему тоже не удалось застать заведующего, а в третьем он собственными глазами видел список сокращенных, он зашел еще и в четвертое. Директор был в кабинете и принял его.

Тут была мягкая мебель и большие массивные часы на стене, но директор был молодой и не страшный. Судьба как будто улыбалась юноше. Директор попросил его сесть и выслушал до конца. Затем закурил и произнес:

— Я все это испытал на себе. Я ведь—красный директор. Привлекать рабоче-крестьянскую молодежь к работе—это наша главная задача. Только этим можно

оздоровить наш аппарат. Мы знаем, что только молодым рукам под силу построить социализм. Наведайтесь так месяца через два-три...

Выходя из учреждения, Степан едва сдерживал раздражение. Ласковый прием директора возмутил его до глубины души. Он чувствовал, что все двери так же точно замкнутся перед ним—одни безнадежно, другие со сладенькой вежливостью. Два-три месяца! С червонцем в кармане и тремя хлебами! В хлеву, по милости торговца! Засунув руки в карманы френча, юноша проталкивался в уличной толпе, стараясь не глядеть никому в лицо. Так, будто каждый встречный готов был бросить ему унизительное слово—«неудачник».

Часы на окрисполкоме прервали его невеселые мысли. Четверть первого. А в час начинались экзамены. Расспрашивая как пройти к институту, Степан быстро шел вперед. Ясность непосредственной цели—экзамен—сразу успокоила его. Если он провалится, к чему ему все должности? Но в душе он был твердо уверен, что экзамены пройдут для него благополучно, и мысль о провале казалась ему приятной шуткой. В такт своим уверенным шагам юноша легко успокаивал взволнованные нервы. Смешно же было в конце концов воображать, что вот он явился—и все будет к его услугам. Надо понять, что он попал в жизнь, которая вертится уже сотни лет. Фей и добрых волшебников теперь нет, да никогда и не было. Терпением и работой можно чего-нибудь достигнуть. И мечты о возможности сналету добыть место в городской машине сейчас казались ему самому детскими. Он знал, что нужно сдать экзамен, добиться стипендии и учиться, а все остальное приложится. Есть студенческие организации, артели, столовые, а для этого нужно быть студентом. И нужно помнить:—таких, как ты—тысячи!

В коридорах института была такая толкотня, что Степан невольно растерялся. Попав в могучий человеческий поток, он дал себя нести неведомо куда и зачем. И только когда поток остановился возле какой-то аудитории, он смог спросить, где же именно состоятся экзамены?

Оказалось, что попал он куда следует. Но не успел Степан успокоиться, как сосед спросил его:

— А вы, товарищ, приемную комиссию уже прошли?

Расталкивая экзаменующихся, юноша пробрался на площадку и побежал на третий этаж. А что, если он уже опоздал, если комиссия уже закрылась? Вот и сыскал себе службу! Красный от стыда и волнения, он вошел в комнату комиссии—нет, она была еще на месте. Его записали сто двадцать третьим.

Через четыре часа Степана пропустила приемная комиссия—на экзамены он должен был явиться послезавтра. Голодный и разочарованный, он вяло шел домой. Степан прекрасно понимал, что приемная комиссия нужна и что за один день нельзя проэкзаменовать все пятьсот человек, командированных в вуз. Но логические соображения не возбуждали в нем ни малейшего сочувствия. Он начал понимать, что порядок хорош только тогда, когда по доброй воле применяешь его к себе, и что это вещь очень неприятная, когда его к тебе применяют другие. Он был утомлен. Пустой завтрашний день пугал его.

Сойдя на Подол, он свернул к Днепру, чтобы выкупаться, как задумал это утром. Дорогой купил коробку спичек, и хоть сильно хотелось курить, но побоялся, чтобы не стошнило. Сначала надо выкупаться, перекусить, а уже потом можно будет папиросой полакомиться. Купаться, однако, ему не удалось—это можно было сделать только на пляже, то есть переехать с

берега на остров. Это стоило пять копеек на гребной лодке и десять—на моторной. Две копейки спички, плюс пять—семь копеек. Такие расходы были ему не по карману. А может быть, домой, в село придется возвращаться—нужны будут деньги на проезд. Он тупо убеждал себя, что это обязательно нужно иметь в виду.

Вначале ему пришла мысль пройти далеко по берегу за город, выкупаться на безлюдьи и вернуться в свою каморку лишь вечером. Его тело ныло от голода, в мускулах чувствовалась страшная усталость, и он решил только умыться. Сняв фуражку и расстегнув воротник, Степан, боязливо оглядываясь, опустил руки в воду и вздрогнул—такой скользкой и неприятной показалась ему вода. Тем не менее он заставил себя умыться, вытерся замасленным платком и медленно пошел на свой Нижний Вал.

В каморке все было так, как он оставил. Юноша едва смог проглотить пару яиц и торопливо свернул папиросу. Но и курить он не мог—сухость во рту и противные спазмы заставили его бросить папиросу и растоптать ее сапогом. Совершенно опустошенный, он сбросил френч, застелил им верстак, вытянулся всем телом на досках, свесив ноги, и, даже не стараясь о чем-нибудь думать, безразлично смотрел на сумерки в окне. Та же самая труба застилала дымом посеревшее небо.

III

На другой день после обеда Степан собрался к Левко. Вчера еще ему неприятно было бы встретить кого-нибудь из знакомых, а сегодня хотелось кого-нибудь увидеть, с кем-нибудь поговорить. Утром юноша отрезал немного хлеба, взял сала, несколько картофелин, крупы и пошел по берегу за город. Зашел версты за

три от пристани, ища место, где бы, наконец, не было людей. Несколько раз он уже собирался расположиться, но снова натыкался на рыбака или торговку, ожидающую переправы. Трудно было здесь разойтись с ближними, но Степан терпеливо шел вперед, оставляя город за выступами извилистого берега.

В конце концов пришел к небольшому заливу между двумя обрывами, где было тихо и безлюдно. Тут он разулся, снял френч и пристроил свой котелок. Набрав сухой травы, развел под котелком огонь, промыл крупу, почистил картошку и накрошил сало. Каша варилась. Степан разделся и лег на берегу под теплым утренним солнцем. Каждые четверть часа звонили в Лавре куранты, и этот звон, вместе с плеском воды, наводил на юношу покой и грусть.

Потом сразу вскочил и прыгнул в воду, плавал, переворачивался, нырял, вскрикивая от наслаждения. Затем, не одеваясь, с дикой жадностью принялся за кашу. Она уже сгустилась и булькала. Он торопливо ловил палочкой куски картошки и сала и глотал их, не разжевывая. За неимением ложки, он погружал в густую гречневую кашу хлебные ломти и неутомимо пожирал их. В один миг котелок опустел. А Степан лег рядом на своем френче, укрывшись бельем. Жара тяжело закрывала ему веки. Он заснул, не успев даже закурить.

Проснулся Степан незаметно. Над головой синела бездонная лазурь, а по телу ходила дрожь, как от купанья. Он лежал в тени холма, за который свернуло солнце. Холод и разбудил его. Степан поднялся, протер глаза и начал одеваться. Несвоевременный сон оставил после себя муть в мыслях и отяжеление мускулов.

Юноша сел на берегу под косыми лучами заходящего солнца. И тут, в ясной тиши последних летних

дней, его охватило болезненное чувство одиночества. Он не знал, откуда эта тоска, но каждая мысль тянула за собой липкую тяжесть и застывала. Такое сосущее безволье он переживал впервые, и оно овеяло душу темным предчувствием гибели. Взоры его уносились по течению, туда, где он вырос и боролся. Песчаные берега, безлюдье и теплый ветер, напоминая покой села, усиливали его печаль. Ибо за горкой он чуял город и себя—одно из бесчисленных, незаметных телец среди камня и порядка. На пороге желанного видел себя изгнанником, который оставил на родной земле весну и цветущие поля.

Потом вдруг вспомнил про Надийку. Так, словно воспоминание о ней затаилось в нем и внезапно расцвело в страстных порывах его одиночества. Она, словно шутя, спряталась от него и теперь вышла из тайника, душистая и смеющаяся. Воспоминание о прикосновении ее руки животворным огнем зажгло его кровь. Он вспомнил встречу на пароходе, ее слова. Каждый ее взгляд, ее смех освещали его душу, прокладывая в ней спутанные дорожки любви.

«Вы так подготовлены! Вы получите стипендию!»

Да, да! Он способен и силен. Он умеет быть упорным. Там, где нельзя сбить преграды натиском плеча, он будет точить ее, как червь. Дни, месяцы и годы! Пусть она только склонится к нему, и они вдвоем войдут в городские ворота победителями.

— Надийка!—шептал он.

Одно имя ее уже звучало надеждой, и он повторял его, как символ победы.

Юноша быстро возвращался домой, объятый единой мыслью о своей милой. Она стерла все его заботы, как настоящая волшебница, ибо стала самым важным,

что нужно было добыть. Желание увидеть ее было так сильно, что он решил сейчас же пойти к ней.

Дома, вытряхивая френч и вытирая мешком сапоги, Степан заколебался. Правда, Надийка была с ним на пароходе любезна и просила приходить, но ведь она была очень веселой—не признак ли это того, что у нее уже есть милый? Он быстро отбросил эту страшную мысль—ведь Надийка, так же, как и он, впервые в этом городе. А может, за эти два вечера, что она здесь, она встретила кого-нибудь и полюбила? То, что любовь пробуждается внезапно, Степан знал по собственному опыту. Наконец может он тогда и понравился ей, но теперь, беспризорный, чем может он укрепить ее чувство? Вот придет он к ней, жалкий сельский парень в этом шумном городе... И что скажет, что принесет? Он хочет опереться на нее, а женщины сами ищут опоры.

Степан долго думал, сидя на скамейке, и решил пойти к Надийке после экзаменов. Он придет к ней студентом, а не деревенским парнем. И от этой мысли успокоился. Но дома уже не мог сидеть и пошел навестить Левко.

К счастью, застал его дома. Первое, что поразило молодого человека,—это абсолютный порядок в убогой студенческой комнате. Обстановка ее была далеко не роскошной—небольшой раскрашенный сундук, простой стол, складная кровать, два стула и самодельная этажерка на стене. Но стол был накрыт чистой серой бумагой, книги лежали ровными кучками, сундук был застелен красно-черной клетчатой тканью, окно убрано вышитым полотенцем и постель застлана. Над ней висело самое ценное украшение и гордость хозяина,—двухстволка и кожаный патронташ. Заботливая рука, уют и спокойствие чувствовались в ровной линии порт-

ретов, висящих на стене и тоже убранных полотенцами,—Шевченко, Франко и Ленин. Зависть и беспокойство охватили Степана, когда он увидел это опрятное жилье.

Сам хозяин в нижней сорочке сидел у стола и работал над книгой, но гостя принял приветливо, усадил и начал расспрашивать, как он устроился на новом месте. И Степан не мог побороть стыда. Он ответил, что устроился хорошо, живет в пустующей летом комнате, в которую осенью должен перебраться какой-то хозяйский родственник, что жаловаться ему не на что, а вскоре он получит стипендию и переберется в дом КУБУЧа, когда станет настоящим студентом. Экзамены завтра, но он вовсе их не боится. Кроме того имеет революционный стаж.

— А вы как? Комната у вас хорошая?..—несмело спросил Степан, преисполнившись к Левко глубоким уважением, даже величая его на «вы».

Левко усмехнулся. Выстрадана эта комната! Полтора года назад он достал ее по ордеру, и хозяева встретили его, как настоящего зверя. Не давали воды, уборную запирали. Двое тут стареньких—из учителей. Один преподавал в гимназии латынь, но теперь мертвые языки не преподаются, и он служит в архиве за три червонца. Шло время, жилец и хозяева познакомились и теперь друзьями. Чай вместе пьют, и можно сварить, если что нужно. Хорошие люди, хоть и старосветские.

— Да сейчас увидишь их,—сказал он.—Вот чай будем пить.

Степан начал отказываться—он ведь не голоден!—но студент, не слушая его, медленно надел рубашку и, не подпоясавшись, выплыл из комнаты.

— Ну, вот! Как раз чай есть... Идем!—довольно произнес он.

Он потянул за руку растерявшегося Степана, который отказывался из приличия, а на самом деле очень хотел посмотреть на горожан и познакомиться с ними. Левко не мог их заменить для юноши, ибо, как и он сам, должен был со временем вернуться в деревню, побыв в городе хоть и не случайным, но временным путешественником. И, немного стыдясь за себя, заранее собираясь молчать и больше присматриваться, Степан вошел в комнату настоящего горожанина и к тому же бывшего учителя гимназии.

Комната его представляла склад самых разнообразных вещей. Казалось, что вся эта мебель сбежалась сюда из разных комнат и вдруг оцепенела от страха. И так как для нее тут не хватало места, часть ее подпирала стены, а часть громоздилась посреди комнаты. Широкая двухспальная кровать выглядывала из-за куцой ширмы и упиралась в шкаф с книгами, где на месте выбитого стекла мрачно темнел коричневый картон. Рядом со шкафом, не позволяя ему свободно открываться, стоял большой резной буфет, который прислонился верхушкой к стене, поддерживающей его в равновесии. Под окном справа приткнулась заполненная нотами этажерка, хоть пианино в комнате и не было. Косяком к окну, немного заслоняя его своим краем, красовался зеркальный шкаф—единственная вещь, которая сберегла свою целость и чистоту. Симметрично к грандиозной кровати высился потертый турецкий диван, и на его широкой спинке с продолговатой деревянной полочкой вздымал к потолку свой рупор граммофон, среди ровных кучек пластинок.

У самой двери в уголке чернела буржуйка—жестяная печка, зимой обогревавшая комнату, а летом служившая для приготовления пищи. Широкая, подцепленная к по-

толку труба тянулась от нее на полкомнаты, затем круто сворачивала и исчезала в стене. Комната была большая, но до того загроможденная вещами, что посреди комнаты оставалось лишь место для маленького ломберного столика, на котором обедали. Рядом со своими гигантскими соседями столик казался крохотным. На нем и был сервирован чай—синий кипятильный чайник, четыре чашки, сахар в блюдце и несколько кусочков хлеба на тарелке.

Левко познакомил Степана с хозяевами. Андрей Венедиктович был бодрый старичок, обросший сединой. В его движениях и поклонах была торжественность и самоуважение. Жене его недоставало зубов, поэтому ее приветствия Степан не разобрал. Эта сгорбленная женщина с высохшим лицом и дрожащими руками пригласила на своем неразборчивом языке садиться и начала осторожно разливать чай.

Андрей Венедиктович похвалил Степана за его намерение учиться, но выразил недовольство теперешней учебной системой и тем, что старые опытные педагоги устранены от работы. Потом вдруг спросил:

— А вы знаете латинский язык?

Степан совсем смутился от исключительного внимания хозяина, покраснел и сознался, что знает о существовании латыни, но сам ее не изучал, потому что теперь латынь не нужна. Последнее слово неприятно подействовало на Андрея Венедиктовича. Латинский язык не нужен! Так пусть же знает молодой человек, что только классицизм спасет мир от современного обскурантизма, как уже спас от религиозного. Только возвратившись к нему, человечество снова вернется к светлому миропониманию, к цельности натуры и творческого порыва.

Голос бывшего учителя страстно и громко зазвенел. Все более и более волнуясь, Андрей Венедиктович осыпал Степана именами и поговорками, содержания которых он не понимал. Он говорил о золотом веке Августа и римском гении, покорившем весь мир и горящем сейчас во мраке современности ясной звездой спасения. О христианстве, которое предательски погубило Рим, но было им побеждено в эпоху Возрождения. О своем излюбленном Луции, Анесе, Сенеке, воспитателе Нерона, которого преследовали интригами и litкознями, об этом несравненном философе, который, будучи присужден к казни, умер от собственной руки, перерезав вену, как и подобает мудрецу.

Вечерело, и в сумерках голос учителя звенел пророчески. Он все время обращался к Степану, нагоняя на него ужас. Но увидев, что Левко спокойно пьет чай, Степан ободрился и выпил свой стакан, уже не обращая внимания на пророчества хозяина. Хозяйка сидела незаметно, спрятавшись своими узкими плечами за брюхатым чайником.

— Я стар, но бодр,—вещал старик.—Я не страшусь смерти, ибо дух мой классически ясен и спокоен...

В комнате Левко Степан сказал:

— Ну, и старик! Нечего сказать, крепкий.

— Он помешался на своем языке,—ответил студент,—а человек он добрый. И объяснить многое может. Умный старик, все знает.

В дверях Степан спросил:

— Ну, а латинский язык, разве он кому-нибудь нужен?

— Чорту он нужен,—засмеялся Левко.—Сказано— мертвый язык. И все.

Он провел товарища на лестницу, приглашал его заходить, когда захочет,—за делом и просто так.

IV.

Спускаясь к Крещатику, Степан о многом передумал. Свидание с Левко его укрепило. Он говорил себе, что путь Левко—его путь, и судьбе товарища невольно завидовал. Нельзя себе представить что-нибудь лучшее, чем эта опрятная комната! Тихо, упорно, работает в ней Левко, сдаст зачеты, получит диплом и вернется в деревню новым, культурным человеком. И принесет туда новую жизнь. Так должен работать и он. Степан ясно чувствовал всю важность своих обязанностей, сознание которых он было утратил, вступив на чужую городскую почву. Он припоминал, как провожали его в районе, и от этого воспоминания повеяло далеким теплом. Как он смел хоть на минуту забыть товарищей, оставшихся там, без надежды вырваться из глуши? И он улыбнулся, мысленно приветствуя их.

Рад он был и первому знакомству с городскими людьми. Первый—сухощавый торговец, которого он мог бы задушить двумя пальцами, второй—полусумасшедший учитель, выгнанный из школы вместе со своим языком и придурью. О первом не стоило даже думать—мелкий нэпманчик, у которого жена утром доит коров, а вечером надевает шелковое платье и ходит к знакомым на чай. А он сам—трус, он, как студень, дрожит за свой домик и лавочку, в которых вся его жизнь и надежда. Степан с наслаждением раскрывал себе духовную пустоту хозяина хлева, заменявшего ему покамест комнату. Что может быть в душе этого торговца, кроме копеек и селедок? Что может он чувствовать? Он живет, пока ему дают жить. Он—бурьян, мусор, который пропадет без следа и памяти.

Учитель был интереснее. Этот о чем-то мыслит и чем-то живет. Но его комната... Степан весело рассмеялся,

вспомнив ее. Он сразу представил себе судьбу этого господина. Учитель был когда-то хозяином большой квартиры, и революция, отнимая ордерами комнату за комнатой, загнала его вместе с недореквизированным и недораспроданным имуществом в этот уголок, напоминающий остров после землетрясения. Она разрушила гимназию, в которой учил он буржуйских сынков, как лучше угнетать народ, и бросила в архив, как крысу, возиться со старыми бумагами. Он еще жив, он еще кричит, но его будущее—издыхание. Да он и так мертв, как та латынь, которая только чорту нужна.

Вот они, эти горожане! Все это старая пыль, которую нужно смести. И он к этому призван.

С такими отрадными мыслями Степан незаметно дошел до Крещатика и сразу очутился в густой толпе. Он оглянулся и впервые увидел город ночью. Яркие огни, грохот и звонки трамваев, скрещивавшихся и разбегавшихся во все стороны, хриплый вой автобусов, легко катившихся свои громоздкие туши, пронзительные выкрики автомобилей и извозчиков вместе с глухим шумом человеческой волны сразу оборвали его мысли. На этой широкой улице он встретился с городом лицом к лицу. Прислонившись к стене, прибитый к ней волнами толпы, смотрел он блуждающими глазами и не видел конца этой улице.

Его толкали девушки в тонких блузках, ткань которых незаметно переходила в оголенность рук и плеч, женщины в шляпах и накидках, мужчины в пиджаках, юноши без фуражек, в сорочках, с засученными до локтей рукавами, военные в тяжелых душных формах, горничные, матросы Днепрофлота, подростки, головокружительно мелькали форменные фуражки техников, легкие пальто франтов, грязные куртки босяков. Он провожал взглядом стриженые и убранные косами головки, пря-

мые и склоненные в сладостном изгибе шеи; перед ним проходили влюбленные парочки, безразличные одиночки—уличные Гамлеты, оравы парней, гоняющихся за женщинами, бросая им избитые и плоские слова, приобретавшие волнующую остроту, запоздалые дельцы, не торопящиеся в скучные дома, степенные дамы, косо поглядывающие на мужчин и вздрагивающие от неожиданных прикосновений. Уши слышали неясный шум перепутанных слов, внезапные выкрики, случайную брань и тот острый смех, который, сорвавшись где-то, катится из уст на уста, зажигая их по очереди сигнальными огнями. И душа его загоралась безудержной ненавистью к этому бессмысленному, смеющемуся потоку. На что способны все эти головы, кроме смеха и ухаживания? Разве можно допустить, что в их сердцах живут какие-то идеи, что их жиденькая кровь способна к порыву, что у них есть сознание своих задач и обязанностей?

Вот они, горожане! Торговцы, бессмысленные учителя, беззаботные—по глупости—куклы в пышных одеждах! Их нужно вымести вон, нужно раздавить этих развратных червей и очистить их место иным.

В сумерках улиц ему чудилась какая-то скрытая западня. Тусклый блеск фонарей, освещенные витрины, сверкающие огни кино казались ему блуждающими среди болота огнями. Они манят и губят. Они светят, но ослепляют. А там, на холмах, куда массой восходят дома и убегает широкая мостовая, во тьме сливающаяся с небом и камнями, там громадные водоемы отравы, жилища слизняков, вечерами приплывающих сюда, на этот древний Крещатик. Если бы он мог, он, как сказочный волшебник, призвал бы гром на это серое тяжелое болото.

Степан стал проталкиваться сквозь толпу, намеренно не обращая внимания на протесты и потупив голову, как

верующий среди шабаша ведьм. Но возле каждого кино его затягивало в водовороте. Тут сталкивались сотни ног и сотни туловищ, прилипали сотни глаз. Из широкого фойэ, освещенного слепящими лампами, с яркими плакатами и гигантскими надписями, валила толпа, то разливаясь, то сжимаясь под напором встречных течений. Было время, когда кончались сеансы, и во внутренностях этих помещений совершался обмен веществ.

«Картинки смотрят»,—думал Степан, выбираясь из живой преграды.

Не останавливаясь проходил он мимо роскошных витрин, где в электрическом блеске играли громадными бантами переплетенные шелк и кисея, ниспадая легкими волнами с подставок на подоконники, где на стеклянных полках лежало золото и искристые камни, душистое мыло, причудливые флаконы духов, кучи папирос с цветистыми этикетками, турецкий табак и янтарные мудштуки. На все это он бросал пренебрежительные взгляды,—огонь и лед. Электрический магазин сразу остановил его. За его зеркальной витриной беспрерывно загорались и угасали цветные лампочки, и хрусталь выставленных люстр вспыхивал на миг дивными мертвыми цветами. Степан горько подумал—отчего бы не понести эти лампы на село, где бы они были для пользы, а не для развлечения.

О, ненасытный город!

Книжного магазина он не узнал. Неужели это те самые дорогие, родные ему книги лежат в громадном углублении, бесконечно повторяясь в боковых зеркалах? Зачем выставлять их напоказ перед насмешливой бессмысленной толпой? Разве она способна погрузиться в глубину страниц, в хранилище великих мыслей, призванных двигать миром? На это она не имеет права. Он видел в этом кощунство, и его охватила острая



жалость за эти опозоренные, заплеванные безразличными взглядами сокровища—растоптанную в жажде развлечений зрелую жатву.

«Тут—лишь бы продать»,—думал он.

Шум улицы показался ему еще более диким. Он слышал в нем смех и угрозу каждому, кто восстанет против магазинов и огней. Эта улица растечется завтра по учреждениям и трестам, зальет все должности, большие и малые, и повсюду, куда он ни будет стучать, будут закрыты двери.

«Проклятые нэпманы»,—думал он.

На улице Свердлова, снова попав в толпу, он остановился полюбоваться ровным наклоном, по которому подымался трамвай. Это была тихая заводь среди бури, где толпа сворачивала и распадалась на одинокие, отдельные фигуры, замирая и утихая. Он проводил глазами трамвай, исчезнувший на горе в далеком мраке, и в этой синеватой от фонарей полосе, среди неподвижно потупившихся зданий, почувствовал дивную красоту города. Смелые линии улиц и их совершенная параллельность, тяжелые глыбы домов, величественный уклон мостовой, вспыхивающий искрами под ударами копыт,—все это повеяло на него суровой, незнакомой ему еще гармонией. Но он ненавидел город.

Мимо дверей наглых пивных, откуда доносилась пьяная музыка, мимо арки, зовущей в лото, и крокодиловой головы над входом в кино, он прошел мимо окрисполкома и уменьшил шаг на пустынном в вечернее время участке Крещатика, между площадью Коминтерна и улицей Революции, где одинокие проститутки томятся в темных подворотнях. Сзади шумел Крещатик, справа доносилась музыка из Пролетарского сада, слева шеле-

стела человеческими тенями Владимирская горка. Даже трамваи не казались здесь надоедливыми.

Степан впервые оторвал взор от земли и поднял глаза к небу. Странное волнение охватило его, когда он увидел вверху среди знакомых звезд тонкий серп месяца. Тот серп месяца светил ему и на селе. Спокойный серебристый серп, вечный странник и друг его детства, заглушил в нем злобное чувство, навеянное улицей. Не ненавидеть нужно город, а покорить. Еще мгновенье тому назад он чувствовал себя угнетенным, а теперь пред ним открылись безграничные перспективы. Такие, как он, тысячами приходят в город, ютятся в подвалах, хлевах и общежитиях, голодают, но работают и учатся, незаметно подтачивая его гнилой фундамент, чтобы заложить новый, несокрушимый. Тысячи Левко, Степанов и Василиев окружают эти нэпманские жилища, сжимают их и скоро уничтожат. В город вливается свежая кровь деревни, которая изменит его вид и содержание. И он—один из этой смены, призванной затем, чтоб победить. Города-сады, села-города, завещанные революцией, эти чудеса будущего, смутное предчувствие которых оставили ему книги, казались ему в эту минуту близкими и постижимыми. Они стояли перед ним задачей завтрашнего дня, величественной целью его учобы, выводом из того, что он видел, делал и должен делать. Плодородная сила земли, питающая его сердце и мозг, могучие ветры степей, которые его породили, придавали яркость его мечтам о блестящем будущем земли. Он растворялся в своей безграничной мечте, овладевшей им сразу и целиком, разрушал ею все кругом себя, как огненным мечом, и, сходя вниз по улице Революции к грязному Нижнему Валу, подымался все выше и выше к страстному мерцанию звезд.

V

Город странен и сложен. Внешне он полон лихорадочного движения. Кажется, что жизнь в нем бьет ключом, сверкает молнией, но в мрачных кабинетах учреждений эта жизнь плетется старой телегой, опутанной тысячами правил. Удары этого городского формализма Степан ощущал на каждом шагу, и, как ни оправдывал их объективными причинами, они от этого не становились легче. Наученный горьким опытом, он явился в назначенный день на экзамен на два часа раньше, чтобы занять очередь. Он был уверен, что сегодня вопрос с институтом будет окончательно разрешен, и он будет иметь право посетить Надийку с важным, хоть и невидимым студенческим значком на френче. Вчерашние впечатления временно затмили в нем облик девушки. Вернувшись вечером домой, он долго сидел, курил, размышлял о городе, его судьбе и подлинных задачах. Утром проснулся бодрый, преисполненный молодых сил, которые, как спасательный круг, не давали ему тонуть в той неуверенности, которая им тут неожиданно овладела. Освоившись на новом месте, он смело попросил у хозяйки ведро, хорошенько умылся. Затем воспоминание о Надийке снова залило его душу волнующей теплотой.

«Экзамен—вот в чем дело»,—весело думал он.

Любя анализировать свои мысли и поступки, он по-дружески ругал себя за вчерашний гнев и смутные фантазии. Он поучал себя, что фантазерство—глупость, что нужно работать, неутомимо преодолевая по пути все преграды, сосредоточивая все силы на очередной упорной точке. Первая из них—это институт. Нужно поступить в институт, а не забавляться всякими мечтами, как бы высоки они ни были. Экзамен казался ему

барьером, перескочив через который он добудет себе королеву и царство. Он снаряжался, как воин в поход, где победа даст ему ключ от волшебной пещеры. И именно потому, что хотелось одним взмахом преодолеть все, неприятно поразило то, что экзамены растянуты на два дня—сегодня письменный, а завтра устный. Сухие строчки объявления не считались с его порывом, и невольно пришлось покориться.

Сев на подоконник, Степан собирался закурить—табак был его верным товарищем и утешителем всех скорбей, но напротив на стене висело еще одно короткое объявление, отнимавшее у него и это удовольствие. Два часа просидел он скучая, безучастно посматривая на толпу будущих товарищей и снова думая о себе. Он чувствовал какую-то неясную перемену в себе. Он не мог не заметить, что в груди у него загорается новый огонь, но слабый и дрожащий от каждого дуновения. Утром было так весело, а теперь им овладела печаль, и он не в силах был сдержать ее. Устать он не мог, ничего тяжелого с ним не случилось. Не он ли несколько часов тому назад поучал себя, что нужно быть стойким? Его пугали эти непривычные до сих пор перемены настроения. Он понял, что до сих пор его жизнь была немудреной, сельской, в которой все вопросы просты. Эта жизнь как-то совершенно не походила на городскую.

Из всех предложенных на экзамене тем он сразу же остановился на «смычке города с селом». Писал быстро и свободно, заранее составив в голове план изложения. Все свои тезисы развил широко, освещая одновременно экономическую и культурную необходимость смычки, ее задачи и желанные результаты. Сельский культурник, твердо усвоивший из марксистского учения необходимость экономических предпосылок, проснулся в нем

целиком. Процесс писания увлек его; перечитывая свою работу, он забывал, что пишет ее на экзамене. «Смычка города с селом—это мощный залог будущих городов-садов»,—кончил он и сдал работу за час до срока.

Смеркалось, и юноша, поблуждав немного по Шевченковскому бульвару, решил все же навестить Надийку, которая жила у подруг неподалеку от Крытого Рынка. Жила она в одном из древних домиков, которые можно неожиданно встретить в Киеве рядом с шестиэтажной каменной громадой. Зеленая заржавленная крыша, деревянные наружные ставни, патриархальный палисадник под окнами и провалившиеся ступеньки перекошенного крыльца говорили о большей давности, чем та, которую признает право на украденные и утерянные вещи. Но Степан обрадовался, увидев эту хибарку,— в сравнении с ней его собственный хлев не казался таким жалким, и девушка, жившая в ней, вполне законно могла ему принадлежать.

Надийка жила у двух землячек из своего села, которые годом раньше отправились в широкий свет и наняли в этой старосветской квартире так называемую гостиную. Одна из них, Ганнуся, училась на курсах кройки и шитья. Это была тихая девушка, выгнанная из села бедностью большой семьи, выгнанная навсегда, без надежды вернуться под ободранную отцовскую крышу. Она была сердечной и беззащитной, немного романтичной, терпеливой в несчастьях, как все бедные девушки, которые не чувствуют в себе ни твердой воли, ни стремлений.

Ее компаньонка, молодая кулацкая дочь, окончила курсы машинописи и уже полгода безнадежно искала службу или жениха. Одевалась она с претензией, когда пила чай, жеманно оттопыривала мизинец. Из двух кроватей, которые нельзя было назвать английскими,

одна принадлежала ей, и своего права собственности она ни в коем случае уступать не хотела, и поэтому Надийка должна была все время спать вдвоем с Ганнусей. Две кровати, стол, швейная машина и старый стул—вот и все имущество девушек. Остальные вещи были духовного порядка—портреты и картинки, которыми Ганнуся наивно обклеила стены, стараясь создать хоть какой-нибудь уют. Портрет Ленина, висевший в центре, она украсила большой надписью из неровных букв: «Ты умер, но дух твой живет». В углу устроила маленькую иконку Николая чудотворца, мало заметную с первого взгляда. Из всех картинок Нюсе принадлежала только одна—оголенная Галатея, вздымающая к небу свои руки и грудь; она висела над Нюсиной кроватью и волновала Ганнусю своей непристойностью.

Еще за дверями комнаты Степан услышал мужские голоса, и его сердце упало. Сейчас ему противны были веселые люди, да и с Надийком он мог поговорить только наедине. Но спасения не было, и он открыл дверь. Дело обстояло гораздо хуже, чем он мог себе представить. Тут была целая пирушка. На столе стояла бутылка, а вокруг на придвинутых кроватях сидели три хозяйки и трое гостей. Увидев это, Степан невольно похолодел, но сейчас же узнал среди них Левко и разобрался в чем дело: те двое—кавалеры Нюси и Ганнуси, Левко просто пришел на угощение, а Надийка свободна, свободна для него, потому что она первая встала из-за стола и поздоровалась с ним. Он познакомился с молодыми людьми и тоже сел. Есть и пить Степан категорически отказался, хоть и не обедал сегодня и был голоден, но есть за счет чужих молодых людей—пирушку-то, несомненно, устроили они—ему не позволяла гордость. Левко—другое дело. Он сидел в уголке, как посаженный отец, мало тратил слов, так как

рот его все время работал, улыбался и благодушно поглядывал на общество, душой которого были два парня, щеголявших пред дамами своим остроумием.

Поклонник Ганнуси принадлежал к типу парней, появляющихся в городе метеором, посещающих театры, достающих всюду в порядке смычки города с селом контрамарки, ходящих на все диспуты и вечера, устраивающих там бурные овации, на улицах пристающих к девушкам, над всеми смеющихся, все ругающих, а через год возвращающихся в деревню, принимающихся за хозяйство и дичающих в один месяц. Из них выходят семейные деспоты и политические консерваторы. Козырем его поведения были сальные остроты и намеки, смущающие мечтательную душу Ганнуси и сламывающие ее и без того слабое сопротивление. В сравнении с этим остряком его товарищ казался идеалом серьезности. Он тоже обращал на науку мало внимания, основной целью его желаний было где-нибудь прочно устроиться, и если это возможно без диплома, то вуз следует отсечь как ненужный придаток, вроде аппендицита. Тоскуя по прекрасным бурным годам, когда выдвинуться было так легко, он с железным упорством крестьянина стучался во все двери, используя случайные связи, и в конце концов попал на должность инструктора клубной работы, за которую держался руками, зубами и обеими ногами. Но, представляя себе жизнь по старому крестьянскому трафарету, бравый инструктор наметил барышню Нюсю в подруги своих будущих служебных подвигов.

Разговор, оборвавшийся на минуту из-за появления новой действующей особы, возобновился снова. Разговор шел об украинизации.

— Что же,—заметил инструктор,—вот, к примеру, клубная работа. Серьезное дело. И так рабочие носом

крутят—сухо, говорят. А тут еще «мова». Ну еще драмкружок, хор, а дальше—тпру! Выходит, разрыв с массой. Трудно партии с украинизацией. Да!

Он сделал ударение на «партии», слове, имеющем, по его мнению, магическое влияние на фразу, в которой стоит.

— А крестьян тоже будут украинизировать?—робко спросила Ганнуся.

Инструктор мягко улыбнулся.

— Выходит, что и их нужно. Скажите по правде—какой из дядьки[1] украинец?

Степан не выдержал и энергично вмешался в разговор.

— Вы ошибаетесь, товарищ,—сказал он инструктору,—украинизация должна укрепить смычку города с селом. Пролетариат должен...

Но молодой парень Яша, гастролировавший в городе, вдруг захохотал, бросив на Надийку и Степана насмешливый взгляд. Он всегда смеялся наперед, собираясь сказать что-нибудь остроумное.

— Го-го-го! Так и у вас смычка?

Надийка покраснела, а Степан, оскорбленный за себя и за нее, мрачно умолк. Что он мог сказать этому нахальному молодцу, который чувствует себя здесь полным хозяином, размахивает руками, щиплет свою Ганнусю и всем подмигивает? Не драться же с ним тут! От голода и отвращения Степана все больше томила тоска. Вот он, сельский актив, который должен завоевать город! Неужели судьба его—быть тупым, ограниченным рабом, продающимся за должности и еду? Неужто и его всосет эта трясина, переварит и сделает безвольным придатком к ржавой системе жизни? Он чувствовал

[1] Дядькой обычно называют немолодого уже крестьянина.

в себе стальные сильные пружины, осевшие было на рытвинах революции. И может быть, вся жизнь—только безостановочно бегущий поезд и никакой машинист не в силах изменить направления его движения по предназначенным рельсам между знакомыми серыми станциями? Остается неминуемо одно—цепляться за него, каков бы он ни был и куда бы ни вел он свой однообразный путь. И не его ли символ те знаменитые, переполненные вагоны недавних, хоть и позабытых лет, когда за места дрались мешочники, угощая друг друга ударами и проклятьями, взбираясь на крыши, повисая на буферах и ступеньках со своими мучными сокровищами, в грязи и вшах, но с неудержимой жаждой жизни, с мелкими мечтами о любовницах, еде и самогоне? И если тогда этих контрабандистов было много, то что же теперь, когда нет продовольственных застав, трибуналов и реквизиций, когда они свободно могут пользоваться для перевоза своих товаров целыми поездами и мягкими купэ для себя самих?

Погруженный в свои невеселые мысли, словно заглядывая в темную глубину бездны, Степан машинально взял корку и начал жевать ее. Село отодвигалось от него, он начинал видеть его в перспективе, оставляющей от живого тела схематичные линии. Ему стало страшно, как человеку, у которого под ногами качнулась земля.

Тем временем разговор перешел на тему о браке, алиментах и любви. И снова звучал в комнате наглый хохот Яши:

— А я вам говорю—женщина всегда будет снизу!

— Что он говорит, боже ты мой!—всплеснула руками Ганнуся, которой пророчество Яши касалось ближе всего.

Степан почувствовал тоскливый взгляд Надийки и,

подняв голову, посмотрел ей в глаза. Она улыбнулась ему, и в этой улыбке была печаль, которую приносит с собой любовь. Сердце ее уж раскрылось, как семя в рыхлой земле, пуская бледный росток на поверхность под вечное солнце, растапливающее снега, будящее в недрах земли тысячи семян, не думая о бурях, могущих сломить молодые побеги.

Левко дремал, склонясь на стол. Он был сыт, сдал сегодня зачеты и имел полное право чувствовать себя счастливым. Нюся оперлась локтем о колено инструктора. Тот закурил трубку и с довольным видом пускал дым. Яша обнимал Ганнусю, согласившуюся на это после нескольких слабых протестов.

— Споем?—предложил он.—Запевай, Анна.

Ганнуся наклонила голову и запела, растягивая слова, чтобы сделать их более жалостными:

Повій, вітре, на Вкраїну,
Де покинув я дівчину...[1]

В один миг песня объединила всех, даже Яша стал серьезнее и подтягивал своим лирическим тенором.

Природа не одарила Степана музыкальностью его народа, и он снова был чужд в этом обществе. Он чувствовал бессмысленность своего положения, но уйти не мог. Он хотел что-нибудь сказать Надийке. Она сидела рядом с ним, и страстное, невыполнимое желание—коснуться ее руки, услышать от нее только ему предназначенное слово—тупо кололо его. Она ждала его—он видел это в каждом ее взгляде. И он ее ждал. Но тем не менее другие мысли беспрерывно затемняли в нем ее образ, отклоняли от нее его мечты, хоть и не были сознательным участником этих невольных измен.

---

[1] Повей, ветер, на Украину,
Где оставил я девушку...

Прощаясь, он сказал ей:

— Завтра приду.

— Приходи,—ответила она.

Ее тихое «ты» наполнило его чарующей теплотой.

На улице, попрощавшись с молодыми людьми, он оглянулся на небольшой домик.

— Я завтра приду, Надийка,—шептал он.—Жди меня, Надийка.

Он быстро пошел домой, поглощенный чувством, в котором надеялся найти успокоение и уверенность.

VI

— Хорошо! Очень хорошо!—произнес профессор.

Степан вышел из экзаменационного зала. За дверями его окружили ожидавшие своей очереди.

— Ну, как? Что спрашивали? Какие дали задачи? Режут ли?

Экзамен сдан. Завтра и его фамилия появится под стеклом в списках принятых. На три года эти стены станут его приютом. Нужно хлопотать о стипендии. Нужно написать о своей удаче домой—товарищам. В экзаменационную залу впускали сразу по пять человек, и Степан с удивлением слушал ответы своих четырех предшественников. Неужели и их примут в институт? Во всяком случае он был выше их на целую голову. Он показал себя достойным трех лет работы без праздника и отдыха с той поры, когда им овладело желание учиться. Последние пуды заработанной муки и последние гроши отдавал он учителю или тратил на книги и бумагу. Он отрекся от всего, стал дикарем и нелюдимым, над которым исподтишка надсмехались товарищи. Просиживал ночи при лампадке и бредил формулами и логарифмами. Такая работа была под силу только силь-

ному духом, и он одолел ее, так как ясно знал, чего хотел. Хотел поступить в высшее учебное заведение. О том дне, когда это свершится, мечтал со страхом и нежностью. И вот этот день пришел. Не было только той радости, которая должна была быть в такую знаменательную минуту.

Он ободрял себя всякими словами, старался размышлять о важнейших задачах, но не мог заглушить душевной боли и заполнить пустоту, которая образовалась в ней после того как экзамен сошел с повестки дня. То, что он хорошо, блестяще сдал его, как-то разочаровало юношу. Конкретная цель достигнута, а впереди он видел бесконечный путь, не обозначенный столбами. Три года он работал, чтобы поступить в институт, три проработает в институте. А дальше? Благосостояние села, счастье людей—в конце-то концов чрезвычайно далекая вещь, чтоб на нее можно было непосредственно направить свою силу. Он был могуч, но нуждался в точке опоры, чтоб поднять мир.

Степан вышел из института. Маляры кончали перекрашивать его в бледные серо-белые тона, более подходящие к институту благородных девиц, нежели к экономическому вузу. Глядя на высокие леса и маляров, покуривавших папиросы на подвязанных к крыше мостках, юноша невольно удивлялся мягким цветам, заменявшим резкие краски революции на домах, плакатах и обложках журналов, и вспомнил, как экзаменовавший его седой профессор свободно употреблял слово «товарищ», словно это слово никогда и не было для него символом насилия и разбоя,—он переварил его, сгладил на нем острые края и теперь выговаривал, не калеча им уст.

Юноша пошел к Надийке, стараясь по дороге разобраться в своем недовольстве и унынии.

«Мне грустно,—думал он,—оттого, что я хочу видеть Надийку. И мне тяжело, потому что я полюбил ее».

И снова ее имя откликнулось счастливым эхом из темных коридоров его мыслей. Она была для него солнцем, внезапно бросающим луч сквозь расщелины тучи; он беспрерывно терял ее и снова находил.

В комнату он не хотел войти, хоть там была одна лишь Ганнуся, стучащая на машинке. Надийка повязалась косынкой, и они пошли в серые сумерки близкого вечера. Девушка тоже сдала экзамен в механический техникум и весело рассказывала Степану, что чуть-чуть не срезалась на политграмоте.

— ...А он и спрашивает—курчавый такой,—что такое Совнарком? Совнарком и ВУЦИК я хорошо знаю. Совет народных комиссаров, говорю и жду,—а что дальше спросит? А председатель Совнаркома кто у нас? А я же его хорошо знала, да сгоряча говорю: Чубатый. Так все и покатились. А он—Чубарь!

Степан радостно улыбнулся.

— Надийка, как хорошо, что мы вдвоем!—промолвил он.

Она бросила на него пламенный взгляд, который манит и обещает тем больше, чем он невиннее. Любовь звенела в каждой ноте ее возбужденного смеха. Занятия начнутся у нее через неделю, и она должна была съездить домой за оставленными вещами и продуктами. Узнав, что у него тоже целая неделя свободна, она предложила:

— Едем вместе. Я буду выходить к тебе под вербы, что возле нашего огорода.

— Не могу я, Надийка,—мрачно ответил он.—Надо о стипендии хлопотать.

Она опечалилась.

— Я не увижу тебя так долго...

Степан взял ее за руку.

— Ты ведь приедешь, Надийка?

Он полюбил ее имя и повторял его.

Уже стемнело, когда они вошли на Владимирскую горку к памятнику. Днем сюда водят детей с мячами и обручами, дышат свежим воздухом утомленные служащие, студенты читают в прохладе свои умные книги. Вечером—это обетованная земля любви для тех, которые не осознали преимуществ комнатной любви и ее удобств. Любовь не терпит свидетелей, а в городе от них трудно избавиться, даже под ветвями садов.

Они долго бродили, кружась по извилистым аллеям, полным густого вечернего мрака. Случайные прикосновения их тел сквозь плотную одежду прохватывали трепетом их сердца, и руки их сжались в тесном пожатии. Их любовь расцветала поздним осенним цветком в хмельных ароматах ранней осени. Где-то кто-то кует уже белый саван природы, кует медные гвозди для гроба ее. А последнее веяние тепла, пропитанное терпким ароматом увяданья, растапливало и сплавляло их сердца в единое сердце, полное горячей и трепетной крови. Невысказанные слова таяли у них на устах, а ветер из Заднепровья страстно обвевал их тела.

Остановившись около ограды над обрывом, они смотрели, как двигаются по склону светящиеся вагоны подъема навстречу друг другу и неожиданно расходятся, когда, казалось, должны были столкнуться. Великая река темнела внизу, обозначенная у берегов фонарями и огнями Труханова острова. Слева в тумане искристым ковром горела улица Подола.

— Ты любишь меня, Степанчик?—спросила она вдруг.

— Надюня,—прошептал он в истоме.—Надюся, я люблю тебя...

Он обнял рукою ее стан, и она, прильнув головой

к его плечу, трепетала от далекой свежести воды и теплой влаги на глазах. Он тихо гладил ее волосы, уничтоженный огромным чувством, оставляющим по себе пустоту.

Утром Степан вышел к ней на пристань и долго махал фуражкой ее косынке. Она повезла с собой его привет селу, несколько поручений и письмо товарищу по работе. Это было большое письмо, в котором он больше расспрашивал, нежели рассказывал. О себе написал только, что сдал экзамен, надеется на стипендию и живет покуда у знакомых. Затем обстоятельно расспрашивал о положении Дома крестьянина, тех лекциях, программу которых он сам составил, посещаемости кино, новых спектаклях. Он совсем забыл, что всего лишь неделя прошла с тех пор как он оставил село. Библиотека—его родное детище—была им составлена из остатков помещичьих библиотек, подарков политпросвета и мелких покупок и пожертвований. Она насчитывала две тысячи сто семьдесят восемь томов, которые он сам переписал, перенумеровал и расставил, разбив на отделы. Это была самая большая сельская библиотека в округе, и каждый том был отмечен его заботливой рукой.

«Напомни, чтоб забрали из уезда ленинский уголок,— писал он.—Семь рублей я заплатил, остается два с половиной. Плакаты и ленты, которые вышили девушки, спрятаны в большом шкафу. Ключи я отдал Петру. Напомни девушкам, что нужно сделать бант—черный с красным, тут в институте такой висит над портретом— очень красиво. Никого я тут еще не знаю. Видел двух парней из какого-то села, такие несознательные, что тоска меня взяла. Трудно мне будет прокормиться, но придется терпеть. Пиши мне обо всем, возможно к Рождеству приеду. Степан».

Когда пароход исчез из виду, юноша сел и свернул папиросу. Пристань опустела. Мальчики, продающие семечки и сельтерскую воду, стали ссориться, потом один из них попросил у него закурить и сочувственно сказал:

— Барышня ваша уехала. А без барышни скучно.

Степан усмехнулся его словам и важному виду знатока. Он тоже мог бы поехать завтра, даже разумно было бы это сделать, вместо того, чтобы полуголодным шататься по городу. Все равно, лекции, очевидно, и через неделю не начнутся. Но его что-то задерживало, какое-то ожидание и скрытая неохота возвращаться хоть бы и на несколько дней домой. Письмо его только внешне было искренним. Ему казалось, что уже целая вечность прошла с тех пор как он покинул родные хатки, и если он так обстоятельно интересовался в письме сельскими делами, то только обманывал себя, хотел сам себя убедить, что прошлое ему близко, что он живет еще им и для него.

В первом часу он увидел, как и надеялся, свою фамилию в списке принятых, подал заявление о стипендии и пошел к Левко за книгами, так как у него впереди была целая неделя свободного времени. Но библиотека Левко была весьма ограниченной и случайной—кроме сельскохозяйственных пособий он имел еще комплект «Литературного научного вестника» за 1907 год, «Тучи» Нечуя-Левицкого и собрание сочинений Фонвизина. Все это Степан перевязал веревочкой и забрал, прихватив еще пособие по сельскохозяйственной экономике, которое могло понадобиться ему в институте. Кроме того Левко посоветовал ему сделать то, чего он сам никак не мог собраться сделать,—осмотреть город. Вытянув из ящика старый план Киева, он вручил его юноше как путеводную звезду.

Этот совет заинтересовал Степана. Позавтракав салом и хлебом, он брал книгу «Вестника» и уходил на целый день, систематически осматривая все места, которые были условно обозначены на плане и имели в стороне объяснение. За три дня он посетил Лавру, опускался в дальние и ближние пещеры, где в узком каменном проходе под низкими сводами тянутся однообразные, покрытые стеклом гробницы святых, и свечи богомольцев мерцают, задыхаясь в сгущенном воздухе; зашел на Аскольдову могилу, заброшенное теперь кладбище, и читал там на памятниках имена людей, которые жили когда-то и ничего по себе не оставили, кроме табличек; гулял по крутым аллеям бывшего Царского сада, сидел с книжкой над обрывом, сбегающим к Днепру: был в Софиевском и Владимирском соборах, в центрах церковного движения, которое незаметно течет под высокими куполами, смотрел на Золотые Ворота, бывшие когда-то воротами Великого Киева, обошел большие базары—Житный, Еврейский и Бессарабку, бродил около вокзала, путешествовал по Брестскому шоссе к Политехникуму; странствовал через Демиевку в Голосеевский лес, отдыхал в Ботаническом саду и потратил не без колебаний тридцать копеек на билеты в Исторический музей и музей Ханенко, где с увлечением любовался прадедовским оружием, старинной мебелью, панно и фарфоровой цветной посудой, больше всего привлекавшей его взоры. Блеск красок и тонкие рисунки очаровывали его и влекли к себе. Он подолгу стоял перед экспонатами, разглядывая в них каждую мелочь, крепко вбирая их в память. И все новое, что он видел, легко укладывалось в его голове ровными слоями, связывалось тысячами нитей с тем, о чем он читал или догадывался. И все новое возбуждало в нем новую жажду. От памятников,

обозначенных в старом плане, остались большей частью лишь пьедесталы. Статуи Кирилла и Мефодия он, правда, видел—они валялись с разбитыми руками на прибрежьи около какой-то кузницы. Только нетронутый Богдан Хмельницкий скакал на ретивом коне и показывал на север булавою—нето угрожая ею, нето собираясь ее склонить.

Наиболее внимательно он осмотрел Подол, ту часть города, где жил. Он убедился, что не только от людей остаются лишь надписи, но и целые эпохи истории пропадают почти бесследно, оставляя то здесь, то там смутные воспоминания о своем прошлом величии. Блестящий центр средних веков с академией и знаменитыми монастырями превратился в мелкое торжище, пристанище купцов и сварливых торговок, в центр кустарных производств мыла, гильз, кожи, уксуса и гуталина.

Под вечер, возвращаясь из странствования, Степан спускался прямо к Днепру, где-нибудь на безлюдьи купался и затем устало шагал домой. После вечерней порции сала, которое стало его единственной пищей, он выходил во двор, садился у сарая и курил. Дом Гнедых казался ему мертвым. Если там и была жизнь, то внешне совсем незаметная: ни голосов, ни шума не доносилось из него, и двери его отворялись очень неохотно. Ночью в окнах беззвучно вспыхивали огни. За все время Степан только раз мельком видел хозяина, когда тот возвращался из магазина; хозяйка дважды на день доила коров, но молока ему уже не предлагала. Каждый вечер на крыльцо выходила покурить одинокая фигура юноши, который угостил Степана папиросой в первый день его поселения здесь. Он сидел, курил, затем исчезал. Степан невольно чувствовал к нему симпатию, потому что этот юноша казался таким

же одиноким, как и он сам. Но подойти и заговорить с ним он не решался. Спать ложился рано, так как не имел света и вставал попозднее, возмещая отдыхом свое скудное питание. Мысль о квартире он откладывал до тех пор, пока не получит стипендии. Как вдруг дело повернулось совсем неожиданно.

Однажды вечером к нему подошел хозяин, тонконогий торговец, поздоровался и сел подле него на чурбан. Глядя в сторону сквозь очки, он спросил юношу:

— Ну, что, нашли себе квартиру?

Степан допускал возможность подобного разговора и имел готовый ответ—через неделю он съедет. Получит стипендию и съедет. Торговец кивнул головой, хмыкнул, потом предложил—пусть Степан остается у них, спит на кухне—там есть кровать—будет иметь обед, завтрак и ужин, а за это пусть присматривает за коровами, носит воду—кран был только во дворе. На этих условиях торговец соглашался законно заявить его как племянника. Степан подумал—больше для важности, так как думать, собственно говоря, было не о чем: он вмиг сообразил, что будет иметь пищу и теплое помещение, а стипендия останется на одежду и книги. Работа не тяжелая. Лучшего нельзя себе и представить. Юноша с достоинством ответил:

— Тогда я остаюсь.

Гнедой поднялся.

— Так переходите,—сказал он.

Через полчаса Степан переселился в небольшую кухню, где под стеной у плитки стояла кровать, а над ней тикали дешевые деревянные часы. Хозяйка отрекомендовалась ему Тамарой Васильевной, выдала керосиновую лампу, стакан молока, хлеб и кусок жаркого, которым он и отпраздновал свое переселение. Матрац

на кровати показался после верстака царской периной, а утром он уже приступил к исполнению своих новых обязанностей коровника, водоноса и дровосека.

VII

В воскресенье должна была возвратиться Надийка. Вечером Степан осмотрел свою одежду, пришил пуговицы, вычистил френч и вытер сапоги мешочком. Костюм свой он носил уже третий год, сукно на нем выцвело от солнца, но это было прочное офицерское сукно, которое не даст дырок еще года три. Потом аккуратно побрился перед маленьким кривым зеркалом, висевшим на кухне, так как за последнюю неделю стал совсем бородатым. Почувствовав себя свежим, молодым и красивым, юноша бодро вышел из дома, направляясь к Крытому Рынку.

Два дня, проведенные им в новом помещении, успокоили и укрепили его. Горячая пища была для него настоящим кладом после еды всухомятку. Она освежила его внутренности и мысли. Вчера он, воспользовавшись излишком горячей воды в котле, выстирал свое белье, высушил его на солнце и выкатал его. Он умел стирать, гладить, готовить пищу, даже чинить сапоги. Почувствовав прочность своего нового положения, он вынес утром на базар два сухих хлеба, ставших ему ненужными, и продал за десять копеек. В неряшливости и расточительности его никак нельзя было упрекнуть, и если он на этот гривенник купил два десятка легких папирос, то такую роскошь позволил бы себе и последний нищий в день приезда любимой девушки.

Работа по хозяйству Гнедого отнимала не больше двух часов в день. На институт и учебу ему оставалось достаточно времени; еще бы стипендию, и он

будет иметь под собой устойчивую почву для дальнейших мероприятий. Эту перемену судьбы он принимал как должное, так, словно бы он ждал ее, не зная только откуда именно она должна притти. При всех своих сомнениях и колебаниях он все же был уверен в своей фортуне. Как молодой охотник в лесу трепещет перед зверем, но верит в верность своей руки, так и он ждал удачи, хотя судьба играла с ним порою злые шутки.

Надийка приехала, но у девушек были те же самые гости—инструктор и молодцеватый Яша, поэтому поговорить с ней не удавалось. Степан не хотел показывать своих чувств перед такими насмешниками. Он закурил папиросу, но Надийка так пылко на него взглянула, передавая ответ от сельского товарища, что он весь просиял, окунаясь в мягкую теплоту ее взгляда, и с наслаждением подумал, пряча письмо в карман:

«Милая Надийка! Любимая, единственная Надийка!»

Яша, бывший в курсе всех объявлений и афиш, предложил пойти на литературный вечер, в зал Национальной библиотеки. Яша не помнил, какая организация будет выступать, но уверял, что вход свободный и что на каждом литературном вечере можно сколько угодно аплодировать и хохотать.

— Это чудаки!—говорил он.—Есть такие, что уже с усами.

Надийка пробовала сослаться на усталость, чтобы остаться со Степаном, но Яша категорически заявил:

— Надоест вам еще целоваться.

И все пошли на литературный вечер. Пришли они на час позже объявленного срока, но пришлось еще ждать полчаса. Это опоздание было не от невнимательного отношения публики к литературе, а явлением общим— одним из последствий глубокого недоверия к обще-

ственной жизни. Рассеянный и загнанный в свои норы обыватель крайне неохотно вылезает из них, и если его приглашают притти в час, приходит в два, еще час пососав свою лапу.

Зловредный Яша нарочно уселся между Степаном и Надийкой, не давая им возможности быть вместе, и юноше не осталось ничего другого, как рассматривать публику и зал.

Места в Малом зале Национальной библиотеки, где обычно бывали вечера, подразделялись по классовому принципу на две категории—впереди стулья для избранных, сзади скамьи для плебса, в большинстве студентов; за скамьями было еще достаточно свободного места, где могли стоять те, которые и на скамьи не попали. Слабые голоса литераторов, которые по большей части не умеют ни читать, ни ораторствовать, долетают до ушей неясным бормотанием, и публика вынуждена развлекаться самым зрелищем литературного действия, фигурой читающего писателя и его коллегами, которые сидят на возвышении, курят, пишут один другому записки, зевают и делают вдохновенные лица. Аплодируют не беллетристам, которые раскладывают на кафедре рукопись и читают долго, а поэтам, которые выходят на середину возвышения и декламируют наизусть, с жестами и чувством, так как в них больше театра и они быстро сменяют друг друга на эстраде. Первые два ряда стульев предназначались для избранных—критиков и писателей, литературных «метров» и «сантиметров», приходящих с женами и знакомыми. Они не могут сидеть дальше второго ряда, чтоб не опозорить достоинства самой литературы, ибо идею можно чествовать только в лице ее представителя.

Среди этого литературного beau monde'а Степан заметил молодого человека, пошутившего по его адресу,

когда он заходил в поисках работы в Государственное издательство, и воспоминание это было не из приятных. Степан все же заинтересовался молодым человеком и спросил Яшу, кто это такой.

— Это—Выгорский,—ответил тот.—Поэт такой. Ничего стихи пишет.

Это был первый вечер наступающего литературного сезона, поэтому аудитория собралась многочисленная, и вход в зал был совсем не так свободен, как это было объявлено в афишах. Традиция публичных литературных вечеров—порождение того времени, когда бумаги не хватало даже на папиросы и искусству дан был лозунг выйти на улицу, поэтому и литература должна была стать зрелищем, а литератор—чтецом-декламатором,—эта традиция умирает у нас на глазах, и мы спокойно можем произнести «аминь» над ее гробом. Литература—это прежде всего книга, а не дикция, исполнять литературные произведения публично так же странно, как читать без рояля музыкальные произведения.

Когда писатели заняли свои места на возвышении за столом, председатель культкомиссии месткома ВУАН открыл вечер, сказал несколько трогательных слов о литературе и ее современных задачах. Но Степан не слушал того, что читалось: посторонние мысли все глубже овладевали его вниманием и отвлекали от чтения и толпы. Он думал о самих писателях, о том, что они выдвинулись из толпы, заняли пред нею определенные места. Они пишут книги, эти книги печатают, продают, наполняют ими библиотеки, и на книге этого самого Выгорского он однажды поставил печать и номер. Степан завидовал им и не скрывал своей зависти. Он сам хотел выдвинуться и быть избранным. Смех и аплодисменты, которыми награждали счастливцев, его чуть что не обижали. С появлением каждого

нового лица он болезненно спрашивал себя, почему это не он.

Чтение произведений на литературном вечере—только вступление к его главной части—обсуждению и дискуссии. Публика любит дискуссии не потому, что принимает в них участие. В дискуссиях больше зрелища, чем в чтении, они сложнее и пикантнее. Но, как правило, никто не хочет выступать первым. Ведь последний имеет приятную возможность выругать всех предыдущих и показаться самым умным. Специалисты, критики, которые поддерживают свой престиж тем, что никогда ничем не бывают довольны, гордо отказываются высказать свои высокие мысли, и их нужно приглашать, как именитых гостей на званом обеде. Да и в общем все хотят смеяться над другими, но не смешить других, но если один кто-нибудь выступит, поток ораторов ринется толпой на эстраду.

На первом литературном вечере каждый хотел себя проявить, и невинная кафедра стала местом отчаянной словесной борьбы, на которой применялись всевозможные приемы убеждения: насмешка, остроумие, ревизия предков писателя с целью выявить среди них кулака или буржуя, цитаты из старых его произведений, где он говорил не то, что говорит теперь, и все прочее, интересное для слушателей, но печальное для литературы. Все ораторы, вне зависимости от убеждений, пользовались этими прекрасными и чистыми приемами, причем каждый оправдывал себя тем, что противник его к этому вынуждает. Через полчаса на возвышении начался настоящий рыцарский турнир, где Дон-Кихоты в латах из цитат и просто голыми руками сражались с ветряными мельницами под аплодисменты и хохот довольных слушателей, а Санчо-Пансы проявляли все свои умственные достоинства, лелея мечту стать губер-

натором на литературном острове. Эти сражения всегда кончались вничью, что давало каждому право считать себя победителем.

В начале дискуссии Степан, замирая от внутреннего волнения, думал о том, сможет ли он стать писателем. О чем написать и как. Он перебирал события всей своей жизни, которые могли бы быть интересны другим, радостно хватался за некоторые и тотчас безнадежно отбрасывал их, чувствуя их бледность. Но первый шаг он, тем не менее, сделал и проявил сразу основное уменье писателя—посмотреть на себя в микроскоп, разложить самого себя на возможные темы, трактовать собственное «я» как материал.

Он тоскливо поднял голову и посмотрел на оратора, которого слушали внимательнее, чем других, и сам обратил на него внимание. Тот говорил плавно и остроумно, эффектно выговаривая слова, подчеркивая фразы, словно вставлял их в блестящие рамки. Иногда бросал он публике меткое словцо, вызывая смех, поправлял тем временем пенсне и снова начинал говорить. Из его уст сыпались цитаты на всех языках, литературные факты, полуфакты, анекдоты, его лицо отображало гнев оскорбленного великана, издевательство обиженного карлика. Туловище его наклонялось и выпрямлялось в такт мягким актерским жестам. Его слова лепились, как кусочки сдобного теста. Он посыпал их, как пирожные, сахаром и сахарином, украшал мармеладными розочками, влюбленно останавливался на миг перед тем как отдать эти сладости на съедение.

— Кто это?—спросил у Яши Степан, пораженный этим кондитерским искусством.

Яша удивился безграничности его невежества. Ведь это Михайло Светозаров—самый главный критик. И Степан впервые за весь вечер присоединил и свои апло-

дисменты к буре аплодисментов, которая покрыла слова великого критика.

В двенадцать часов ночи председатель культкомиссии месткома ВУАН закрыл вечер, сказав несколько прочувствованных слов о том, что все как-нибудь обойдется, что смертельной опасности нет, и дай бог здоровья литературе. На этом представление окончилось, и поле битвы было очищено без санитарной помощи, так как литературные трупы не теряют способности двигаться.

— Но и дерутся, боже мой!—воскликнул Яша, выхо́тя на улицу.—Люблю смерть! Этот тому—гав, а тот этому—гав-гав!

— Пишут они плохо, вот что,—важно сказал инструктор.—Я сейчас читаю Загоскина—вот тот пишет.

— А я люблю Бенуа,—промолвила Нюся.

Ганнуся молчала. Литература отняла у нее четыре часа, и завтра она должна будет встать до рассвета, чтобы успеть закончить заказ.

Надийка шла сзади со Степаном и рассказывала ему сельские новости. Он мрачно молчал. Возле крыльца она шепнула ему:

— Приходи же завтра.

Степан возвращался домой, охваченный единой мыслью, отдаваясь ей целиком, до последней клетки мозга. Желание, возникшее и привившееся в нем, покоряло его всего, мобилизовало все его силы, затемняло весь мир и делало его похожим на глухаря, который слышит только собственное пение. Молодая пружинистая мысль, которая еще только что двигалась слабо, напряглась и начала растягиваться, приводя в движение сотни колесиков и рычагов. Да, Степан должен стать писателем. И в этом желании нет ничего страшного и необычайного. Он сроднился с ним за несколько часов

так, как будто лелеял его годы, а в охватившем его волнении видел признак таланта, проявление творческого вдохновения.

Тему он себе уже выбрал—напишет рассказ о своей старой выщербленной бритве, которая немилосердно дерет его щеки во время бритья. Вот ее необычайная история.

В тысяча девятьсот девятнадцатом году он последний раз прятался с винтовкой в лесах во время восстания против деникинцев. Отряд их был невелик—душ двадцать. Пробивались они к главному повстанческому лагерю под Черкассы. Ночью их окружили, но весь отряд успел ускользнуть и разбежался по одиночке по ближайшим селам до лучших времен. Степан вольным гражданином шел по дороге, но был пойман и представлен на допрос. Он так спокойно и наивно утверждал, что господин офицер имеет дело с невинным парнем из соседнего села, что господин офицер заколебался и приказал черкесу привести его в село, расспросить там, действительно ли он здесь живет, и нужно ли ему было ходить в поле, и если это неправда, то убить его на сходе, на страх и поучение всему миру.

Черный космач в папахе, выкрикивая самые страшные угрозы, сел на коня, огрел его для верности нагайкой и погнал перед собой, пообещав застрелить его, как бешеную собаку, при первой попытке бежать. Пройдя версту, Степан стал клясться, родителями и всеми богами в своем миролюбии и предложил восточному человеку свою бритву, которую носил за голенищем. Бритва убедила черкеса в невинности Степана. Огрев его еще раз по плечам, он приказал убираться ко всем чертям и даже дальше. Но Степан, хорошо зная их веселые привычки, недвижно стоял на месте, пока кавказец не отъехал на такое расстояние, откуда не

мог влепить ему в спину пулю. Но удивительнее всего то, что через неделю, когда повстанцы объединились и дали деникинцам победоносный бой, Степан наткнулся в поле на убитого кавказца и вытащил у него из кармана свою собственную бритву. Этот случай, интересный сам по себе, юноша углубил, придав ему чуть не символическое значение.

Бритва в его композиции принадлежала сначала фронтовому офицеру, как воплощению царизма, но в начале революции его убили, и бритва перешла к победителю— стороннику временного правительства. У него ее забрал петлюровец, уступивший ее красному повстанцу, который на время отдал ее деникинцу, но потом забрал назад, как законный владелец. Судьбу своей бритвы он возвысил до истории гражданской войны, сделал ее символом завоеванной власти, но эту канву он должен был расшить яркими нитями, облечь плотью и вдохнуть жизнь в свою идею. Дорогой он обдумывал разные эпизоды и детали, черпая их из своего военного опыта.

Деревянные часы в кухне показывали без четверти час, когда Степан вошел в дом, тихо зажег лампу, торопливо достал бумагу и сел к столу писать, утопая в потоке образов и слов. В половине третьего он кончил, спрятал рукопись не читая и лег. Еще несколько минут в голове его сновали хрупкие видения, затем он заснул тяжелым сном без сновидений.

VIII

Управившись с коровами и выполнив свои хозяйственные обязанности, по определенному, уже выработанному плану, Степан прочел свой рассказ и остался доволен. Прекрасный рассказ. Глубокий и умный. И он его на-

писал! Юноша очарованно перелистывал страницы—вещественное доказательство своего таланта и залог будущей славы. Исправив кой-какие погрешности и начисто переписав свое произведение, он задумался над его дальнейшей судьбой. Прежде всего нужно его подписать, связать его с собой определенным именем. Ему известно было, что многие из писателей избирают себе другую фамилию, так называемый псевдоним, подобно монахам, отказывающимся от мира и от самих себя со всеми признаками. Так сделал, например, Олесь, но Степану этот путь не нравился. Во-первых, его фамилия—Радченко—совсем не такая, чтобы ее нужно было стыдиться, она даже современна, если хотите [1], а, во-вторых, для чего скрываться? Пусть все знают, что Степан Радченко пишет рассказы, что он писатель, выступает в академии и срывает аплодисменты. Пусть в сельбуде будет его книжка, и пусть удивляются и завидуют ему товарищи, которых он оставил!

Но, взяв перо, чтобы подписаться, он заколебался—если фамилия и нравилась ему, то имя—Степан—его немного смущало. Оно было не только простым, но избитым и грубым. Юноша долго колебался между желанием сохранить себя в подписи целиком и желанием сделать ее звучной и яркой. Он перебрал много имен, ища заместителя своему имени, и внезапно его осенила чудесная мысль—немного переделать свое собственное имя, придать ему необходимую торжественность, изменив только одну букву и ударение. Он решился, подписался, и стал из Степана—Стéфаном, окрестив себя, таким образом, заново.

Каждое произведение должно быть прежде всего напечатанным, чтобы попасть к читателю и очаровать

---

[1] Рада — по-украински совет.

его. Рассказы Стефана Радченко, подающего большие надежды, должны были украсить собою страницы журнала, и как можно скорей. Из журналов он знал только «Червонный шлях» [1], выходивший в Харькове. Туда и надлежало послать этот необычайный рассказ, но желание сейчас же, немедленно, услышать приговор из посторонних уст так томило юношу, что он решил прочесть его сегодня кому-нибудь опытному. Кому именно? Михаилу Светозарову, критику, который прекрасно говорил вчера с трибуны, привел всех в такое восхищение и вызвал такие овации. Ему, ему и только ему! Он прекрасно знает литературу, он должен быть чутким к каждому новому веянию, тем более к такому свежему. Он должен поддержать новичка, направить, посоветовать. Это—в конце концов его обязанность и задача. Фигура критика в пылком представлении юноши становилась добрым божеством, которое доброжелательно примет его первое литературное жертвоприношение.

И Степан решил к нему обратиться. Он не знал, правда, его адреса, но творческая находчивость вмиг подсказала ему, что адрес можно узнать в адресном бюро. Как удобно жить в городе! Сколько тут удобств! Расспросив у Тамары Васильевны, где помещается это бюро, Степан перед обедом помчался туда и за гривенник узнал свой путь на литературные вершины.

После обеда он вышел за ворота свободным шагом человека, который нашел свое место в дебрях мировой стройки. Легко проходил квартал за кварталом, останавливаясь перед витринами и афишами, чтобы доказать самому себе, что он никуда не торопился. Проходя вдоль скверов на Владимирской улице, против памят-

---

[1] «Красный путь».

ника Хмельницкого, зашел и сел на скамью среди детей, которые скакали здесь, бегали вперегонки и подбрасывали мячи. Их веселье заражало его. Задержав мяч, случайно подкатившийся ему под ноги, юноша так высоко подбросил его, вровень с домами, что детвора весело зааплодировала и завизжала, кроме собственницы мяча, которая не надеялась уже получить с небес свою игрушку. Но мяч бомбой упал из-под туч, вызвав новый взрыв сумасшедшей радости. Дети поочередно давали юноше свои мячи, чтобы и они совершили такой головокружительный полет, но он, взяв три из них, начал подбрасывать их все сразу, как цирковой жонглер, вконец очаровав своих маленьких друзей.

В толпе детей переживал он сладкие минуты, не затуманенные ни мыслями о будущем, ни воспоминаниями о прошлом, чувствовал в себе полноту существования, которое само по себе дает радость, не требуя ни надежд, ни планов. Он чувствовал себя птицей, которая, развернув крылья, останавливается в воздухе, охватывая маленьким глазом роскошную землю, как цветок, который раскрывает утром свою головку, проливая аромат навстречу солнцу.

Он пошел дальше, попрощавшись с детьми, кричавшими ему вдогонку, и все кругом приятно ласкало его взоры. Старая колокольня Софии, трамваи и волнообразная улица, обсаженная каштанами. Возле оперы он остановился послушать украинские песни в исполнении двух женщин и слепого старика—представителей искусства, которое вышло на улицу, затем свернул на Нестеровскую, куда его вело стремление и справка адресного бюро. Чем ближе подходил он к заветному дому, тем больше просыпалось в нем не волнение, а чувство, похожее на переживания стыдливой женщины, ко-

торая должна раздеться перед врачом. Он наспех подбирал слова для начала беседы.

«Извините, я написал рассказ и пришел к вам, чтобы вы послушали его».

Нет, лучше:

«Извините, что я беспокою вас, но я хотел бы знать ваше мнение о своем рассказе».

Дом, в котором жил великий критик, тоже был велик и имел два флигеля во дворе. Полагаясь на свое чутье, Степан взошел на пятый этаж первого дома, но последняя квартира в нем имела двенадцатый номер вместо нужного восемнадцатого. Тогда он расспросил во дворе и пошел в другой флигель, начиная уже волноваться. Ударив кулаком в дверь, он начал ждать, и сердце билось гораздо сильнее, нежели он постучал. Он постучал еще раз, сам испугавшись своего упорства.

— Вам кого?—спросила женская фигура, открыв.

— Извините, что я беспокою вас...—начал Степан, не узнавая своего голоса.—Я хочу видеть...—он запнулся, забыв фамилию.—Я хочу видеть критика...

— Критика?—удивилась женщина, придерживая рукой на груди капризный капот.

— Он, знаете, статьи пишет,—пояснил юноша, изнемогая под тяжестью своего креста.—Михаила...

— Михаила Демидовича Светозарова? Профессора?—поправила женщина, впуская его.—Да, да, это тут. Сюда.

Она повела юношу темным коридором. Степан трепетал, как молодой преступник, впервые забравшийся в чужую квартиру.

— Миша, к тебе.

Юноша вошел в комнату, где у стола, за окном, среди кучи книг, не поднимая головы, сидел сам великий критик. Степан остановился на краю ковра и боязливо покосился на громадные книжные шкафы, тянувшиеся

вдоль стен. Священный трепет охватил его холодком, и он согласен был бы стоять так час, два, без конца, ощущая что-то великое и томящее.

Наконец великий критик кончил изливать свои мысли на бумагу и вопросительно посмотрел на юношу.

— Извините,—сказал Степан, поклонившись.—Вы, товарищ Михаил Светозаров?

Сам понимая бессмысленность такого вопроса, он постарался хоть по мере возможности проглотить мало подходящее слово «товарищ».

— Я—Светозаров. А в чем дело?

— Я написал рассказ...—начал молодой человек, но остановился, увидев на лице критика неприятную гримасу.

— Мне некогда,—ответил критик.—Я занят.

Этот оскорбительный ответ приковал Степана к месту. В тоскливом холоде отказа он понял только одно— слушать его не хотят.

Так как он не шевелился, то критик счел нужным повторить, подчеркивая слоги:

— Я за-нят.

— До свиданья,—глухо промолвил Степан.

Выйдя со двора, пошел прямо, незнакомыми улицами, унося в сердце нестерпимый гнет бессильной злости. Никогда еще он не был так унижен и уничтожен. Наглые слова этого книжного червяка легли на нем позорными плевками. Ну, пусть ему некогда, но назначил бы время! Пусть совсем откажется, но должен посоветовать, куда обратиться! И какое право имеет он так говорить? О, его до крови стегнул этот высокомерный, этот барский тон помещика от литературы!

Идя, потупив голову, он строил планы о мести. Он мог бы ударить этого слизняка, разбить его нахальное пенсне, тянуть по полу его выхоленное тело, так

как преимущество его мускулов было несомненно. И потому, что мог представить себе только такой способ мести, сознание беспомощности обессиливало его еще больше. В нем снова просыпался сельский парень с глухой враждой ко всему городскому.

Очутившись возле какого-то садика, он вошел в него и сел на крайнюю скамью. Потом оглянулся, он узнал его—это был Золотоворотский сквер с двумя огороженными кучами развалившегося камня, которые и дали ему название. Охваченный приступом палящей ненависти, он пробормотал, криво усмехаясь:

— Тоже... Золотые Ворота!

Душевная рана вытеснила все мысли. Чувство того, что из дома он выходил гордым Стéфаном, а возвращался Степаном, освистанным, не хотело покидать его. Он тупо смотрел на людей, проходивших мимо темными силуэтами, и в каждом из них усматривал тайных врагов.

Быстро темнело. Плеск фонтана усиливался в сумерках, и густой вечер тихо подымался над кустами. Вдруг зажглись фонари. В своем уголке юноша давно уже остался один. Дневные посетители сквера—добродетельные папаши с газетами, мамаши и няни с детскими колясками—растаяли вместе с последними лучами света. На смену им слетелись ночные бабочки и их ловцы.

Степан встал, взял свое произведение и порвал его в клочки.

— Будь ты проклято!—сказал он.

Он шел к Надийке, хоть ему было безразлично—видеть ее или нет. Она радостно встретила его на углу, так как уже поджидала его, гуляя.

Увидев его, она радостно засмеялась, но он холодно поздоровался:

— Здравствуй, Надийка!

Поздоровавшись, двинулись к Царскому саду, и девушка с увлечением рассказывала о первом дне лекций в техникуме. Он сжал губы. В его институте тоже, верно, уже начались лекции. Ну, и пусть начинаются! Он сразу замкнулся в себя и хмуро смотрел на мир сквозь решетку, за которую сам себя запер. Смех Надийки казался ему нестерпимым. Ее веселье обижало его. В нем поднялось недоброе чувство к этой девушке, и это чувство было ему приятно.

— А что пишет Семен?—спросила Надийка, не почуяв его настроения.

— Ничего не пишет,—ответил он.

Да, и вправду он этого не знал, так как письмо от товарища так и осталось нераспечатанным.

Надийка удивленно посмотрела на него.

— Ты странный сегодня, Степан,—несмело произнесла она.

Он ничего не ответил, и они молча дошли до Царского сада. Это молчание обидело девушку, и она остановилась, сдерживая слезы:

— Я пойду домой, если ты меня не любишь.

Степан потянул ее за руку.

— Люблю. Идем.

Он почувствовал свою власть над ней и хотел, чтоб она покорялась. Вся его досада сосредоточилась на ней, и если бы она вздумала спорить, он мог бы ударить ее. Но она покорно пошла.

Вдруг над садом взлетела голубая ракета и погасла вверху с тихим треском. Пускали фейерверк. Розовые, синие, желтые, красные огни со свистом взлетали кверху, чертили светящиеся дуги на темном фоне, взрывались и падали на землю искристым дождем.

Степан достал последнюю папиросу и закурил:

— Сволочи они все!—мрачно сказал он, сплевывая.

Надийка с увлечением смотрела на невиданную еще игру цветов и огня, забыв на миг о своем невеселом спутнике.

— Кто?—не понимая, спросила она.

— Все, которые там смотрят.

— Мы тоже смотрим,—робко возразила она, испуганная его голосом.

— Думаешь, для тебя пускают?—сурово улыбнулся Степан.

Она вздохнула. Он повернулся спиной к огням и пошел прочь. Надийка молча догнала его и посмотрела ему в лицо. Озаренное огоньком папиросы, оно казалось холодным и безразличным.

Через несколько минут они очутились в чаще, где кончалась аллея и начиналась дорожка к обрыву. Темная поросль дышала влажностью и мрачным спокойствием. Остановившись на краю, они смотрели на его другую сторону, где темными великанами подымались группы деревьев, замерших в пугающем затишьи. Тишина кругом таила ожидание и страсть, словно перед грозой, и шум города внизу доносился сюда далеким отголоском грома.

Папироска у юноши погасла, и он раздраженно бросил ее в овраг. Потом обернулся к Надийке. С радостным трепетом почувствовала она его взгляд.

— Степанку,—спросила она, склонившись к юноше.— Что ты такой... сердитый?

Он внезапно обнял ее и прижал со страстью, растравленной злобой и унижением. За это крепкое объятье она готова была простить ему прежнюю невнимательность. Схватив руками голову Степана, она хотела прижать ее к себе и поцеловать, но он упорно душил ее, обессиливал объятьями. Тогда девушка упер-

лась ему руками в плечо, силясь оттолкнуть его, но должна была их опустить, застонав от боли и удушья. Она вдруг почувствовала, что он ломает, гнет ее, что колени ее подгибаются и темная полоса неба плывет перед глазами. И сразу упала навзничь, холодная от щекочущих прикосновений ветра и травы к обнаженным бедрам, придушенная немой тяжестью его тела.

. . . .

На западе всходил бледный месяц, пробиваясь сквозь тучи и листья и бросая на реку холодные блестки.

Степан и Надийка молча сидели на скамейке. Желание курить мучило Степана, и он рвал пустую коробку от папирос.

— Почему ты молчишь?—спросил он, бросая обрывки картона.

Она грустно обняла его и упала лицом к нему на колени.

— Ты же любишь меня, а?—пробормотала она.

Он поднял ее и отстранил.

— Люблю. К чему спрашивать?

Тогда она громко заплакала, захлебываясь, всхлипывая, словно сдерживаемый разлив слез сразу хлынул из ее глаз разрушительным потоком.

Степан оглянулся кругом:

— Не плачь!—сурово сказал он.

Она рыдала, потеряв в слезах сознание и волю.

— Я говорю тебе—перестань!—произнес он, дернув ее за руку.

Она остановилась, но придушенный стон снова вырвался из ее стиснутых губ.

— Я пойду, если так,—сказал он, поднявшись.—Ты виновата!—крикнул он.—Ты виновата!

И ушел, полный скорби и гнева.

IX

Жизнь страшна своей безостановочностью, безудержным порывом, который не отступает перед самыми страшными страданиями человека и показывает ему спину в моменты самой острой боли. Человек может сколько угодно метаться в ее шипах—она пройдет мимо со своими глашатаями, которые за страх и за совесть кричат миру, что без шипов не бывает роз. Она—тот всемирный наглец, который на просьбу ободранного нищего отвечает толчком, пощечиной, ударом палки и проходит мимо, покуривая папироску, даже не повернув к своей жертве золоченый монокль. На развалинах землетрясения вмиг вырастают хижины для живых, которые с музыкой бросили задушенных в землю, могилы зарастают травой и траурные вуали спадают с лиц, жаждущих счастья.

В тридцать седьмом номере на Нижнем Валу ничего не говорило об ударе, обрушившемся на душу одного из жильцов. Коровы были вычищены, напоены и накормлены. Бочка была налита водой—все свидетельствовало о полном порядке, ничто не говорило о какихлибо переменах, и потерянный грош был бы тут более заметен, нежели утраченное спокойствие юноши.

Запасливый торговец уже начал заготовку топлива на зиму. Заспанный двор на время проснулся от криков извозчиков, визга колес и грохота сбрасываемых плах. Появились серые мужички, которые стоят на базарах и на углах с пилами и топорами, ожидая покупателей на свою рабочую силу. Их партия обычно состоит из двух взрослых и одного мальчика, который только носит колотые дрова, как бы подлежа закону об охране детского труда. Степан принялся помогать, убедив их, что это не повлияет на договорную ставку.

Целый день он с увлечением пилил и колол, так яростно опуская топор на поленья, словно бы это были его старые враги. Он бодро бросал плахами, как веточками розы, расспрашивал крестьян об их жизни, вел разговор об их нуждах, о состоянии культработы, но когда они ушли, он мучительно почувствовал фальшь своих слов и неискренность своих расспросов. Он уже не раз замечал в себе перемену, но нарочно отвлекал от нее мысли, а теперь должен был признаться себе открыто—село стало ему чуждым. Оно поблекло в его воспоминаниях, как бледнеет фонарь в свете дня, но висело над ним как укор, как тревога.

Вечером, лежа на своей кровати, утомленный колкой дров и мыслями, он вдруг вспомнил о письме, которое написал ему сельский товарищ—ведь он не прочел его и до сих пор! Юноша вынул письмо из кармана, где оно лежало, потертое, как просроченное свидетельство. Сообщая ему о положении дел, товарищ писал:

«...Все думается, что ты уехал на время. Привыкли к тебе. Работа помаленьку идет. Да ты знаешь наших ребят? Пока за уздечку ведешь, так и хорошо. А тут еще Олексея Петровича забирают в округ. Даже странно—все лучшее, что у нас есть, то от нас удирает. Да и подумать—только горе здесь людей держит. Сидишь, как окаянный. А когда кто-нибудь уезжает, так такая тоска берет, что хоть плачь. Начинаешь временами думать—жениться пора. Но и думать не хочется. Ты говоришь на Рождество приедешь. Поговорим. Только, я думаю, что ты не приедешь. Что у тебя тут—жена или ребенок? Только первое время тебе скучно. Работы там много, интересной работы, а нас забудешь скоро.—Новые товарищи пойдут. Ты только пиши...»

Каждое слово ранило его своей простой, поразитель-

ной правдивостью. Держа в руках письмо, юноша, зажмурив глаза, прошептал:

— Я не приеду, никогда не приеду.

Он называл себя изменником. Так может поступать только отступник, обокравший родителей, которые его за это должны проклясть. Но сразу же, как только начал себя стыдить, он потерял из виду цель своего возмущения. Она исчезла под действием неведомой силы, заботливо превратившей его укоры в бесцельную вспышку. Почему, собственно, он считает себя изменником? Разве мало людей покидают деревню? Города ведь растут за счет деревень. Это нормально, вполне нормально. К тому же его вуз экономический и, окончив его, он все равно на село не вернется. Ему предназначено жить в городе. Да и разве что-либо в нем изменилось? Он такой же, каким был. Все хорошо. Он имеет пищу и помещение, а через день-два получит стипендию. В чем же дело?

И тогда смутной болью, как тоска, как страшный сон, всплыло воспоминание, которое он стирал, вытравлял из сознания, пока не превратил его в незаметный рубец, только иногда сочащийся кровью,—воспоминание о Надийке. Эта девушка стала его кошмаром. Его любовь оказалась фальшивой бумажкой, всунутой в суматохе, и он выбросил эту фальшивку, злясь на себя и считая себя обманутым. Она была из родной деревни, поблекшей в нем, была мелким эпизодом этого сдвига, эпизодом болезненным и мало оправданным. Что с ней? Он стискивал губы и, бравируя, шептал:

— Не я, так другой.

Но глухие угрызения совести не покорялись его властным приказам. А он должен был вычеркнуть Надийку из своей жизни, уничтожить ее в себе, как кандалы, которыми приковывают каторжников к стене. Ибо

заглянул сквозь решетку на волю. И ко всем, кто был или мог быть свидетелем его прошлого, он чувствовал скрытую вражду. Меняя планы, он тяжело чувствовал на себе власть бывших товарищей. Он никак не мог себя заставить отнести Левко книги, которые были уже прочитаны или хоть перелистаны. Ему неприятно было бы увидеться с тем, кто раньше казался ему достойным подражания идеалом, а потом вдруг доказал свою страшную пустоту. Ибо Левко позорно стал в его глазах рядом с Яшей и инструктором, как непременный член тройки, символизировавшей тупость села, его заскорузлость и низость. Оно не видит перспектив, либо не ищет их, либо в них не нуждается. И опрятная комната Левко—предмет его зависти—казалось ему теперь норой слепого крота.

Через несколько дней одиночества он заставил себя направиться в институт. Да, стипендию ему назначили. И вместо того чтобы радоваться, он обиженно подумал:

«Восемнадцать рублей! Говорили—двадцать пять».

Втайне он надеялся на большее. Бывают же стипендии в пятьдесят? Даже все сто? Лекции уже начались, но он забыл дома карандаш и бумагу и ушел домой.

На улице им овладело странное беспокойство. Он часто останавливался около тумб с афишами, около объявлений, плакатов, кино и витрин, рассматривая все это так же старательно, как когда-то экспонаты в музее,—с благочестием и увлечением. Рисунки особенно привлекали его. Большая афиша цирка, нарисованная тремя яркими красками—красной, зеленой и яркосиней,—сообщала, что вскоре начинаются гастроли знаменитого клоуна и акробата, и тут же, в качестве неоспоримого доказательства, акробат этот был показан

вместе с труппой, сам отдельно на земле и под цирковым куполом.

«Это очень интересно»,—подумал Степан.

Тут же он узнал, что в театре имени Шевченко дает концерты всемирноизвестный скрипач, с приятной улыбкой смотревший на юношу в серых тонах афиши.

«Молодец!»—похвалил его Степан.

А в первом Госкино шел чудесный фильм с участием прославленного артиста, и перед фантастическими восточными костюмами действующих лиц на выставленных для приманки фото юноша острее почувствовал, какой у него старый френч, юфтевые сапоги и измятый картуз. Знаменитый артист щедро показывал ему себя во фраке, без чалмы, во фраке с чалмой, в одеждах раджи, пешком и на ретивом коне, соло и рядом с возлюбленной и в хоре своих сторонников. Степан молча, но невесело отошел от этих картинок.

Потом Степан остановился у витрины кондитерской, где в поэтическом порядке, на белой разузоренной бумаге, в раскрашенных коробочках, фаянсовых тарелках и в вазах лежала сладкая, невыразимо вкусная еда. Он пожирал мрачными глазами всю эту гору бисквитов и шоколадных тортов, ромовых бабок, заливных орехов, кучи шоколада, пласты цветных тянучек и печений разной формы и вкуса, не зная названий всего этого, но прекрасно понимая, что названия эти—не пампушки, не пундики и не пряники. Он нащупал в кармане двадцать копеек, но зайти в магазин не отважился и купил пару пирожных на улице у милой девочки, которая имела счастье их продавать и никогда не кушать. Взяв в руки эти скользкие изделия сахарной индустрии, он сразу проглотил их, сурово сам к себе обращаясь:

«Молчи! Я тоже хочу полакомиться».

У магазина готового платья Степан рассматривал ко-

стюмы с таким видом, словно ему нужно было только выбрать себе какой-нибудь к лицу, из хорошего материала и хорошо сшитый. Этикетки с ценами нисколько не смущали красивого юношу—чересчур несоизмеримы были они с его финансовыми возможностями, и он мог выбрать самое дорогое, так как не мог купить и самого дешевого. Ему вольно было представлять себя единственным хозяином сокровищ, которые сделали бы его красивее мирового артиста, талантливее скрипача и ловчее циркового акробата; он мог по желанию менять каждый миг костюмы, примерять фуражки и галстуки, выбирать платочки и носки, так как ни один закон не запрещает пользоваться чужим имуществом в собственном воображении. И молодой человек почувствовал, что одежда уже давно перестала служить прикрытием для тела и приобрела более широкое и благородное назначение—украшать его. Он, может быть, написал бы что-нибудь гениальное, если бы одеть его в английскую сорочку с воротничком, короткие узкие брюки и остроносые ботинки.

Степан порядком устал от разглядывания костюмов, когда к витрине подошла дама в легкой маркизетовой блузке, через которую просвечивали кружева ее сорочки. Опираясь обнаженными руками на перила, она небрежно рассматривала пестроту галстуков—может быть, выбирая для возлюбленного элегантный и не очень дорогой подарок. Эта дама была надушена крепкими духами Парижа, и запах стлался вокруг нее, как греза. Он охватил юношу сладким туманом, всколыхнул, и нос его расширился, с жаждой впитывая этот незнакомый тонкий воздух, разливающийся по жилам пьянящим чадом. Он вдыхал аромат этой женщины, как вдыхают аромат цветов, дышал ею, как дышат свежестью весны, смолистостью бора, ранним испарением

земли. Только первая струя была ему немного неприятна, как непривычный дым папиросы, которая затем быстро увлекает и становится страстью. Около этой женщины он пережил то томительное замирание, которое вызывает у человека высота, пугающая опасностью и вместе с тем чарующая. И когда она ушла, он посмотрел ей вслед благоговейным взором. Он дрожа думал, что это душистое тело он тоже мог бы взять, как каждое другое, и вместе с тем эта мысль казалась ему чудовищной. Но эта надушенная Парижем киевлянка сгладила рубец, оставленный Надийкой, в бледную, незаметную полоску.

Дома он блуждал по двору, захлебываясь от сумасшедших грез. Это даже не были грезы, а бесформенные, бессмысленные фантазии. Обрывая одну, он хватался за другую, смаковал ее и тотчас отбрасывал, бросаясь за более красивыми. То становился он наркомом, ездившим в автомобиле, произносил речи, которые волновали его до мозга костей, принимал иностранные делегации, вел переговоры, устанавливал прекраснейшие законы, изменял лицо земли, и после смерти ставил сам себе памятники; вдруг становился необычайным писателем, каждая строчка которого разносилась по всему миру вещим звоном, возбуждая человеческие сердца и прежде всего его собственное сердце; забыв о великих делах, придавал он своему лицу чарующую красоту, одевался в наилучшие костюмы и покорял женские сердца, разбивал семьи, увозя в далекие края своих воображаемых любовниц; седлал повстанческого коня, добывал из тайников спрятанные обрезы и во главе отваги безумцев окружал город, открывал пулями эти магазины, нагружал возы костюмов, сладостей и пирожных, овладевал женщиной, пахнущей

тонкими духами. Образ бандита захватывал его, и, сжимая кулаки, он шептал с лютой злобой:

— Ох, и грабил бы я! Так бы грабил!..

Его вымыслы были неисчерпаемы, фантазия неутомима, самовлюбленность беспредельна. Он держал в руках волшебный камень, который, играя и вспыхивая, показывал все чудеса земли. И этим камнем был он сам.

И когда ум, надоедливый педант и учитель, испуганно начинал свои жалкие уговоры, он подобен был игрушечному кораблику на волнах настоящего моря, и все его причитания напоминали жалобы человека, вздумавшего остановить словами поток из лопнувшей водопроводной трубы.

Ночью ему снился сон. Он шел роскошным садом по ровной аллее в тени ветвистых деревьев с продолговатыми, как бананы, плодами. На перекрестке он заволновался, словно должен был здесь что-то найти или кого-то встретить. Посмотрев в сторону, он увидел беседку, которую вначале не заметил, и вошел под своды, увитые виноградом. Сидевшая в ней незнакомка не подняла головы. Он неуверенно остановился на пороге и вдруг заметил, что она манит его пальцем. Присмотревшись внимательней и все более удивляясь, он увидел, что она сидит в одной сорочке и у ее ног пруд, в котором она будет купаться. Внезапно она откинулась на спину, и ветерок незаметно сдул с нее последнее покрывало. Степан дико вскрикнул и бросился на нее, но споткнулся, упал в грязную лужу и проснулся от биения сердца.

Он долго смотрел в темноту перед собою—голая женщина, по народной мудрости, предвещает неизбежный стыд.

X

Единственной отрадой Степана было знакомство с сыном Гнедых Максимом—тем молодым человеком, который радушно угостил его папиросой в день его приезда. Максим был немного старше Степана, на редкость добродушен, мечтателен, обладал тихим голосом и какой-то глубокой сердечной улыбкой. В его разговоре и движениях чувствовалось равновесие человека, который доволен своей жизнью и легко несет на плечах бремя судьбы. Именно это спокойствие и привлекло Степана к хозяйскому сыну, которого он вначале пренебрежительно окрестил барчуком. Сбитый с толку, Степан инстинктивно тянулся ко всему определенному и втайне завидовал прекрасной судьбе Максима.

Максим тоже относился к нему хорошо и заботливо. Кстати, он два года назад окончил институт, в который Степан поступил. Хотя разговоры о науке были неприятны Степану, он должен был разговаривать с Максимом о программе и слушать его рассказы о профессорах и приключениях из студенческой жизни.

— Где вы служите?—спросил его как-то Степан.

— В Кожтресте,—ответил Максим.—Я не плохой бухгалтер. А для этого нужна прирожденная способность.

— Какая именно?

— Точность прежде всего и, если хотите, некоторое самоотречение. Это—особый мир... Потому и бухгалтеров настоящих мало.

Степан покачал головой. Имея живую фантазию и способность сразу все понимать и все перенимать, он вдруг ощутил в себе молчаливый мир счетов и чеков, где течение жизни укладывается в однообразные, заранее выработанные формулы, где события и люди за-

меняются цифрами. Он вздохнул, его бессознательно потянуло к покою бумаг.

— И много платят?—спросил юноша после обычной в их разговорах паузы.

— Шестнадцатый разряд и двадцать пять процентов... Выходит что-то рублей сто сорок.

Степан еле сдержал свое удивление. Сто рублей казались ему суммой, выше которой не могли взлететь его самые пылкие желания, а сто сорок были для него чудом и неизмеримым богатством. И он наивно спросил:

— Так чего же вы не женитесь?

Максима этот вопрос, видимо, смутил. Поколебавшись миг, он бессвязно ответил:

— Это, видите ли, дело... сложное. Да и нужно ли? Вырастет этак молодой человек и думает, что жениться обязательно... Традиция такая есть...

Он засмеялся и внезапно добавил:

— А книги, если хотите, могу вам дать. Я все сохранил после окончания института. Теперь, правда, рекомендуют новинки.

Но юноша не спешил воспользоваться его любезным предложением, так как его в это время мало интересовали книги, хоть бы и самые мудрые, кроме книги собственной жизни, исписанные страницы которой он каждый день перелистывал, не находил в них того, что можно было бы назвать радостью, видел в них только бесчисленность однообразных дней—потому ли, что там и вправду не было ярких воспоминаний, потому ли, что воспоминания являются привилегией старости, когда они заменяют надежды, а может быть, и произвольно изгонял эти воспоминания из памяти, чтобы сильней стремиться к будущему, и осознавал теперь прошлое как бледный, тяжелый путь по тропинкам на крутизну, который привел его к обрыву между вершинами, к бездне,

через которую он должен был бы перепрыгнуть, рискуя полететь на дно или вернуться обратно. Стоя на краю обрыва, он чувствовал страшную узость жизни, которая предоставляет человеку слишком малый выбор; ему начинало казаться, что его собственный путь тоже подчинен общему закону и предназначен уже давно, а те якобы широкие пути, которые он себе намечал, в действительности были узкими дорожками, по которым он шел вслепую.

На другой вечер Максим позвал юношу в дом, чтоб дать ему обещанные книги. Хозяйский сын был в совсем необычном для него повышенном настроении, много говорил и часто смеялся. Давая Степану книги и нужные советы, он весело говорил:

— Вот вы удивлялись, что я так много получаю и не женюсь. Скучно, думаете, и денег девать некуда. А вот посмотрите,—он показал на свою библиотеку,—у меня много книг. Я люблю покупать их и читать. А есть, знаете, такие, которые покупают и не читают. Покупают и ставят на полку. Смешно, правда? Вообще, много есть смешного на свете. Вы еще молоды, я не говорю, что вы глупы, упаси, господи! А когда-нибудь вы увидите, что читать книжки гораздо интереснее, нежели самому делать то, что в них описывается.

Он усадил Степана у письменного стола, зажег лампочку под красным абажуром и погасил электричество на потолке. По углам комнаты легли тени, и Степан, отведя взгляд от светлого круга на столе, погрузил его в мрак, придавший всем вещам и словам какое-то глубокое значение. Максим сел против него.

— Потом,—продолжал он,—в действительности никогда не бывает так, как написано в книге. Вы улыбаетесь, а это правда. И это вы тоже когда-нибудь поймете.

Я ведь не говорю—«не бывает того», а только не бывает «так». В книге все собрано, подытожено, прилажено и подкрашено. В действительности все так, как оно есть, а в книге—как должно бы быть. И скажите—что интереснее? Вот вы приходите к фотографу и говорите: сфотографируйте меня, чтобы я на карточке был очень красивым. Вы посылаете карточку знакомым, которые давно вас не видели и, вероятно, не увидят. Разве для них, по-вашему, лучше, если бы вы появились сами? Я не говорю, что вы безобразный, это к примеру. Курите.

Он подвинул юноше кожаный портсигар.

— Вот еще куда деньги идут—люблю хороший табак. Знаете, во время военного коммунизма все покупали махорку, лишь бы курить. Я—нет. Такие папиросы вы редко встретите. Это—выдержжанный табак, приправленный опием.

— А это ведь вредно,—заметил Степан прикуривая.

— Все вредно! Дышать тоже вредно, так как вы сжигаете кровь. Не дышите, может, дольше проживете! Вы думаете—не буду делать того, что вредит, так больше проживу. А вы подумайте так: буду делать то, что вредит, лишь бы приятней было жить.

— И без опиума жить интересно,—задумчиво ответил Степан.—Тут, в городе, деньги нужны, служба. Ох, если бы деньги! А опиум... Это уж кому жить нечем... Кто пуст, слаб...

— Замечательно! У вас есть здравый смысл,—улыбнулся Максим.—Человеческую силу, думаете, силомером можно измерять? А полноту жизни—килограммами? Вы наивны! Когда вы заговорили о женитьбе, я так и подумал—наивен.

— Так, по-вашему, все, кто женятся, наивны?

— Не они наивны, а те, кто думает, что жениться

обязательно. О, те, кто женятся, совсем не наивны, они несчастны, если хотите знать! Разве мы видели за всю жизнь хоть один счастливый брак? Ответьте мне, но только по совести. Нет! Я тоже. Хотите, я вам что-то покажу?—спросил он таинственно.—Только это—секрет.

Он вынул из ящика коробочку и открыл ее. Там в бархате лежала плоская золотая дужка с несколькими мелкими бриллиантами вокруг большого рубина.

— Вам нравится?—возбужденно говорил он.—Знаете, кому я подарю? Маме. Сегодня день рождения мамы. Не думайте, что у нас будут гости! У нас не празднуют именин. Мы так тихо живем, никто у нас не бывает.

Степан несмело взял драгоценность и рассматривал ее, положив на ладонь. Бриллианты, лучась, бросали искры в рубин и он, проглотив их, вспыхивал темнокровавым сиянием.

— Очень красиво,—сказал он и положил браслет в футляр.

— Вы хотели бы подарить такое своей матери, правда?—продолжал Максим.—Впрочем, я забыл, что вы сирота. Мы приняли вас только потому, что вы сирота. У нас не любят чужих, мы привыкли быть одни. И, знаете, не приняли бы вас ни за что. Но когда я прочел в письме вашего дяди, что у вас нет родителей, я сразу высказался за то, чтобы вас приютить. Тому, у кого нет матери, надо помогать.

— Спасибо,—пробормотал молодой человек, чувствуя от этого раскрытого благодеяния теплоту, стыд и неприятную боль.

— Ну, вот мне жаль, что я сказал вам об этом. Я много думал о вас. И придумал поручить вам наше хозяйство. Это все же лучше, нежели слоняться по об-

щежитиям. И маме, кстати, помощь. Только вы не благодарите, ради бога, забудьте, забудьте об этом.

Потом хозяин показал ему несколько сокровищ из своей библиотеки: оригинальные издания петровской эпохи, украинские издания с гравюрами первой половины девятнадцатого столетия и громадную коллекцию почтовых марок в пяти толстых альбомах—результат неутомимого собирания с детских лет. Он рассказал Степану о всемирном обществе филантелистов, членом которого он был, и о том, что теперь ведет с членами общества, живущими во всех углах земного шара, интенсивную переписку, снабжая их драгоценными для них марками времен революции.

— Знаете,—сказал он,—я имел бы приют везде, где хотите,—в Австралии, в Африке, на Малайских островах, лишь бы только поехал. Устав нашего общества предлагает нам давать приют членам общества. Но я никогда не выезжал из Киева,—прибавил он со вздохом.

Степану о всемирном обществе филателистов, членом тистике, экономической географии и коммерческой арифметике, и все это сложил в углу, впредь до употребления. Как всегда, ознакомясь с людьми, он сразу замечал неизбежные в каждом странности и терял часть уважения к ним. И любезного Максима он также определил как чудака, находя в нем что-то родственное с сумасшедшим учителем, с которым он познакомился у Левко.

«Ну и люди,—думал он,—и чего им нужно? Жить бы просто, а они все с выкрутасами».

Он думал так, несмотря на то, что сам искал в жизни чего-то особенного, так как жить просто человеку не по силе.

Но больше всего поразило Степана напоминание об его сиротстве. Действительно, мать у него умерла, когда ему было два года, и никаких воспоминаний о ней в его памяти не сохранилось. Поэтому его детская тоска, боль обид и несправедливостей превращалась в мечту, растекалась по степям и рощам, уносилась в недосягаемые дали. Потом ему даже перестало казаться, что его мать когда-то существовала так, как существуют другие рождающие женщины. И удивительная нежность, звеневшая в сыновнем голосе Максима, возбудила в душе Степана гнетущую тоску.

Утром книги, подаренные ему Максимом, показались Степану живым укором, он решил, что довольно дурака валять, и, взяв бумагу и карандаш, отправился в институт, но вид улиц и людей, гулкий звон в церквях напомнили ему о том, что сегодня воскресенье. Он совсем потерял счет дням, и это его страшно рассмешило.

«Вот увалень,—подумал он о себе,—завтра же начну заниматься».

Вечером Степан заставил себя внимательно прочесть введение в статистику—науку удивительную, которая безошибочно исчисляет, сколько шансов имеет каждый попасть под трамвай, заболеть холерой или стать гением, но до этих поучительных отделов юноша еще не дошел, и когда деревянные часы—украшение его кабинета—показали десять, он решил, что пора лечь спать и разрешить таким образом все вопросы прошедшего дня.

Он заснул и проснулся от тихого шороха у кровати. Раскрыв глаза, увидел чуть серевшую в сумерках фигуру. Степан вскочил и глухо спросил:

— Кто там?

Преступник? Привидение? Сон?

Но фигура молча надвигалась, и юноша сразу догадался—это хозяйка. Что случилось? Пожар? Неожиданная смерть? Он не успел ничего спросить, как почувствовал прикосновение горячей руки к лицу, шее, к груди. Потом двух рук. Прерывающееся, словно сдержанное дыхание приближалось к нему, наклонялось, остановилось и легло ему на губы сухой жгучей печатью. Руки женщины обвили его стан, и к груди прижалось теплое трепетное тело. Охваченный бессознательным страхом, Степан отодвинулся и прижался к стене.

— Что это вы? Что это вы?—бормотал он, захлебываясь. Все тело одеревенело от напряжения, страх свел руки. Дышал он шумно и тяжело, хватая губами холодный тяжелый воздух.

Она отшатнулась и тихо пошла прочь. Степан, как сквозь сон, услышал легкий скрип дверей. Жизнь понемногу возвращалась к нему, сердце успокаивалось, он пошевелился и несмело вытянулся на кровати. Ноги еще дрожали и струи крови звенели в ушах.

«Что это? Как же так?»—думал юноша, разводя руками.

По мере того как к нему возвращалось сознание, у него на устах возрождался поцелуй, который он прервал, прикосновение груди и сладостное объятие голых рук. Голых! Как поздно он это понял! Ведь все ее тело, раздраженное, податливое, было отдалено от него лишь тканью сорочки. И он оттолкнул его, как трус, вместо того, чтобы погрузиться в него, вместо того, чтобы познать в его глубинах таинственную, изнуряющую теплоту! Что остановило его? Грех? Чувство вины перед кем-нибудь? Угрызение совести? Весь этот цепкий хлам, эти досадные, разбросанные по дорогам

колючки, или, вернее, мальчишеский испуг—глупые предрассудки.

А кровь уже зажигалась, наполняла жилы; молодое сердце забилось мощными ударами. Охваченный палящей жаждой наслаждения, он осторожно поднялся и дрожа коснулся ногой холодного пола. На цыпочках подошел к двери, которая вела в комнаты Гнедых, и тихонько пробовал ее открыть, но дверь поддалась лишь немного, запертая изнутри на крючок. Степан поднял руку, хотел постучать, но рука бессильно упала. В конце концов он сам виноват!

Комната душила его. Выйдя в белье на крыльцо, он сел и уперся локтями в колени. Холодный воздух не успокаивал его. Страх и напряжение оставили в его сердце немую боль. Раскаяние о несовершенном грехе—именно о том, что он не совершил его,—мучило и грызло Степана, он называл себя дураком, остолопом и ничтожеством. И не только потому, что неудовлетворенное тело его преисполнилось горечью, но и потому, что обладание этой пышной отцветающей женщиной могло укрепить его дух и волю.

Утром Степан, нервный и невыспавшийся, мрачно слонялся по двору и томясь курил папиросу за папиросой, исчерпывая запасы своей махорки. День был будний, и институт был открыт, но одно воспоминание о нем вызывало в юноше страшное отвращение. Что там институт! По сравнению с происшедшим прошлой ночью это была вещь простая и легко достижимая. А желание обладать женщиной, о которой он вчера днем не смел и подумать, сжигало его палящим зноем.

«Развратница, проститутка»,—думал он с клокочущей злобой.

Он готов был молить ее на коленях, чтобы она хоть раз улыбнулась ему, чтобы сделала хоть малень-

кий знак. Но, встречаясь с ним в кухне, она была такою же, как вчера, позавчера, две недели тому назад, и ни малейшим движением не выдавала своего ночного визита. Это казалось ему бездной лукавства, глубиной испорченности распущенной самки. Ведь она приходила? Определенно. К чему эта фальшь? Придет или нет? Юноша прекрасно понимал, что обидел ее своим поведением, что нужно что-то сказать или сделать, но что и как—он не знал, не отваживался, боясь сам себе повредить и неудачным поступком разрушить все вконец, вместо того чтобы исправить.

Тихо, совсем незаметно прошел он в кухню, где Тамара Васильевна возилась с обедом. Она стояла спиной к двери, и юноша вошел незамеченным. Полный сознания своего унижения и вместе с тем охваченный тоской, он с какой-то нищенской жадностью пожирал глазами линии ее спины и ног, то с мольбой, то с нестерпимой страстью. И когда она обернулась и увидела его, он заметил на ее лице страдание и враждебность, затаившиеся под видом непоколебимого спокойствия.

— Приходите сегодня, приходите!—прошептал он тихо-тихо, хоть никто из посторонних не мог его услышать, так как утром в доме было пусто.

Ни один мускул не шевельнулся на ее лице. Она отвернулась, а Степан выскочил из комнаты, ожесточенно хлопнув дверью. Он не пришел домой обедать, желая подчеркнуть свое отчаяние, вернулся поздно вечером, проблуждав целый день у Днепра, и сразу улегся спать, снова намекая на свое ожидание. Часы тянулись; потолку и всему дому смирного торговца угрожало разрушение от взрывов его нетерпенья, и когда она наконец пришла, юноша встретил ее со всем пылом юношеской страсти и громадного запаса сил, который принес с собою в город.

XI

Кончалось лето. Рассветы стали облачными, а в полдень всплывало солнце, наполняя воздух весенними миражами и задерживая на время падение листьев. Но ночью их срывали и разносили по улицам ветры, задавая дворникам работу. По этим желтым, осенним покрывалам город вступал в полосу своего расцвета, просыпаясь после летней спячки. Лихорадочно начинались культурно-просветительные, клубные и театральные сезоны, оживали ученые и полуученые общества, их члены возвращались из отпусков и домов отдыха; библиотеки и книжные магазины, замершие на время летней истомы ума, переполнялись покупателями и посетителями, открывались выставки и читались лекции. Начиналась настоящая жизнь города, расцвет его творчества, замкнутого в каменных стенах, но безграничного по творческому размаху.

Степан с увлечением бросился в этот водоворот. Собственно говоря, он мало потерял, пропустив первые лекции в институте. Только теперь съехались все профессора, и расписание превратилось в действительное, особенно в работе кружков и кабинетов. Он вошел в аудиторию на готовое, имея возможность сразу стать на рельсы и развить ту быстроту, которую предусматривают учебные планы. Записавшись на практические работы по статистике и историческому материализму, аккуратно посещая лекции, он так погрузился в науку, что мало сближался с товарищами. Они интересовали его только как компаньоны по работе. Через две-три недели он стал для них справочником институтских событий и перемен. На его тетради с записью лекций возник такой спрос, что их решено было размножить на машинке. Особенно в области теории вероятности и

высшей математики он сразу стал общепризнанным спецом. В окаменелых формулах теорем он схватывал их суть, которая становится верным путеводителем в недрах их внешней сложности.

Вечерами, торопливо сбегав домой пообедать, Степан сидел в статистическом кабинете, вычисляя бесконечные ряды урожая и смертности, чтоб определить коэффициент корреляции, и потом уходил в библиотеку, готовясь к докладу о греческом атомизме. Дома каждую свободную минуту отдавал на изучение английского и французского языков. Незнание языков было наибольшим пробелом в его образовании и заполнение его стало ударным лозунгом Степана. В нем проснулись упорство и усидчивость, которые только усиливались работой. Дни проходили полные, насыщенные содержанием, не оставляя никаких сомнений и колебаний. Юноша свободно разворачивал свои силы, горел ясно, ибо был таков: схватив весла на гонках, мог гнать лодку, не отдыхая, до тех пор, пока не выворачивал уключин. Те странные отношения, которые завязались между ним и хозяйкой, нисколько не мешали ему. Днем он как-то забывал о них, так как сама Тамара Васильевна своим поведением решительно определила грани их дневных отношений. Никаких намеков. Никаких вольностей. Только дела, только официально! И Степан тоже не собирался нарушать установленный ею порядок. В конце концов ему нравилась такая сдержанность хозяйки. Она словно боялась света, который разъедает тайну, как кислота, и их встречи сохраняли прелесть неожиданности. Это была своеобразная, смешная, но приятная романтика кухни, юноши и преступной матери, полусентиментальный домашний роман, освященный неизменной ночью и тиканьем дешевых часов на стене, роман с неожиданной завязкой, страстным содержанием

и скучным концом. Тем не менее иногда по какой-нибудь мелочи, по движению или слову он замечал в Тамаре Васильевне стыдливость и сдержанность, которая возбуждала в нем уважение и подрывала его первую мысль о ней, как о развратнице. Тогда испуг и беспокойство овладевали им, и эта связь, которую он так просто объяснял, начинала казаться ему непонятной. Он спрашивал, притворяясь наивным:

— Почему, отчего, из-за чего, по какой причине?

— Потому, что ты моя маленькая любовь,—говорила она.

А он не смел говорить ей «ты» и называл Мусинькой, как она сама и посоветовала.

Изредка за книгой и среди работы ему хотелось рассмеяться от удивления и приятного удовлетворения. Странные вещи бывают на свете! Появился он в семье торговца неизвестно откуда, приютился, втерся и вот до чего дошел, и все это случилось само собой, без малейшего усилия! Иногда Степан думал о Гнедом и Максиме, из которых с первым почти никогда не встречался, а со вторым как будто дружил, хотя виделся тоже не каждый день. Не догадываются ли они? Нет, конечно, нет. Ибо ничто не выдавало перемен во внутренней, замкнутой, мрачной жизни этого странного семейства. А он, несомненно, что-нибудь заметил бы, уловил бы какой-нибудь взгляд или намек. Совесть подсказывала ему, что все откроется, скоро откроется и будет скверно. От таких неприятных возможностей по спине Степана проходил неприятный холод. Но голоса предосторожности быстро глохли в водовороте его увлечения наукой, которое вообще не давало ему задумываться.

Не думал он и о том, как назвать отношения с хозяйкой. Любовь? Может быть. Смешно, но возможно. У кого

хватит смелости провозгласить: вот это любовь, а вот это уж нет! Ботинки могут быть стоптанными, рваными, искривленными, все-таки оставаясь ботинками. Почему же для любви каждый раз требовать новой обуви? Она ходит иногда в лаптях и ночных туфлях. Во всяком случае, тайна и запретность разжигали в юноше любопытство, которое целиком заменяет для молодого человека любовь, и в удовлетворении страсти у него возникало чувство нежности и благодарности. Под томящим впечатлением этого чувства юноша целовал ей руки—это были первые женские руки, добившиеся у него такой чести. Она вплелась в его жизнь невидимым, тайным, но мощным возбудителем, давая познать в себе женщину, которая не разменивается на мелкое кокетство и не старается казаться иною, чем она есть. По сравнению с нею все девушки, которых он знал, были жеманными куклами, которые, отдаваясь, считали это подвигом, самопожертвованием и невознаградимой услугой.

В ее уменьи любить не было ничего искусственного, хоть слово «любовь» было ее любимой шуткой. Но иногда среди ласк юноша чувствовал в ней что-то преданное и невыразимое, какой-то жар внутреннего огня, который ожигал ее на миг и пугал. В эти минуты он говорил себе, что не расстанется с ней никогда, что не сможет без нее жить, готов был предложить ей бросить семью и основать с ней семейный очаг на фундаменте стипендии. Но через миг она уже шутила, и он снова не чувствовал на себе никаких обязательств. Любил ее шутки, любил ласкательные, радостные названия, которые она ему давала и которые каждому приятно слышать, хоть они и глупы, любил душистые папиросы, которые она всегда приносила с собой, воруя их у сына, любил беззаботные и бесследные разговоры их тайных

свиданий. Мусинька никогда ни о чем серьезно не говорила, никогда не беспокоила его своей душой, и он должен был бы быть ей благодарен за эту льготу, ибо знать чужую душу чересчур обременительно для собственной души.

Прошел месяц беззаботного покоя, дни работы и ночи любви, которая углубляет и шлифует сознание. Начались скучные дожди и серые туманы, но вытянутая из хранилища солдатская шинель прекрасно спасала его от холода, а крепкие юфтевые сапоги были совершенно непромокаемы. Тело его в одежде чувствовало себя так хорошо, как и душа в этом теле. Угрызения совести утихли, и он мчался вперед, как пущенная из упругого лука стрела. От сознания этой устремленности благословенный порядок царил в его голове. Ядовитые себялюбивые или светолюбивые мечтания покинули его и этим упростили его жизнь. Степан понимал, что должен пройти немало перевалов, чтоб выковать в себе законченного человека. Опасная склонность к неполной индукции, когда юноша на основании первых двух десятков лет жизни на земле, лет смешных и наивных, пробует устанавливать мировые законы, беспрерывно разбивая лоб, сменилась мудрым желанием познакомиться с жизнью и собрать достаточное количество фактов. Он сделался серьезным, немного гордым.

В институте Степан шел первым. Наряду с успехами в науке, он все больше выдвигался в общественной жизни студенчества. После нескольких выступлений на собраниях Степана выбрали секретарем студенческого бюро союза Рабземлес и членом институтского бюро КУБУЧа. Он еле успевал выполнять за день все обязанности перед собой и общественностью.

На вечере в пользу несостоятельных студентов по-

становили кроме выступления приглашенных артистов организовать живую газету, и Степану пришло в голову предложить редколлегии свой рассказ «Бритва», который валялся у него в черновике. Получив согласие, юноша немного почистил и отшлифовал ее для массового бритья и выступил перед аудиторией.

Сначала он волновался, потом сразу успокоился и, чувствуя, как внимательно его слушают, окончательно уловил темп чтения и мерно, гладко довел его до конца без лишних подъемов и пауз. Получил столько же аплодисментов, сколько и приглашенный из оперы тенор; даже больше—кто-то бросил ему цветок, который не долетел до подмостков и грустно упал на пол, но он не счел нужным его поднять.

В общем, к своему успеху он отнесся очень безразлично, и когда один из участников живой газеты, студент последнего курса, Борис Задорожный, горячо похвалил его и начал расспрашивать, написал ли он еще что-нибудь, юноша мрачно ответил:

— Нет времени на эти глупости.

— Зря,—сказал Задорожный.—Что нас ждет, когда кончим? Загонят на завод, в контору—и конец. Обрастай мхом. А рассказы писать—хорошее дело!

Степан спорил. Рассказы—это пустое развлечение. Без них можно жить. И между ними возникла маленькая дискуссия о литературе, причем Степан был решительным врагом ее, а Борис—большим поклонником.

Спор с Задорожным не прошел бесследно. За неделю Степан написал еще два рассказа. Борис Задорожный искренне приветствовал его первые писательские шаги, стал его добрым приятелем, к которому он охотно обращался за советом и даже заходил домой. Судьба этого способного и веселого юноши была полна бедствий и неприятностей. Он имел неосторожность быть сыном

священника, который хоть и умер лет десять тому назад, но даже не смыл пятна с чести сына. Дважды его исключали из института за социальное происхождение, но он дважды восстанавливался, так как его собственное прошлое было действительно безупречным; на пятый год он перешел на третий курс и получил службу ночного сторожа в Комхозе, считая себя самым счастливым человеком в мире.

— А ну, послушай,—говорил Степан, развертывая папку бумаг.

Борис слушал и одобрял.

— Это я между прочим,—объяснял Степан.

Так написал он с полдюжины рассказов на повстанческие темы, написал легко и быстро, немного неряшливо, но с увлечением.

— Да чего ты маринуешь их?—кипятился Борис.— Гони в журнал.

— Э, ты ничего не понимаешь!

И Степан рассказал товарищу, как был написан первый рассказ, как он переделал свое имя и как великий критик охладил его горячность.

— Литература—это деликатная вещь,—прибавил он убежденно,—руку нужно иметь, а то и не подступай. Потому, я думаю, и писателей мало.

Борис не соглашался:

— Так что же, по-твоему, служба?

— Похоже.

— Ты глуп.

— Пусть.

Борис засмеялся.

— А как ты додумался—Стефан?

— Король был такой, что ли.

С этого дня Борис прозвал его Стефочкой.

Однажды вечерком, когда Степан сосредоточенно вы-

считывал, сколько рублей в индийской рупии, если известно, что фунтов стерлингов в ней столько-то, в кухню вошел Максим, чем-то сильно взволнованный.

— Я должен с вами поговорить,—сухо сказал он.

Голос у него дрожал, морщины на лбу нервно шевелились, и Степана охватило предчувствие чего-то отвратительного. Он тоскливо догадывался, о чем будет разговор.

— Вы ночной вор,—сказал Максим, став против него около стола.

— Что?

— Вы ночной вор,—повторил Максим, упираясь руками в стол.—Вы вор.

Степан поднялся, испуганный его тихим, сдавленным голосом.

— О чем это вы?

Но Максим внезапно покачнулся и, подняв руку, както торопливо, озабоченно ударил юношу прямо в лицо, попав не в щеку, а в рот. Удар по губам не был сильным, но глубоко оскорбительным и подействовал на Степана, как удар кнута. Его лицо покраснело, как рана, он весь вспыхнул, бросился вперед, опрокинул стол и повалил Максима на кровать.

Он колотил его кулаками, грудью, головой, обезумев от бешеной злобы. Потом оставил и выпрямился, моргая глазами, чтобы разогнать стоящие перед ним красные круги. Забросив назад взлохмаченные волосы и шатаясь, натянул шинель и фуражку и вышел из дому. Шел расстегнутый, разбрызгивая лужи, дрожа от гнева и обиды. Эта сволочь ударила его в лицо! Может, на дуэль вызвал бы? На саблях? На пистолетах? Вон какой рыцарь своей мамы нашелся!

С пьяным удовольствием припоминал он, как бил оскорбителя, как душил его, выворачивал, давил коле-

нями и жалел, что так быстро от него оторвался. Убить бы гадину! В сок растолочь! Ибо не только за обиду горел он ненавистью к Максиму, но и за расстроенный покой, материальное разрушение и потерю любовницы. И чем больше разбирался в случившемся, тем большая ненависть одолела его. Ненависть бессильная, безвыходная, гнетущая. Он сам превратился в кипящий гнев, и если бы кто-нибудь толкнул его сейчас, то, наверно, получил бы по шее.

Взбежав вмиг по знакомой дороге на Крещатик, Степан остановился и подумал о ночлеге. Собственно, выбирать было нечего, и Степан пошел к Борису на Львовскую улицу. Быстрая ходьба утомила и успокоила его.

Стучать пришлось долго, так как было уже поздно. Борис был на работе, караулил какие-то склады, но Степана пустили в комнату как обычного гостя. Отсутствие хозяина его обрадовало, и к утру он надеялся придумать причину своего визита. Найдя кусок хлеба, поужинал и сразу лег спать, проклиная Максима, разбившего ему жизнь.

Утром Степан пошел в институт и только вечером увиделся с Борисом, вынужденный снова к нему возвратиться, ибо не имел пристанища. Настроение у него было мрачным, целый день он ходил, как туча, но товарищу весело заявил, что к хозяину приехали родственники, и он должен был уступить на время свою кровать.

— Так ты совсем у меня оставайся,—сказал Борис.— Я редко ночую дома. Собачья жизнь, но лучше, нежели, совсем подыхать с голоду.

Но Степан благородно отказался, вместо того чтобы ухватиться за такое выгодное предложение. Ибо все время его не покидала тайная надежда, что все как-нибудь обойдется и он вернется в родное логово. Как? Не знал! Великое «авось» жило в нем, глубокая вера в

свою судьбу, которая до сих пор не была к нему очень суровой. Неужели Мусинька будет сама носить воду? Такое варварство не вмещалось в его голове. Или этот Максим—будь он трижды проклят—будет убирать коров? Но он должен был признать, что хозяйство Гнедых, процветавшее и до него, будет процветать и впредь. Мусинька поплачет и найдет себе более ловкого любовника. Эти мысли наводили на него глубокую тоску. Он решил ждать. Чего? Может, Мусинька и написала бы ему письмо, но не знала адреса. А ей писать он не отваживался, даже стыдился, потому что как ни верти, а с поля битвы отступил все-таки он, хоть и был победителем.

Два дня его грызла глухая тоска по Мусиньке, главным образом потому, что был с ней разлучен насильно. Он в конце концов терпеть не мог, когда что-либо делалось не по нем. Но еще через два дня примирился бы со своим положением и, верно, остался бы у Бориса, если бы не новая неприятность, которая снова разрушила его планы.

Как-то вечером Борис, собираясь на охрану магазина, обратил внимание на его невеселый вид.

— Ты заработался, Стефочка,—сказал он ему.—Даже паровой котел лопается от перегрева, а он ведь чугунный! Еще Маркс говорил, что рабочий человек должен отдыхать.

— Я и сам вижу,—сказал Степан,—зарвался я в работе.

— Самый лучший отдых—это женское общество или, по-нашему, вечеринки. Меня недавно водили, я и тебя поведу—только нужно полбутылки и что-нибудь съестное. Это совсем близко, возле Крытого Рынка. Там есть дом не дом, хлев не хлев, чорт знает что, одним словом, но зато девушек пять...

— Пять?—спросил Степан.

— Целых пять. Но одна—боже мой! Настоящая Беатриса! Такая беленькая, тихая, а тихая вода, говорят, берега рвет. Как ее? Наталка? Нет... Настуцька? Тоже нет. Только уговор—это моя.

— Да бери их всех,—угрюмо сказал Степан.—Есть у меня время для женщин!

— Зря. Ученые пишут, что это помогает обмену веществ.

Когда Борис ушел, Степан думал долго и горько. Что девушек стало пять вместо трех, понять было нетрудно. Он сам слышал от Надийки, что они собираются принять на зиму еще двух подруг, чтобы легче было с дровами. Понял он и то, что Борис собирается ухаживать за Надийкой. Его будет тянуть туда, если он ему будет рассказывать, что там делается, а там рассказывать про него, Степана. Но достаточно было Борису только напомнить о Надийке, как юношу охватила чуть ли не физическая тошнота. Что же будет, если она беспрерывно будет фигурировать в рассказах Бориса? Чувство самосохранения подсказывало ему, что надо уйти.

В этот вечер он чувствовал к девушке вражду, грустную вражду к утраченному, которое не может вернуться и издали приобретает притягательную силу. Неужто полюбит она Бориса? На миг им овладело желание остаться, остаться нарочно у Бориса, чтобы ходить за ним туда и отобрать Надийку. Натянуть нос этому хвастуну! Обрезать ему хвост, чтоб он не смел звать ее своею. Но душа его была чересчур утомлена, чтобы проникнуться порывом, иные, более важные заботы стояли перед ним, и, взявшись за книгу, он безразлично подумал:

«Пусть берет».

И решил перебраться в КУБУЧ, горько разочарованный от сознания, что город тесен и в нем нельзя разойтись с людьми.

XII

Это было первое утро, когда аккуратнейший студент института Степан Радченко не явился на лекции. Угрюмо шел он на Нижний Вал за вещами. Шел утром, потому что в это время Мусинька бывала дома одна. Хоть гнев против Максима в нем уже совершенно перегорел, а сам Гнедой вряд ли осмелился бы ему что-нибудь сказать, тем не менее юноше было бы неприятно с ними встретиться. Да и им, верно, не весело было бы с ним увидеться, а он не любил причинять людям неприятности.

Дверь была не заперта. Степан пошел в пустую кухню. На миг ему пришла мысль—тайком забрать свои вещи и исчезнуть отсюда навсегда. Но он отбросил ее, как позорную,—не вор ведь он в самом деле! Войдя в кухню, он почувствовал, как сжился со всей этой обстановкой. Каждая вещь была ему знакома. В углу ведро, в котором переносил столько воды, стол, за который исписал стопы бумаги, вот его книги и тетради на месте, как он их оставил. Ему показалось до боли невероятным, что он должен все это оставить. За что? Он чувствовал себя обиженным.

Но обстановка была лишь фоном, на котором лежали видимые только ему следы романа. Вещи напоминали ему о близости к женщине, которая дала ему такое большое и острое наслаждение, и он почувствовал, что если это чувство и не любовь, то все же оно не исчерпано, что его ждет еще глубина многих ночей, потеря которых может его разорить. Внезапный страх охватил его при мысли, что эта вынужденная разлука с ней

ввергнет его в отчаяние, от которого до сих пор его спасала тайная надежда вернуться к ней и снова овладеть ею. Дрожа от возбуждения он постучал в дверь, ведущую в комнату.

Вошла Мусинька. Юноша посмотрел ей в лицо, ища на нем признаков радости, счастья, вызванных его появлением. Но оно было спокойно, как всегда днем, только немного утомлено и бледно.

Тогда он, не здороваясь, сурово сказал:

— За вещами пришел.

Она улыбнулась, и эта улыбка завершила его раздражение.

— Не хочу вам мешать!—крикнул он.—Наверно, опротивел я вам, и вы сами послали Максима, чтобы избавиться от меня.

— Максим уехал,—ответила она тихо.

— Убежал?!

— Да. Он будет жить отдельно.

Ужас овладел Степаном.

— Он сказал: «Мама, обещай, что ты прогонишь этого жулика, тогда я останусь, и все будет, как раньше». Я сказала: «Он не жулик...»

Степан бросился к ней, схватил руку и горячо поцеловал:

— Нет, нет, Мусинька, я жулик!—говорил Степан.— Я скверный, меня нужно прогнать. Я люблю вас, Мусинька, простите меня!

Она вяло ответила:

— Простить? Тебя? За что?

Он целовал ее шею, уголки губ, глаза, лоб, припадая к знакомым местам, прижимая ее нежно и сладостно, и она, словно проснувшись, обвила его шею, отклонила ему голову и посмотрела в глаза долгим страстным взглядом.

Ночью она сказала ему:

— Я знала, что ты вернешься.

— Почему?

— Потом скажу.

— Я тоже был уверен, что вернусь. Шел забирать вещи, а где-то в душе знал, что будут с вами. Поцелуйте меня, я хороший.

— Ах, ты, любовь моя,—засмеялась она.

Степан умолк.

— О чем ты думаешь?

— О... той половине вашей квартиры.

— Раньше не думал?

— Очень мало, как-то мельком, между прочим. Боялся вас спрашивать. Мусинька, все так странно происходит. Выходит, я сам себя не знаю!

— И никогда не будешь знать.

— Почему? Сколько я выстрадал! Город закружил меня. Я утопал.

— А теперь около меня обсыхаешь.

Он услышал в этих словах столько боли и насмешливого упрека, что невольно отстранился, как-то вдруг, неожиданно поняв, как что-то неведомое до сих пор, скрытое и страшное, что Мусинька его жила и до того, как стала для него существовать, что годы, десятки исчезнувших лет неуклонно вели к их встрече и скрестили в этой кухне их пути. И сейчас яснее, чем когда-либо, почувствовал тихую, непреодолимую работу судьбы, как пристальный взгляд, который вдруг принуждает оглянуться, и обычные встречи существ, которые еще вчера друг друга не знали, а завтра станут друзьями, любовниками или врагами, поразили его своей таинственностью и ужасом.

Пугало его и то, что лежит она рядом, а он не знает, о чем она думает, и внезапно сжал ее руки.

— Вы не покинете меня?

— Ты никогда не позволишь, чтобы тебя покинули.

— Неужто потому я и вернулся?

— А почему, мой мальчик?

Он оперся на локоть и закурил. Ее слова были ему немного неприятны. В них слышалось недоступное ему знание жизни и какая-то грустная ирония.

Она молчала. Он медленно курил, лежа на спине.

— Невеселой была эта неделя,—сказала она.

— Для меня тоже,—ответил он.

— И для тебя? Да. Сколько тебе лет? Мне сорок два года,—сказала она не сразу,—я стара. Ты хочешь сказать, что это не много. Эх, миленький, через год я буду настоящей старушкой, ты не узнаешь меня! А когда-то, очень давно, я тоже была молода... Знаешь, что такое радость? Это—эфир. Он испаряется в один миг. А боль держится и держится без конца...

— Это правда,—сказал он,—я сам это замечал.

— Говорят, что жизнь—базар! Правильно. У каждого свой товар. Один зарабатывает на нем, другой докладывает. Почему? Никто не хочет умирать и должен продавать себе в убыток. Тот, который прогадал, называется дураком. А люди страшно непохожи друг на друга. В книгах пишут—вот человек, он то и се. И поговорки есть про людей, можно подумать, что мы чудесно знаем человека! Есть даже такая наука о душе—психология, я читала, не помню чью. Он доказывает, что человек бежит не потому, что пугается, а пугается, потому, что бежит. Но не все ли равно бегущему? Он тоже ничего не знает. Понимаешь?

— Вы, очевидно, имеете в виду идеалистическую психологию. Теперь психология строится совсем на других основах. Метод интроспекции давно уже заброшен.

Он положил окурок на стол, протянув для этого руку,

— Что же дальше? — спросил он. — Вы были молоды, а что же дальше?

Мало интересного. У меня было два брата и две сестры. Они умерли. Кто скажет, почему, именно я осталась жить? Странно, правда? Мы жили тут. Этот дом мой. Богатыми мы не были. Так себе. Отец мой мелкий купец. У отца был товарищ, они вместе росли, учились. Отец торговал железом, а товарищ его — рыбой. Товарищу повезло, он построил в Липках[1] дом, большой, пятиэтажный, стал оптовиком. Загреб миллионы. А отец торговал железом. И никому не завидовал. Когда умерло четверо детей, он как-то опустился. У него пропала жажда жить. Потом умерла мать. Я осталась одна. Отца я боялась — он был угрюм, не замечал меня. Молчит, бывало, день, неделю. Подруг у меня не было... Вообще к нам никто не приходил. В школе меня дразнили монашкой. Мне было семнадцать лет, когда однажды поздно вечером пришел товарищ отца с сыном...

— Это был ваш муж?

— Да... Это был Лука. У его отца на груди был орден — я помню. Я могу рассказать каждый день своей жизни, с тех пор как помню себя... Это страшно — так помнить всю свою жизнь. Так будто сам себя сторожишь... Отец сказал мне тогда: «Тамара, я скоро умру, выходи замуж». Я согласилась и поцеловала ему руку. Рука была холодной, он действительно умер через два месяца. Тогда я впервые увидела, как далеки друг другу люди. Отца хоронили с почестями, так как все его любили. Меня одели в черное и вели за катафалком под руки — с одной стороны Лука, с другой — тетка. Я как-то посмотрела на тротуар: там останавливались люди, снимали шапки, спрашивали, кого хоронят, и шли

[1] Часть Киева, где жила преимущественно буржуазия.

своей дорогой. Когда я увидела это, я перестала плакать. Мне стало стыдно плакать перед прохожими. Я представила себе как придут они домой и расскажут за обедом, что вот хоронили такого-то и его дочь очень плакала. После этого у меня навсегда высохли слезы. А плакать было чего.

Она остановилась и откинулась на подушки. Спокойствие ее слов все больше зачаровывало юношу, и чем сильнее волновал ее рассказ, тем меньше мог он ей сказать что-нибудь. Он осторожно достал папиросу и снова закурил.

— Не свети мне в лицо,—сказала она.—Я еще не рассказала тебе, почему Лука, который меня, быть может, где-нибудь только случайно видел, пришел к нам свататься. Я сама узнала об этом позже. Будь уверен, что обо всем неприятном тебе непременно расскажут. Рано или поздно, случайно или нарочно. А было вот что: Лука влюбился в одну девушку, тоже купеческую дочь, и дело дошло до обручения. Но там будущий тесть или теща—не знаю уж кто—как-то неосторожно выразился, что это большая честь для рода Гнедых,—породниться с их семьею. И старый Гнедой взял Луку и привел к нам. Лука ненавидел его, но покорился. Ты можешь догадаться, какая ожидала меня судьба... Словом, Лука говорил, что если я разбила ему жизнь, то должна хоть потешить его.

— Чего же вы не бросили его?—спросил Степан.

— О, он заботился об этом! Все двери были заперты, а окна на четвертом этаже все открыты. Как он хотел, чтобы я покончила с собою, но сам убить меня боялся. Я ждала, чтобы умер отец. Но после его смерти Лука ко мне переменился, перестал бить меня, совсем забыл обо мне. Я редко видела его. Конечно, мне рассказывали, где он, что он, с кем живет. А я только с

виду жила на земле. Знаешь, что такое мечта для того, кому больно? Это проклятие. Но как я мечтала! Чем тяжелей мне было, тем счастливей я была. Я знала чудесные миры. Я переселялась на ту звезду, которая вечером всходит,—там прекрасные сады, тихие ручьи, и никогда не проходит теплая осень. Потом у меня родился сын...

— Максим?

— Максим... Я хотела, чтобы его звали иначе.. чтобы его звали...

— Как чтобы звали?—спросил он.

— Ты удивишься... Чтобы звали Степаном!

— Почему?

— Тогда я не знала, а потом поняла. Я имела достаточно времени, чтобы изучить себя, чтобы раскрыть в себе каждую мысль. Видишь ли, я сама в конце концов стала себе удивляться. Я не любила себя так, как другие себя любят. Но сама себе была необычайно близкой. Понимаешь? Кто сам себя любит, тот раздвоен, а можно еще слиться с самим собою... Тогда любить себя невозможно, никак. Но тогда не боишься себя и своих мыслей... Так вот что. Было мне лет двенадцать, когда у нас служил работник. Как-то я уснула вечером над книжкой, и он перенес меня на кровать. Когда он нес меня, я проснулась, но притворялась, что сплю, чтобы он не поставил меня на ноги. Я закрыла глаза, мне было очень страшно и приятно. Потом мне ужасно хотелось попросить его, чтобы он носил меня, и это желание было таким сильным, что я удирала из дому от стыда. Всякими способами я добилась того, чтоб отец забрал его в магазин, и больше его не видела...

Степан чувствовал какую-то неуверенность. Неужели это она, его смеющаяся Мусинька, такая радостная и шутливая? И ему вдруг стало неприятно, что женщину,

которую, как казалось ему, он знает хорошо, имеет какие-то свои, не связанные с ним секреты.

Она продолжала:

— Потом революция уничтожила его миллионы. Лука за месяц поседел, и нас выселили из Липок. Тогда он заметил меня и Максима. Как-то ночью он пришел ко мне в комнату и спросил: «Тамара, ты ненавидишь меня?» Я ответила прямо: «Ты для меня не существуешь». Тогда он стал меня бояться. Ему страшно было на меня взглянуть. Он начал носить синие очки... А Максим вырос, стал юношей. Может, я сама виновата—я его безумно любила. Иногда мне казалось, что его должны украсть. Я сторожила его целые ночи. Когда он начал ходить в школу, я умирала от тоски и страха. Он рос тихий, нежный. Собирал бабочек, жуков, потом марки. Любил читать. Никогда у него не было товарищей,—никого, кроме меня. Вечером он рассказывал мне обо всем, что видел днем, что делалось в школе,—все, все. Я помогала ему учиться, пока могла. Когда он стал юношей, мной овладела страшная скорбь... Ведь он должен был от меня отойти. Я мучилась, плакала. Он это понимал. Как-то подошел ко мне и сказал: «Мама, я никогда вас не оставлю». «Это невозможно»,—сказала я. Он ответил: «Увидишь, разве я когда-нибудь обманывал тебя?» И действительно он меня не обманул.

Она замолчала, сама проникаясь тоской своих слов, словно впервые услышала их из чужих уст. Воплощаясь в слове, воспоминание приобретает незнаемую еще реальность, в соединении звуков оно становится поразительно острым, далеким от своего тихого существования в молчаливой мысли.

Он тоже молчал, молчал и курил, смотрел в оловянное небо за окном, слушал тиканье часов над головой, казавшееся в тишине торопливым. А мысли его на-

пряженно работали, воспринимая и усваивая то, что он услышал. Далекая перспектива ее прошлого, бесконечный темный коридор времени, в котором она там и сям зажгла словами дрожащие огни, поразил его вначале, ужаснул странной сложностью своих поворотов и изгибов, но как-то внезапно побледнел, погас в его глазах от улыбки, невольно вспыхнувшей у него на губах. В чем дело? Что удивительного в этой банальной истории о несчастливом браке, мещанской истории, которая повторяется повсюду, под низкими крышами предместий, где жизнь заключается в любви и уюте? Покорная купеческая дочь, муж изменник и тиран, осенние мечты, материнство и наконец увлечение красивым юношей, цеплянье за остатки жизни, болезненная потребность придать ей хоть какое-нибудь содержание перед старостью, когда вспыхивает последний, жалкий, безумный огонь в женской крови! Не ново и не редкостно. Но тем не менее он чувствовал в себе прилив силы от тайной мысли, что сумел войти в ее удушливую жизнь и подчинить себе. Он явился, и все переменилось,—это было для него важнее всего. И, обняв ее и вдруг овладевая ею, он шопотом спросил:

— Вы же меня, Мусинька, немного любите?

Нарушенная на неделю жизнь красивого и способного юноши прошла очередной порог и снова полилась ровным мощным потоком. И в институте, и дома он чувствовал себя хорошо. Он был перегружен академической и общественной работой, и работа не давала серьезно задумываться, особенно о неприятном. И Мусинька, такая деликатная женщина, не докучала ему досадными воспоминаниями. Все успокоилось в притихшем доме Гнедых, который, разлагаясь и умирая медленной смертью, которая может тянуться месяцы и годы, выбросил вдруг свежий побег возросшего в его

гное случайного семени. В этом ветхом мертвом гнезде рос и обрастал перьями кукушкин птенец, расправляя сильные крылья. И действительно, после того знаменательного события юноша почувствовал себя хозяином не только кухни, но и других комнат. Заглянув на миг в душу Мусиньки, он пустил туда корни, обосновался и укрепился там, как неизбежное следствие, свободно впитывая живительные соки, которые может дать перед увяданием женское тело. Он обвился вокруг нее, питая ею свой рост, и щеки ее горели лихорадочным румянцем от пламени, которое, сжигая ее, растило его молодость, как плод, который налившись должен упасть, оторваться от ветки.

Уже давно должна была наступить зима, как уверяли бюллетени Укрмет [1], но опоздала по независящим от науки причинам. Робкий снег, выпадающий утром, таял на мостовой жиденькой грязью, не опасной для юфтевых сапог Степана, но чувствительной для беспризорных. Беспризорные перебирались на зимние квартиры — в водосточные люки и сорные ямы. И когда однажды случилось чудо, и снег, скрепленный морозом, не поплыл струйками в канализацию, город пышно развернул свои белые артерии и гордо вознес свое тело. Покрытый снегом, он достигал апогея творчества, напрягался, чтобы весной сбросить венчальную фату и снова вступить в полосу увядания. Это было время, когда поздно гаснут окна, когда по хрустящим улицам несутся легкие сани, когда громче становится музыка пивных, увеличиваются обороты рулетки, когда шины автобусов обуваются в цепи, женщины — в очаровательные боты, а студенты сдают первые зачеты в институтах и жизни.

---

[1] Украинская метеорологическая станция.

XIII

Весну приносят в город не ласточки, а ломовики, которые с благословения Комхоза начинают ковырять на улицах слежавшийся снег, грузить его на сани и вывозить туда, где он может таять без вреда для благоустройства. Прежде чем появятся эти предтечи тепла, ни одна почка на деревьях бульваров не смеет набухнуть и распуститься. Это было бы дерзким нарушением местных законов и варварским покушением на основы цивилизации.

Пробуждение природы не прошло без влияния на душу Степана, которая напоминала собой светочувствительную пластинку. Ничто так не вскрывает искуственность города, как весна, которая и здесь расплавляет снег, но обнажает, вместо ожидаемой зелени, голую мостовую. Степана тянуло подышать запахом влажной земли, утонуть взором в зеленых просторах полей, в черных полосах пахоты. Вокруг он видел страшное бесправие природы, и деревья на каменных улицах и огороженных бульварах, запертые за решетками, как звери в зверинцах, грустно простирали к нему набухшие ветки. Что значила здесь смена холода на тепло, кроме смены одежды? Что напоминало о могучих испарениях степей и радости человека, чувствующего под плугом плодородную землю? Там весна—труба светозарного бога, лучезарная вестница счастья и работы, а здесь она—мелкий эпизод, конец хозяйственного квартала и начало движения пригородных поездов. Город разлегся на солнце, как громадный изнеженный кот, жмуря от света бесчисленные глаза, потягиваясь и позевывая от наслаждения. Он готовился к летнему отдыху.

Но воспоминания Степана о деревне, принесенные

теплом и свежими дождями, не могли покорить его. В них была грусть о детских годах и скорбь о минувшем, приобретающем в отдалении особую прелесть, и он надеялся, что эта тихая скорбь рассеется, как тающий туман. А может быть, это были остатки неясных и бесформенных желаний, которые растравляет в сердце весна, нашептывающая ласкающие слова о будущем, разжигающая жажду, обещающая какие-то перемены, какое-то продвижение, возбуждающая и тревожащая души разноцветными семенами, которые, вместо того, чтобын расцвесть розами, чаще произрастают в виде горькой полыни. Ибо жизнь—лотерея с цветными афишами, умопомрачительными плакатами, усовершенствованной рекламой, обещающей необычайные выигрыши, но деликатно умалчивающей о том, что на один выигравший билет приходится тысячи пустых тоненьких билетиков, и принимать участие в тираже можно только один раз.

В институте весна проявилась зачетной лихорадкой—болезнью, которой подвержены только студенты. Начинается она медленно, и ее первая стадия характеризуется повышенной усидчивостью, склонностью составлять конспекты и подчеркивать в книгах строчки; но первый симптом явного припадка начинается с объявления профессора в канцелярии, после чего болезнь переходит в горячечную стадию с повышенной температурой, бредом и бессонными ночами. Кризис происходит в зачетной комнате, где выявляются все осложнения и возможность рецидива. Сдавая на «хорошо» такие серьезные предметы, как политэкономия и экономгеография, Степан вспомнил об обязательности изучения украинского языка и решил сдать его между прочим. Лекции по украинскому языку были единственными, которые он не посещал, и готовиться по нему тоже не собирался, осно-

вательно полагая, что украинский язык есть тот самый, которым он прекрасно владеет, даже рассказы пишет, да и сам он—украинец, для которого этот язык существует и сдать который он имеет все права, тем более, что за время своей повстанческой карьеры, перед тем как поднять красный флаг, он держал некоторое время желтый флаг осенних степей и голубого неба. Но на собственном пороге тоже можно споткнуться, и Степан растерялся от первого же залпа тяжелой батареи глухих гласных и законов фонетики, а меткий обстрел из скорострельных существительных и глагольных пушек вынудил его постыдно отступить с пылким желанием какой бы то ни было ценой овладеть этой неожиданной крепостью.

Достав в библиотеке лучшие учебники, он забросил все остальное и в тот же вечер сел за работу. До сих пор он знал только русские грамматические термины и с каким-то странным волнением произносил тождественные им украинские, видя, что его язык тоже разложен на отделы и параграфы, подведен под законы и правила. Он углублялся в них с возрастающим увлечением и удовольствием; мелкие обыденные слова казались ему полнее, значительнее, когда он узнавал их составные части и тайну склонения. Он полюбил их и преисполнился к ним уважением, словно к важным лицам, которых считал до сих пор простыми.

Усвоив за месяц талмуд Олены Курыло [1] и заучив историю языка по Шахматову и Крымскому, предстал он пред ясные очи профессора. Профессор чрезвычайно удивился глубине его знаний.

— Вот как полезно прослушать курс моих лекций,— сказал он.—Но должен признаться, что редко имею удо-

[1] Одно из самых распространенных пособий по украинскому языку.

вольствие экзаменовать украинцев, которые знают свой язык.

— К сожалению, — заметил Степан, — большинство считает, что достаточно родиться украинцем.

— Да, да, — поспешно согласился профессор. — Но должен признаться, что я их безжалостно гоню. Очень рад, что вы этого избежали.

Они разговорились; профессор расспросил Степана об его прошлом и теперешнем положении. Последнее юноша обрисовал самыми темными красками, так как и в самом деле его положение начинало казаться ему жалким. Он так мрачно рассказал профессору об уходе за коровами, словно это было опасное укрощение африканских львов, а кухню изобразил такой запущенной и душной, как келья подвижника в чаще первобытного леса. Добряк профессор был растроган.

— Вы кажетесь мне способным, серьезным студентом, и я попробую вам помочь, — сказал он сердечно. — Должен признаться, что у меня не так уж много слушателей, аккуратно посещающих лекции и которых я ни разу не гонял с зачета.

После этого профессор написал ему записку к председателю лекторского бюро по украинизации, пообещав еще и лично поговорить с этим выдающимся человеком, и прибавил, пожимая Степану руку:

— Надеюсь, что из студента вы скоро превратитесь в лектора.

На другой день утром Степан явился в украинизационный ареопаг, где его вторично проэкзаменовали. После внимательного изучения грамматических достоинств юноши, его посвятили в рыцари украинизации первого разряда с оплатой академического часа в один рубль восемьдесят копеек.

Записывая его адрес и выдавая справку, элегантный секретарь лекторского бюро сказал ему:

— Надеюсь, товарищ, что через неделю-две вы получите назначение в учреждение,—добавил он, мило улыбаясь,—перемените свой френч на что-либо более подходящее. Горе украинцев в том, что они плохо одеваются.

Степан понимал правоту его слов. Действительно, его одежда была не только старой, но и неудобной в теплое время. Ее пора было бы сменить. Он не раз об этом думал при одевании и раздевании. И собственно, не недостаток денег останавливал его,—за эти семь месяцев он собрал из своей стипендии около ста рублей,—а неловкость перед самим собой. Смена одежды казалась юноше чрезвычайно смелым шагом, и для этого надо было иметь достаточное основание.

Горизонты расширялись перед ним. Иметь стипендию и лекции в учреждении, то есть повысить свой месячный бюджет чуть ли не до шести червонцев,— это было для него не шуткой, возбуждало юношу и укачивало, но весеннее беспокойство не оставляло его ни на минуту, превращаясь изо дня в день в сосущую тревогу, застлавшую тенью его красивые глаза. Все скучнее было ему возвращаться домой, и он сидел вечером в библиотеке до тех пор, пока это разрешалось, и все сильнее погружался в книги. Вспоминая утром, что ему нужно чистить навоз, подстилать коровам солому и поить их, он начал залеживаться, схватывался в последнюю минуту и иногда бил палкой смирных животных, которые всегда относились к нему благосклонно. Все тоскливей думал он о лете, когда настанет в институте перерыв, и он будет прикован к своей кухне. В деревню его не тянуло. Подол, особенно Нижний Вал, заброшенная улица, дыра, трущоба предместья, перестала ему

нравиться, и долгий путь к институту, которого он раньше совсем не замечал, начинал казаться ему утомительным.

Думая о будущем, он хотел стать ближе к городской культуре—посещать театры, кино, выставки и доклады, а оторванность от центра отнимала много дорогого времени на лишнюю ходьбу, мешая таким образом свободно приобщаться к благам цивилизации. И в душе Степана росло недовольство, отравлявшее ему академические успехи, обессиливавшее надежды и ослаблявшее энергию. Он вдруг вообразил, что переутомился, и втайне возлагал какую-то, если не большую часть своего истощения на счет Мусиньки, которая своей страстью совсем бесцельно, как начинало ему казаться, пожирала его силы, достойные высшего и более ценного применения.

Лекторское бюро его не подвело: через полторы недели он получил письменное предложение принять кружок в Жилсоюзе от лектора товарища Ланского. Ночью Степан поделился своей радостью с Мусинькой, но она отнеслась к ней иначе.

— Для чего тебе эти лекции?—сказала она.—Разве тебе чего-нибудь недостает?

— Но я ведь буду получать почти два рубля за сорок пять минут.

— Из-за этих лекций ты свои забросишь,—сказала она.—Эти два рубля будут тебе стоить института.

— Никогда,—ответил он и, почувствовав в ее словах какое-то недовольство, прибавил:—Что же мне, всю жизнь коровам хвосты крутить?

— Да,—вздохнула она,—твоя правда.

Он молчал, курил и вдруг промолвил:

— Я устал. Вечером у меня голова болела.

— Болит? Эта умненькая головка? Нет, мое малень-

кое счастье, это сердце твое скучает и тужит. Сколько ему еще биться! Но Мусинька не станет поперек твоего пути, когда она станет ненужной.

— Мусинька, вы оскорбляете меня!—сказал он.—Я вас никогда не забуду.

— А, ты уже словно прощаешься! Я вас не забуду-- это слова, которые говорят при прощаньи. У тебя душа--грифельная доска: достаточно пальцем провести, чтобы стереть написанное.

Он предпочел бы жалобы, упреки, чем теплую горечь ее слов, волновавших его своей правдивостью. И желая доказать ей и себе невозможность разлуки, он обнял ее в порыве принужденной страсти.

На другой день в три с половиной он должен был уже быть в Жилсоюзе. До одиннадцати он просматривал пособия и составлял конспект вступительного слова, так как хотел начать свой курс не без некоторой помпы, понимая, как много значит в каждом деле первое впечатление. Понимал он и то, что явиться в старом френче перед аудиторией, которую он должен очаровать, это все равно, что играть на расстроенном рояле. Надо преобразить свою наружность во имя успеха украинизации.

Вынув свои сбережения, он пошел к магазину, который полгода тому назад остановил его блестящим шиком своих витрин, заставив столько передумать. Он влетел на крыльях червонцев, порхал и кружил с быстротой ласточки и через три четверти часа вылетел оттуда с изрядным пакетом, где было серое демисезонное пальто невысокого качества, такой же серый костюм, пара сорочек с приставными воротничками, галстук из кавказского шелка, запонки с зеленой эмалью и три цветных платочка с клетчатыми краями. Купив еще серое кепи, остроносые хромовые ботинки и ка-

лоши к ним, он на остаток купил себе хороших папирос и поехал домой на Подол.

Мусинька, ведшая грустный ménage à trois, варила обед на три персоны и очень удивилась, увидев Степана с кучей пакетов. Он таинственно попросил позволения побыть полчаса в ее комнате, где было зеркало. Там он завершил свое превращение, легко приспособив себя к требованиям новой одежды, так как его наблюдательный глаз не раз уже замечал на других, где что должно быть, и только галстук никак не желал завязываться, пока он не догадался, как это делается. Увидя себя всего в зеркале, он замер от радостного волнения, словно бы впервые себя увидел и узнал. Он долго любовался своим открытым высоким лбом, говорящем об недюжинном уме, и медленно поднял к волосам руку, чтобы погладить их, чтобы поласкать самого себя и этим проявить свою самовлюбленность.

Бодрым, новым шагом вышел он в кухню и стал перед Мусинькой, которая не могла сдержать радостного возгласа, увидев эту вылупившуюся из куколки бабочку. Она обнимала его, целовала, забывая в своем увлечении, что имеет на это меньшее право, чем когда бы то ни было. Потом отступила на шаг и, внимательно осмотрев его, убедилась в верности первого впечатления—молодой человек был чертовски хорош, статен и неотразим.

— У тебя глаза смеются!—крикнула она.

Да, они смеялись над нею. Он иронически смотрел на Мусиньку и находил ее опустившейся и неряшливой. Никогда еще так неприятно не бросалась ему в глаза щуплость ее щек, покрытых мелкими морщинами, бескровность губ и груди, которая заметно расплывалась. Радостный девичий смех на стареющем лице казался

гримасой, и он не мог побороть в себе дерзкую мысль, что если она была достойна первокурсника, то перворазрядному лектору она не под стать.

В назначенный час он встретился в канцелярии Жилсоюза со своим предшественником, товарищем Ланским, и, внимательно на него посмотрев, удивленно спросил:

— А разве вы не поэт Выгорский?

— Да, Выгорский,—недовольно буркнул тот.—Но все же я Ланский с деда и прадеда.

Потом поговорили о деле: выяснилось, что поэт оставил свою группу в заброшенном виде. Он не мог точно даже определить, на чем именно остановились его слушатели.

— Вообще я не верю, чтоб наука могла быть полезной,—закончил он,—особенно в моем изложении.

— Ладно. Посмотрим,—сказал Степан.—Но скажите мне, если это не секрет, зачем вы пишите под псевдонимом? Не понимаю!

— Это совсем не секрет,—ответил поэт.—Видите, вначале я подписывал стихи собственной фамилией, и их никто не хотел печатать, потом придумал псевдоним, и они пошли.

— Неужели это бывает?

— Бывает. Кроме того, если хотите, была и другая причина, внутреннего порядка. Слишком бо́льшая ответственность—подписываться собственным именем. Это словно обязывает вас жить и думать так, как пишешь.

— Разве это невозможно?

— Возможно, но скучно.

Степан предложил ему папироску.

— Нет, я не курю,—сказал поэт.—Пиво пью, это правда.

Новый костюм придавал юноше необычайную, для него самого непонятную смелость.

— Товарищ,—сказал он,—а я тоже пишу.

— Неужто?—тоскливо спросил поэт.—Что же вы пишете?

Степан весело рассказал ему не только о своих рассказах, но и о приключении у критика, казавшемся ему теперь приятной шуткой.

— А, знаю его,—сказал поэт.—Маленькая оса, которая силится больно укусить. Если хотите, дайте мне ваши рассказы, обещаю быть внимательным. Только принесите их сегодня вечером—Михайловский переулок, 12 квартира 24. Я завтра еду и заберу их.

— Едете? Куда?

— Маршрут еще не выработан... У меня триста рублей в кармане. Постараюсь заехать подальше и надолго. Этот глупый город мне опротивел.

— Опротивел?!

— А вам еще нет? Подождите, он себя покажет. А наш особенно. Знаете, что такое наш город? Историческая падаль. Гниет веками. Так и хочется его проветрить.

Но звонок, возвестивший конец работы, прервал их беседу. Они вошли в большую комнату, где после работы происходили лекции. Служащие сидели у сдвинутых столов против небольшого куска линолеума, служившего классной доской. Поэт познакомил его со слушателями. Степан стал у стола и с увлечением прочел лекцию о пользе украинского языка вообще и в частности.

XIV

Только студент первого курса способен почувствовать радость слова «максимум», которое является для него чем-то вроде острова мечты. Во всяком случае, Степан Радченко был единственным среди своих коллег, кото-

рый сдал максимум, то есть сдал зачеты по всем прослушанным за год предметам. Этот успех стоил ему колоссальной затраты энергии, если учесть, что он еще три раза в неделю читал лекции украинского языка и должен был к ним изрядно готовиться, так как его теоретические знания не вполне соответствовали практическим потребностям учреждения, где он призван был просвещать утомленных служащих, хотевших есть, а не склонять и, вероятно, весьма мало проникнутых сознанием высоких обязанностей перед украинской нацией.

Лекционные дни были тяжелы для Степана еще тем, что для лекций он должен был специально переодеваться. Боясь потерять стипендию, он приходил в институт в своем старом френче. Это было для него страшно обременительно. Выходя из дому то убогим студентом, то элегантным лектором, Степан менял не только одежду, но и выражение лица, жесты, походку. Он был един, но в двух лицах, каждое из которых имело свои особые функции и задачи. Человек не мог бы придумать многоликих богов, если бы сам не был разнообразен, представляя собой странное соединение поразительных противоположностей, требовал для каждой из них воплощения, и стремление к созданию одного великого бога с маленьким чортом знаменует уже нормализацию человеческого существа, то есть усыхание его воображения. Человек не разлагается на так называемое добро и зло, на плюс и минус, как бы удобно это ни было для общественного употребления.

Очутившись в состоянии неопределенного равновесия между рыжим френчем и серым пиджаком, Степан не страдал от двойственности своего существования. Ибо за зиму он убедился, что на мир и самого себя нужно смотреть снисходительней, чем ему казалось раньше, так как в жизни, как и в гололедицу, можно упасть

и других свалить, совершенно случайно и неожиданно для себя и для ближнего.

Вся эта беготня и напряженная работа, может быть, и истощили бы его, если бы он окончательно не решил переменить квартиру. Это решение изменило его отношение к коровам и Мусиньке. Зная, что вскоре освободится от них навсегда, он начал проявлять к ним ласку хозяина и тем временем расспрашивал товарищей о комнате и осматривал некоторые, но все они были связаны либо с ремонтом, либо с отступными, а он денег не хотел тратить, прекрасно понимая, что у него все равно нет возможности нанять хорошее помещение.

В конце июня институт окончательно замер. Последняя экзаменационная сессия окончилась, коридоры опустели, и только изредка заходили студенты за отпускными свидетельствами. Но Степан еще часто посещал его, занятый общественными делами. В маленькой комнате КУБУЧа и застал его как-то Борис Задорожный.

— А, вот куда ты забрался!—воскликнул Борис.— Отчего ты пропал так внезапно?

— Дела,—ответил юноша, показывая на груду бумаг.

— Дела делами, а товарищей забывать не следует... Помнишь у Шевченко: кто товарищей забывает, того бог карает... Ну, хорошо, что нашел тебя.

— Ты меня искал?

— Несомненно. Видишь ли, я окончил институт...

— Мне еще два года,—вздохнул Степан.—Говорят, что еще один накинули.

— Я пять лет страдал, и то ничего! Но вот в чем дело—я оставляю свою комнату и ищу порядочного человека...

— Мне комната нужна до зарезу!

— И ты еще удивляешься, что я искал тебя? Только

не думай, что я на стаж еду: я по научной части пошел, при кафедре остаюсь. А комнату себе нашел большую, солнечную...

— Везет же тебе!

— Да, должен же я получить награду за страдания! Но ты, Стефочка, не знаешь самого главного—я женюсь.

— На той самой?

— На той самой блондинке... Ох, не могу я про это спокойно говорить! Сам понимаешь—любовь...

Степан радостно обнял его, чувствуя странное облегчение, словно у него с плеч свалилась гора, которую он все время нес на плечах.

«Вот, если бы еще и Мусиньку замуж выдать»,—подумал он.

Вечером они оформили дело с комнатой, и Степан сказал товарищу:

— У моих хозяев мне было неспокойно, все время гости, шум, прямо невыносимо. Ты очень мне помог. Спасибо, Борис.

Тот горячо пожал ему руку.

— Это такая мелочь, не благодари,—взволнованно ответил он, оставив свой шутливый тон.—Мне теперь доставляет радость сделать другим что-нибудь приятное. Я даю копейку нищему, и мне хорошо...

— Что-то ты сентиментальничаешь,—заметил юноша.

— Может быть. Влюблен ведь в корень! Ты не смейся—любовь есть. Начинаю, брат, верить в вечную любовь, ей-богу!

Борис дал ему свой новый адрес и просил зайти недели через две, когда он устроится и отпразднует свадьбу.

«Ну, это опасно»,—подумал юноша, а вслух прибавил:

— Я завтра же перебираюсь.

На прощанье они поцеловались.

Степан думал о Борисе и не мог допустить, что здесь может быть речь об обоюдном чувстве. Он представил себе Надийку, ее глаза, которые когда-то ему смеялись, и как-то убедился в том, что любить она может только его—Степана Радченко—и никого больше. Только он имеет на нее какие-то неведомые никому права и на его призыв она должна притти немедленно. Юноша так себя чувствовал, словно обладал верховной властью над счастьем товарища и позволял ему этим счастьем пользоваться.

Потом ему стало жаль Бориса. Счастливые напоминают больных и нуждаются в осторожном обращении. Счастье в конце концов—болезнь душевной близорукости. Возможно оно только в условиях неполного учета обстоятельств и неполного знания вещей. Острое зрение—точно такое же горе, как и слепота, и самые несчастные люди—астрономы, которые и на ясном солнце видят досадные пятна.

Отчасти взволнованный близкой встречей со счастливым человеком, а еще больше неизбежным прощанием с Мусинькой, юноша был печален и не мог вполне ощутить радость от перемены квартиры, начала независимого продвижения в прекрасный мир. Хоть он и повторял слова Мусиньки, которая обещала не задерживать его, когда станет ненужной, но все же был весьма неуверен в том, признает ли она себя ненужной именно тогда, когда он этого захочет.

Он вздыхал и томился до ночи, злился на несправедливость возможных неприятностей за все услуги, которые он оказал семейству Гнедых.

Действительно, когда он как бы шутя объявил новость, она разразилась над Тамарой Васильевной громо-

вым ударом. На миг она как-то притихла, и юноша испугался, не упала бы она в обморок. Вот была бы забота!

Но вот она зашептала так тихо, что он еле разобрал ее слова:

— Ты уйдешь... Я согласна... Я знала... Перед тобой еще все. Останься только до осени. Осенью ты уйдешь... Будут опадать листья. Будут тихие вечера... Тогда ты уйдешь... Пусть это будет маленькая жертва... Перед тобой ведь все... Жизнь, счастье, молодость. Перед тобой все... Я прошу только крошку. Неужто это так трудно? Или ты не хочешь убирать за коровами? Ну, возьмем работника... Переходи в комнаты... Что ты хочешь... Ну, не до осени... на один месяц! На неделю! На один день, только не сейчас, не сейчас!

Он выслушал ее и сказал, придавая своему голосу жалость и тоску, силясь высказать глубокое сочувствие ее горю:

— Дело так с комнатой подвернулось... Мусинька, я же буду приходить к вам...

Она вдруг бросила его руку, протянувшуюся обнять ее.

— Ты к тому же и лгун! — промолвила она громко. — Ты хочешь меня обмануть? Я подобрала его на улице, как подкидыша, а он мне милостыню подает!

Хотя его положение было весьма шатким, но эти слова он принял как страшное оскорбление. Он — подкидыш? Сдал максимум, перешел на второй курс института, имеет общественную нагрузку, пишет рассказы, которыми заинтересовался известный поэт, — вдруг подкидыш! Да и не пора ли ему перестать возиться с этой бабой? Но не успел он подобрать ответа, достойного своего оскорбленного самолюбия, как Тамара Васильевна погладила ему голову.

— Не сердись, Степанка,—сказала она так покорно, что он почувствовал себя удовлетворенным.—Больно мне... Но это все глупости. Завтра уйдешь. Завтра, через неделю, две—все равно, это нужно пережить! Ох, миленький, ты даже не понимаешь, каково мне! Пойдешь себе посвистывая, и хорошо! Я тоже не буду плакать. Плачет тот, кто надеется на сочувствие. А я одинока. Максим ушел. И никогда не вернется.

Она тихо засмеялась, потягиваясь.

— Помнишь, я рассказывала тебе про себя?

— А что?

Он рад был слушать еще раз о всей ее жизни с начала, лишь бы она не напоминала о завтрашней разлуке, хотя в данный момент ее рассказы заранее казались ему мало интересными.

— Тогда не рассказала тебе главного... Я никого не любила.

Он не понял сразу, в чем дело.

— Тебя я полюбила первого,—говорила она.—Раньше я не смела... из-за сына. Как я ненавидела его иногда! Ты ведь не знаешь, какой я была красивой... Одежда жгла мое тело, я спала без сорочки—она жалила меня. Это было страшно давно. И вот пришел ты...—Она тихо поцеловала его в лоб.—Я не верила в бога... то есть когда-то не верила. А когда увидела тебя, снова стала молиться. Я пришла к тебе, как лунатик. Ты оттолкнул меня—я ушла. Позвал—я пришла. Воля моя сломалась.—Она сжала ему руки.—Завтра ты пойдешь и будешь итти долго-долго... Будешь проходить мимо многих людей. Мне тоже остаются долгие дни, только я уже никого не встречу. Много пустых дней. Буду срывать их, как листочки с календаря, и с другой стороны их ничего не будет написано. А потом придет смерть. Это страшно. Скажи что-нибудь!

Он вздрогнул. Было в ее словах что-то невыразимо тяжелое и безнадежное. Они снова стали еле слышным шопотом, который уносил его в безмерную даль, они падали ему на душу каплями теплого масла, смягчали в ней все отвердения, разглаживали все морщины и складки, пробуждали спокойную, радостную чуткость.

— Что ж, Мусинька,—сказал он, задумчиво.—Говорите вы, я должен молчать. Ничего я не знаю. Не знаю, что будет со мной. Но одно я понял—живем мы не так, как хотим, и... должны делать другим больно. Это я понял. Иногда бывает хорошо, как сейчас. Уютно, тихо. То, что вы для меня сделали, никто уж не сделает. Мусинька, вы знаете, я мало думал о вас, когда вы были возле меня, но всегда буду вспоминать, когда вас не будет со мной.

Она благодарно поцеловала его, но отодвинулась, когда он ободрившись хотел ответить ей не одним только поцелуем.

— Не нужно обкрадывать самих себя, миленький! Она обняла его и начала убаюкивать, напевая что-то неслышное, усыпляя тихими прикосновениями губ к его глазам и лбу, и юноша незаметно уснул, обессиленный событиями и теплотой собственного добродушия.

Утром он проснулся поздно и долго лежал. Потом умылся, постучал в двери, ведущие в комнаты, и, не дождавшись ответа, тихо вошел. Там не было никого. Так, словно в этих комнатах никто никогда и не жил. Он постоял в Мусинькиной комнате, которая напоминала девичью светлицу своим белым одеялом и узорными занавесками на окнах, и вернулся в кухню, полный далеких воспоминаний. Выпив молоко, оставленное для него, он в последний раз выполнил свои обязанности перед коровами и наносил воды. Теперь он был свободен и начал собирать вещи.

Немного подумав, он растопил плиту. Пока разгорались дрова, переоделся в свой серый костюм и бросил в огонь френч, старые брюки и мешки, привезенные из села, а сапоги выбросил в сорный ящик. Теперь у него остались только тетради, книги и завернутое в одеяло белье.

Степан связал свое имущество в два аккуратных пакета, запер двери, положил ключ под крыльцо и пошел с пакетами в руках, унося в душе печаль, горечь первого познания жизни и беспокойные надежды.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В девять с половиной Степан Радченко возвращался с утреннего купанья, а уходил на реку в семь. Два часа лежал он на песке под мягкими солнечными лучами, которые постепенно превратили его тело в темный атлас. Таково было предписание неуклонного, хоть и не писаного расписания, выработанного на другой же день после переселения на другую квартиру. Им обозначил он начало новой жизни и строго придерживался его.

Впервые избавившись от бедности, юноша был доволен своей жизнью, чувствуя себя молодым деревцом, которое может приняться на всякой почве. По крестьянскому обычаю он скопил за лето немного денег, а сам жил просто, выпивал утром два стакана молока, обедал и пил вечерний чай в Нарпите. В комнате не держал и куска хлеба, боясь развести мышей и тараканов, и инстинктивно догадываясь, что держать пищу не следует в комнате, где работаешь и спишь.

Единственное, что юноша себе позволял,—это курить настоящий хороший табак, не жалея на него денег, так как если приятеля неприятно угощать плохими папиросами, то самого себя и подавно. Начатая летом серьезная работа заслонила собою заманчивые афиши о мировых фильмах, знаменитых певцах и артистах. Он с удовольствием осудил себя на одиночество в этих стенах, где единственным украшением была забытая

бывшими владельцами чахлая пальма, переходившая во владение каждого нового квартиранта, печально напоминая о мимолетности всего на свете. Под ее поблекшими листьями он систематически вел упорную работу над собственной личностью.

Юноша заметил нечто, показавшееся ему странным и даже страшным, так как он не понимал настоящих и естественных причин его. Блестящий год работы в институте, вместо того чтобы дать ему новые знания, казалось, уничтожил даже те, с какими он пришел из села. Он вдруг почувствовал, что мозг его одет в ничтожные отрепья, и это чувство взволновало его, унижая его честь. Больше всего беспокоили его пробелы в той области, которая институтской учобы не касалась вовсе и была его личным делом. Литература! Она стала ему близкой и дорогой. Почему он не пробовал анализировать, оправдывая свое увлечение тем уважительным основанием, что знание литературы есть первый признак культурности человека. От обильного чтения он сохранил в памяти много имен, названий, фабул, но все это было похоже на запущенную библиотеку, в которой книги даже не расставлены по полкам. И он принялся приводить их в порядок, как некогда в сельской библиотеке.

Утром от десяти до трех читал, потом до пяти—лекции в учреждениях, обмен книг в библиотеке, обед, отдых; затем два часа языки: английский и французский через день, и до десяти украинская литература. После этого он выходил немного погулять на улицу или на бульвар поужинать и с одиннадцати спал до семи. Таков был распорядок, который он выполнял, как верховный закон, написанный на небесных скрижалях. Иногда его «я» восставало против подобной жизни, хорошо зная, что изменить раз значит изменить навсегда. Но

зато, погуляв вечером, проделав упражнения по системе доктора Анохина и укладываясь спать, он чувствовал необычайную стройность мыслей и высшую радость, о которой учил Эпикур.

За два месяца он проработал столько материала, сколько может проработать способный юноша, который умеет все свои силы бросить на штурм намеченной крепости. Утомления он почти не чувствовал, так как по утрам освежался водой и солнцем, а вечером упражнял мускулы ритмической гимнастикой. Но через несколько недель соблюдения такого режима он почувствовал потребность хоть немного отдохнуть после работы над языками и, обсудив это желание на специальном совещании, дав самому себе высказаться «за» и «против», постановил: позволить Степану Радченко лежать десять минут после языков. И минуты эти стали самым радостным временем его дня. Они выпадали между семью и восемью часами, когда вечер протягивает в окна призрачные теплые руки, которые опускаются с далеких высот, и из глубины земли струится в комнату спокойствие просторов, неслышно сливая душу со всей вселенной. Погрузив глаза в угол комнаты, юноша смотрел, как растворяются во мраке вещи, и стены пропадают в густом синеватом сиянии. Десять минут такой летаргии, и вдруг он вскакивает, зажигает электричество, сурово разбивая прекрасные чары. Раскрываются книги. Тишина. Поспешные заметки карандашом.

Поддерживаемый насыщенностью своего ума, он не чувствовал потребности в общении с людьми—теми далекими фигурками, с которыми ему приходилось иногда встречаться. Их жизнь казалась ему теперь до смешного простой и недостойной уважения. Он дичал в своей комнате, хоть и подымался с каждым днем по лестнице культуры.

В одиннадцать часов этого дня, утро которого не предвещало ничего особенного, стук в двери нарушил его углубленность. Чорт возьми! Кто смеет беспокоить его в священный час? Но это было только письмо, которое своим появлением удивило его еще больше, нежели непрошенный стук. От кого? Пожав плечами, юноша разорвал конверт. Ах, это поэт Выгорский, который увез его рассказы! Он затрепетал, словно в этот миг окончательно разрешилась судьба его жизни и цель его бешеной работы. Какой-то неожиданный огонь, внезапное волнение вынудило его сесть и торопливо пробежать письмо в поисках нужных строчек. Вот, вот они: «...это прекрасные рассказы...» И письмо сразу стало для него неинтересным, как будто он впитал уже в себя все его содержание.

Степан бросил письмо на кровать и зашагал по комнате, волнуясь, как человек, проснувшийся в новой обстановке. «Это прекрасные рассказы»,—этими словами пела его душа, и он понимал теперь, что, забыв о своих рассказах, он только ими жил и ждал этого неожиданного письма. Пережив жгучий приступ радости, он потянулся снова и взял письмо. Еще раз невольно остановился на прекрасной строчке в середине, которая, казалось, выделялась из всего письма, словно выложенная самоцветной мозаикой. Юноша закурил и, беззаботно развалившись на стуле, начал читать:

«Я остановился на время в Симеизе и вспомнил, что должен вам написать. Угадайте, что напомнило мне о вас? Какая-то парочка проходила, и «он» жаловался на украинизацию. Бедняга привез на курорт боль обиженного русского самолюбия. И вот я на почте, и вы должны благодарить этого господинчика, так как по доброй воле я писем не пишу,—это самая большая глупость, которую выдумали люди. Увидев вывеску

«Почта и телеграф», я думаю, что это страшный враг человечества. Вы еще не знаете, как приятно убежать куда-нибудь далеко от знакомых в места, где ты всем безразличен, и стать тем, чем хочешь быть, и чувствовать, что никто у тебя не требует отчета. Каково в такую минуту увидеть учреждение нарсвязи! Это настоящее варварство. Тем не менее, скажу по совести,—это первое письмо, а я исходил уже Кавказ и теперь странствую пешком по южному берегу Крыма, одинокий, но бодрый. Мой план—обойти весь западный берег. Я не устал, да и чересчур много еще работы. И здесь в глуши пишу не про море и лавры, а про город. А ваши рассказы все сельские. Это прекрасные рассказы. Их недостатки свидетельствуют только о перспективах. Я прочел их в поезде, и из Екатеринослава разослал по журналам. Хотелось бы, чтобы они оба появились одновременно. Это было бы неприятным сюрпризом для нашей критики, которая специализировалась на ариях о литературном кризисе. Не умею кончать писем. Да и писать тоже. Выгорский».

Степан встал и задумался. Потом поскорее оправил рубашку, выскочил на улицу и пошел, умерив шаг, чтобы не обращать на себя внимания. По дороге зашел в несколько книжных магазинов. Но журналов там не было. Лишь на Владимирской ему посчастливилось. Но какой именно нужно купить? Все, вышедшие за последний месяц! Юноша жадно пересматривал оглавления и дрожащей рукой отложил два из них. Собственное имя, напечатанное рядом с другими, так ошеломило его, что он сразу не мог сообразить, что делать. Потом, овладев собою, купил их и вышел из книжного магазина.

Теперь куда? Он сам не мог понять, чего еще ему осталось желать. Острая вспышка волнения улеглась в нем сладостным покоем, тихим пьянящим туманом.

Ему никуда не хотелось итти. Он остановился еще у витрины, но быстро пошел прочь, гонимый страстным желанием сесть где-нибудь в одиночестве и читать, читать свои рассказы без конца.

На бульваре, где когда-то играл он детскими мячами, Степан забился в тень и развернул свои произведения, внимательно рассмотрел бумагу и очертания букв, затем стал читать, как малограмотный первую после азбуки книжку. Не узнав вначале своих строчек в их новом внешнем виде, он взволновался, и это чувство углубилось еще больше, когда освоился с ними. Читал, дрожа от восхищения и страха, и то, что было им создано, теперь в нем создавало новое содержание, давая познать счастье полного единства, стирая всякое раздвоение души на внутреннее и внешнее.

Читал он долго, а еще дольше сидел, сплетая смутные мечты, связанные с несомненным фактом, что он стал писателем, а если так—сможет написать еще много, много хорошего.

Его мечты прояснились, превращаясь в мысли. Он понял, что в глубине души давно был уверен, что этот момент когда-нибудь настанет, и эта уверенность незримо правила его жизнью. Еще не став на первую писательскую ступень, не видев своих произведений в печати, он тем не менее уже принялся изучать литературу, чтобы на этой ступени укрепиться. Его удивляли таинственные процессы души, которые знают больше и видят дальше и больше ума, которые дают лишь санкции на уже утвержденные постановления, как английский король, который царствует, но не правит.

После обеда Степан Радченко решил, что отныне начинается новая эра его жизни, а потому надо начать дневник. Написав в тетради несколько строчек, он вспомнил, что надо датировать запись, посмотрел на

календарь и от удивления забыл о написанном — сегодня как раз год с тех пор, как он приехал в город! Какой же куцый этот год! Как он страшно быстро пролетел! И молодой человек решил считать праздником этот дважды знаменательный день и отметить его развлечением. Ботинки и штаны, уже смятые на коленях, были еще раз вычищены. В шесть часов он переменил воротничок, надел пиджак и без фуражки вышел из комнаты.

Улица обняла его тихим предвечерним шелестом, и его ноги, налитые пружинистой мощностью, мерили ее ровно, словно работая на новых стальных пружинах. Степан шел не спеша, гордо подняв голову в сознании своего величия, чувствуя блеск своих глаз и спокойную размеренность движений. Самый процесс этой гордой ходьбы, чувство безупречной работы каждого колесика сложной машины его тела доставляло ему такое пьянящее удовольствие, что он не думал даже о том, куда именно ведут его ноги.

Сойдя на Крещатик, купил он газету, зашел в открытое кафе, сел за столик, заказал себе кофе с печеньем и, с непонятной и неожиданной изысканностью положив ногу на ногу, лениво мешал пахучий напиток, искоса поглядывая на сотни лиц, которые проплывали мимо решетки, поглощая в себя всю пестроту и размах уличного движения. Потом развернул газету в отделе объявлений.

— Еще печенья! — бросил он проходившей мимо официантке.

Объявление о концерте симфонического оркестра в оперном театре заинтересовало его, потому что таких концертов он никогда не слышал. Он вышел из кафе и сел в автобус. Купив в кассе дорогой, очень дорогой билет, Степан начал прохаживаться по дугообразному

фойэ, радуясь беспрерывной смене лиц, фигур и одежд. Странно действовала на него эта толпа. Подвижностью и гомоном она возбуждала и без того напряженные нервы, словно он впервые увидел столько людей и чувствовал родство с ними. Он испытывал хмельную радость общения с себе подобными. Ему хотелось смеяться, когда смеялись другие. Незнакомые лица были ему в этот миг ближе всех знакомых и близких. Блуждая взглядом в чаще толпы, он видел в ней только женщину. Жадно напрягая взгляд, проникал сквозь прозрачность одежд, мысленно оголяя руки и плечи, ощущая сладостную упругость ног в тонких чулках, исчезающих под волнистыми изгибами платья. Толпа излучала сладострастие, как расцветшее в начале весны дерево свой венчальный аромат. Она угнетала мощностью чувственности, скрытой в глубине сотен существ, и была как бы олицетворением одного громадного самца и громадной самки со страстью, достойной их гигантских тел.

Концерт он слушал невнимательно, подавленный впечатлением, произведенным на него толпой. Он был ее частью, но ни с кем не мог поговорить, и то, что он чувствует обиду от своей обособленности, его самого удивляло. Несомненно—кругом культурные люди, читающие журналы, и многие из них считали бы для себя честью познакомиться с талантливым писателем, а между тем их разделяет резкая граница, точно он—чужеродное тело, случайно попавшее в середину хорошо сработавшегося организма. Ох, если б иметь хоть одного знакомого! А так он—словно дух, быть может и совершенный, но неспособный при всем своем желании приобщиться к радостям физического бытия.

В антракте Степан скучал, слоняясь по коридорам. Толпа немного сбила его спесь, так беззаботно уни-

чтожила его, что он в конце концов начал жалеть себя, цепляясь за обломки чувства собственного величия. В конце концов он зря волновался. Но он—писатель. Это несомненно, и все эти рожи должны его мало беспокоить. Среди них, наверное, нет ни души, читающей книги.

Не зная, как избавиться от чувства одиночества, Степан подошел к столику лотереи-аллегри в пользу беспризорных. Хорошенькая продавщица встретила Степана весьма приветливо.

— Билет? Пожалуйста. Двадцать копеек.

Степан посмотрел на вино, конфеты, пудру, ножики, шкатулочки и прочие выигрыши и вытянул из ящика билет, который оказался пустым.

— Еще возьму,—сказал он.

Но лотерея имела целью помогать детям, а не раздавать каждому встречному бутылки портвейна за двадцать копеек.

— Еще один,—не унимался Степан.

После четвертого билета возле Степана столпилось несколько человек, привлеченных веселым смехом лотерейщицы и видом неутомимого благотворителя.

— Очевидно, они все пустые!—промолвил молодой писатель, притворяясь потерявшим надежду на выигрыш. Он вынул шестой билет под смех порядочного сборища, заинтересованные взгляды которого доставляли ему большое удовольствие.

— О, нет, вам просто не везет... вам везет, верно, в другом,—лукаво ответила лотерейщица, даря ему чарующие взгляды во имя комиссии помощи беспризорным.

Взяв девятый билет, он обернулся к зрителям и, красный от волнения, развернул его, высоко подняв перед собою. Хохот поднялся над толпой—этот билет тоже оказался пустым.

Степан с видом победителя поглядел на море голов, столпившихся в проходе, мешая движению. Удивленная публика останавливалась, узнав, что этот высокий чудак берет двадцать третий билет. Со стороны подплывала блестящая каска пожарного.

— Я беру билет,—прозвучал вдруг женский голос.

Пока Степан рылся в кармане, молодая девушка опустила руку в предательскую коробку.

Выиграв соску, она торжественно вручила ее Степану под радостный хохот и аплодисменты толпы, спешившей в зрительный зал. Антракт кончился.

Второе отделение симфонического концерта молодой человек слушал еще невнимательней, чем первое, нето от стыда, нето от возбуждения. Лицо его горело. Глупо валять перед людьми дурака. И сердце его грызло неприятное чувство, тем более, что от пяти рублей, взятых из дому, у него осталось только две серебряных монетки. Лежавшая в кармане соска мучила его, и он тихонько бросил ее под кресло.

Мрачный вышел Степан из оперного театра и остановился у крыльца закурить. Дважды знаменательный день его жизни закончился совсем глупо.

— Разрешите прикурить?—услышал он знакомый голос и увидел девушку, подарившую ему соску.

Степан страшно обрадовался и заволновался, словно увидел кого-то, с кем связаны самые светлые надежды. Он учтиво зажег для девушки отдельную спичку и пошел рядом с ней.

— Уже закурила,—заметила она, когда он свернул одновременно с ней на улицу Ленина.

— Я хочу поблагодарить вас за подарок,—промолвил Степан, немного подумав.

— Пожалуйста! Сосите ее на досуге.

Он посмотрел на девушку, пораженный ее задорным

тоном. Маленькая, худенькая, в смятой шляпке. Молодой человек остался недоволен, сравнив ее с собой, но тем не менее осторожно взял ее под руку, когда пришлось переходить улицу. Она исподлобья взглянула на юношу, отняла руку и пошла дальше четким военным шагом.

— Чего же вы молчите?—спросила она, сворачивая в Гимназический переулок.

— А как вас зовут?—нерешительно спросил Степан.

— А вам какое дело?—сурово ответила девушка.— Меня зовут Зоськой,—добавила она, смилостивившись.

— Зося...—начал Степан.

— Меня зовут Зоська, Зоська!—нетерпеливо повторила она, сворачивая к дверям.

Молодой человек пошел за нею, смутно надеясь, что на лестнице темно и он сможет поцеловать ее, хоть этим вознаградить себя за напрасно потраченные деньги. Но девушка, словно догадываясь о его желании, взбежала на первый этаж и защелкала ключом.

— Бонжур!—насмешливо крикнула она, исчезая.

II

После многих поправок и подчисток на листе осталось несколько слов, как будто бы вполне приличных.

«Уважаемые товарищи, в последнем номере вашего журнала напечатан мой рассказ. Напишите, пожалуйста, не нужно ли вам еще рассказов, я могу прислать. Мой адрес: Киев, Львовская улица, 51, квартира 16. Стефан Радченко».

Потом, подумав немного, он решил, что факт напечатания его произведения в журнале так очевиден, что ссылаться на него излишне. И строчку об этом он вычеркнул. Еще рассудив, он признал оскорбительным для

собственного достоинства навязываться со своими рассказами, и после нового сокращения письмо приобрело вид, который его вполне удовлетворил.

«Уважаемые товарищи. Мой адрес: Киев, Львовская улица, дом 51, квартира 16. Стефан Радченко».

Переписав эти строчки в двух экземплярах, Степан отослал их в журналы—один харьковский, другой киевский—и почувствовал глубокое облегчение.

Было около восьми утра; квартира понемногу просыпалась. Из кухни долетел сквозь запертые двери шум трех примусов, соответственно количеству семейств, ютившихся в четырех комнатах квартиры. Сиднем сидя в своей комнате, он почти не знал своих соседей. Тем более, что не встречался с ними в кухне, где обычно происходят квартирные встречи, знакомства и стычки. Этого главного нерва жизни с плитой, столом, изрезанным кухонным ножом, жирным шкафом и висящим вдоль стен рядом сковород и кастрюль, сит и разливных ложек, он совсем не касался, даже умываться утром ходил на Днепр, лишь бы не входить в соприкосновение с сожителями и не познать их в натуральном виде. Обычный семейный кодекс разрешает выходить в кухню женщинам без капотов, мужчинам без пиджаков и всем без различия непричесанными и заспанными. Общность крыши сближает людей не столько тем, что они могут один перед другим проявлять свои высокие качества, сколько тем, что они могут выставлять наружу неопрятные стороны жизни.

Степан слушал эту утреннюю симфонию будней тем внимательней, что никогда еще хорошо не слышал ее, не бывая по утрам дома. Беспрерывное хлопанье дверями, крики мужей, спешивших на службу, ворчливые ответы жен, визг уходящих в школу детей, надоедливый крик младенцев—все говорило об интеллигентном

пролетариате, который обычно называется мещанством. Эти несколько десятков кубических метров воздуха, замкнутые между стенами, потолком и полом, были бесславной гробницей юношеских порывов, красоты, надежд. Степан чувствовал себя несравненно выше этих людей и думал с затаенным испугом:

«Для чего они живут? Сегодня, завтра, через месяц то же самое. Сумасшедшие!»

В девять часов, когда служащие разошлись на работу, а жены на базар, в квартире наступила относительная тишина. Сев к столу, под благодетельные листья старой пальмы, Степан достал из ящика пакет бумаг, исписанных карандашом, и начал внимательно их рассматривать. Это были черновики рассказов, написанных прошлой зимой. Три оконченных и один начатый—все на тему о революции и восстаниях. Всем им была свойственна одна черта, которая вполне обозначилась в его первом рассказе «Бритва». Степан синтезировал смысл гражданской войны, как колоссального массового сдвига, где единицы были незаметными частичками, сглаженными целым и безусловно ему подчиненными, где люди обезличивались в высшей воле, которая лишила их личной жизни и одновременно с ней всех иллюзий независимости. Поэтому героями его рассказов становились вещи, в которые воплощалась могущественная идея. И действительно, носителями действия у него становились не люди, а бронепоезд, сошедший с рельс, сожженное имение, завоеванная станция, стоящие перед человеческим коллективом как выразительные лица. Поэтому нигде еще расстрелы не совершались так просто, никогда трупы не ложились так покорно, как в произведениях Степана Радченко. Так, прислушиваясь к воплю разрушенного броневика, автор забывал о стонах живых под его обломками.

К вечеру он закончил начатый рассказ, удивляясь, как болит и млеет его рука. Те страницы, которые он раньше легко писал за час, стоили ему теперь полусуток напряженной работы с неприятными перерывами, когда карандаш отказывался ему служить. Ему приходилось много черкать, останавливаться на отдельных словах, не подходивших к оттенку мысли. Мозг его привык к языку мастеров, повышенным требованиям к фразе и все время срывал вольный полет его вдохновения. Заостренное на литературных шедеврах художественное чутье беспрерывно открывало ему композиционные погрешности, и он дважды должен был перестраивать план, отбрасывая обдуманное и добавляя совершенно непредвиденное. И, окончив рассказ, почувствовал злое удовлетворение, как всадник, объехавший коня, который не раз сбрасывал его наземь.

Два дня посвятил он переписке и обработке деталей, выходя лишь пообедать и прочитать лекции по украинскому языку. Он даже перестал ходить купаться. Еще через день после того как кончил работу над рассказами, получил ответ из редакции киевского журнала, такой же короткий, как его письмо: «Просим зайти в редакцию от одиннадцати до двух часов дня». Слово «просим» очень его обрадовало, но зайти в редакцию не отважился—смесь стыда и гордости удерживала его от такого шага. Зато ничто не помешало приодеться и пойти вечером на Гимназический переулок, где живет Зоська.

Правду говоря, он не особенно хотел ее видеть, но надоевшее одиночество и потребность в развлечении после работы над рассказами вели туда, где мог он услышать живое слово. Не самые слова его интересовали. Физическое влечение к женщине не оставляло его с того времени, как он покинул Мусиньку, и чем сильнее

хотел он подавить эту потребность, тем сильнее овладевала она его воображением.

Но тем не менее по отношению к Зоське у него не было никаких грязных намерений; он думал, что она познакомит его с подругами и он сможет порвать путы одиночества и тоски по женщине. С такими намерениями он высморкался и постучал в дверь.

— Вам кого?—спросила она, появившись на пороге.

— Я хотел вас видеть,—ответил Степан.

— Я вам этого не позволяла,—сурово ответила она, но через минуту добавила:—Ко мне нельзя, погуляйте, я сейчас выйду.

И прежде чем молодой человек успел ответить, заперла дверь. Степан вышел на улицу, немного обиженный, так как чувствовал себя достойным лучшей встречи.

Пиголица!

Степан медленно шагал по переулку и от нечего делать читал фамилии жильцов на медных дощечках.

Зоська действительно не заставила себя долго ждать и появилась на крыльце в жакетке и шляпке.

— Посмотрите, что я купила,—сказала она, показывая молодому человеку маленький стэк.—Правда, красивый? Необычайно!

— Очень красивый,—ответил Степан.

— И как бьет! Вы не пробовали?

— Только, пожалуйста, не бейте,—остановил ее Степан, видя, что она взмахнула стэком.

— Это от—шпица. У нас есть шпиц. А где же соска?

— Соску я выбросил.

— Мой подарок?

Она возмущенно остановилась.

— Нет, нет!—испугался Степан.—Я пошутил. Я спрятал ее в ящик.

— Принесите ее мне,—сказала Зоська,—я ее к стэку приделаю.

«Придется купить, да ей соска и подходит»,—подумал молодой человек, окинув взглядом ее детскую фигурку.

Через четверть часа Степан важно покупал билеты на первые места в кино, надеясь заложить прочный фундамент их знакомства. Он полагал, что девушка, что-нибудь получая от молодого человека, чувствует себя в долгу перед ним.

Степан с рыцарской вежливостью пропустил ее вперед в фойэ и любезно расхаживал с нею, рассматривая плакаты и фотографии.

— Вот дурак!—возмутилась Зоська, указывая стэком на молодца, скакавшего верхом на коне.—Киноартист должен ездить в автомобиле, а он точно конный милиционер.

Степан чувствовал себя прекрасно, впервые в жизни очутившись с дамой на людях. Ему было неприятно, что его приятельница чрезмерно вертела стэком и озиралась кругом, обращая на него мало внимания. Все-таки она должна была бы чувствовать, что она пришла по его приглашению.

Но когда в зале потух свет, а на экране замигало, Степан взял ее маленькую ручку и сжал. Девушка не ответила, но и не отняла руки, поэтому еще через несколько минут он положил ее руку к себе на колени и накрыл ладонью, решив из осторожности временно на этом остановиться. После последней части Зоська сказала:

— Какой прекрасный фильм! Аполлон, купите билеты еще на один сеанс!

— Меня зовут Стефан,—обиженно ответил Степан.—Посидите, сейчас куплю.

Он быстро вернулся с билетами, боясь, чтобы она не удрала.

— Ах, вы божественный!—сказала Зоська.

Но как только фильм начался снова, она утомленно промолвила:

— Фи, как противно! Я хочу домой. Тут душно.

На углу своей улицы она вдруг сказала:

— Мне хочется покататься на лодке.

— Пожалуйста. Вечер такой тихий. Поедемте куда-нибудь далеко.

— Только чтобы на нашей улице.

— Где же тут вода?

— Так сделайте ее!—тоскливо воскликнула девушка.

Терпение в нем оборвалось, и он, оглянувшись, украдкой поцеловал ее.

— Какое нахальство!

— Я люблю вас,—жалобно пробормотал Степан.

— Я вам этого не позволяла,—сурово ответила она уходя.

— Зоська, когда я вас увижу?—крикнул он вдогонку.

— Никогда!

Но молодой человек только усмехнулся ее словам и пошел домой, полный радужных надежд. Зоськино «никогда» его обрадовало, даже дало надежду на очень скорое свидание с важными последствиями, так как ему не трудно было понять, что эта девушка капризница, которая сама не знает, что ей нужно, а это дает большой простор действиям человека со стальным желанием. Особенно обрадовала его ее привычка говорить «не позволяю», когда факт уже был совершен.

Вообще девушка понравилась ему больше, чем он думал. Прикоснувшись к ней на улице, он вдруг убедился, что из-за маленького роста женское тело не утрачивает своих притягательных свойств. Даже наобо-

рот—в сухости его очертаний он чувствовал утонченную, порожденную городом прелесть. Его прельщало в ней и то, что она была горожанкой, так как желание стать настоящим горожанином было первой задачей его восхождения. Он будет бывать с нею всюду: в театрах, кино и на вечерах, войдет при ее содействии в настоящее городское общество, где его, конечно, примут и оценят.

В институте, верно, начались лекции. Он собирался туда наведаться. Однажды утром он уж совсем собрался, но вдруг спросил себя: «Зачем итти?» И не нашел никакого ответа. Немного удивился, потом обрадовался, восторгаясь своей смелостью, и целый день чувствовал себя победителем. Ну, для чего ему этот институт? Стефан Радченко хорош и без диплома.

И действительно, Степану сильно везло. Через неделю он получил ответ из харьковского журнала с переводом на восемьдесят семь рублей. Он ждал письма, но на гонорар не надеялся. Литература, оказывается, не только почетное, но и выгодное дело, то есть заслуживает сугубого внимания. Юноша с удовольствием расписался в получении и рад был бы без конца расписываться, если бы этого требовала почта—громаднейшее завоевание человеческой культуры, которая не только дает далеким людям возможность переписываться, не только пересылает журналы с напечатанными рассказами, но и переводит авторам гонорар.

Письмо харьковского журнала было очень интересно. В нем коротко, но ясно были указаны достоинства его рассказов и предложено прислать материал на сборник размером от трех до шести печатных листов. Последняя строчка смутила его—что это за печатный лист и, главное, хватит ли его рассказов на книжку «от трех до шести» листов. Это, конечно, нужно узнать и одно-

временно удовлетворить другие запросы, которые зародились в нем. Они относились к технике печатания. Что страницу составляют из отдельных букв—это известно еще из учебника. И молодой писатель решил купить книжку по издательской технике, из которой узнал, что такое лист и сколько в нем бывает букв, что такое корректура, цицеро, шпация, рихтовка, и особое внимание обратил на портретное дело, цинкографию, автотипию и офсет-машину. Знание техники портрета и иллюстрации он спрятал в голове про запас, а сведения о печатном листе применил сейчас же к своим шести рассказам и высчитал, что в них двести семь тысяч сто девяносто четыре буквы, то есть под мерку «от трех до шести листов» подходят вполне.

Тогда он сложил их аккуратно, перенумеровал листы, завернул в чистую бумагу и вывел большими красивыми буквами: «*Стефан Радченко. Бритва. Сборник рассказов*». Потом запаковал, перевязал тесемкой, как когда-то отчет по сельбуду, и сдал на почту, считая молчание наилучшим ответом.

III

Театр закончил круг своего развития. В конструктивных постановках с подчеркнутым актерским жестом и интонацией, как проявлением единого сгущенного свойства данного лица, с обилием массовых сцен, где афишные надписи и скелет декорации характеризуют место действия, давая ему простор развиваться одновременно в нескольких планах, современный театр приобщился к высшей ступени своего развития, своему исходному источнику—религиозным мистериям, античности средних веков, и дальше перед ним тянется путь самоповторения, ускоренного прохождения знакомых

уже этапов с некоторой примесью новизны. И подчиняясь действию всеохватывающих законов, единых и безошибочных, присутствие которых подмечает человеческий гений во всем многообразии жизненного процесса, от корней театра родилась побочная ветвь, рост которой напоминает фокус индийских факиров, выращивающих на глазах зрителей ветвистое дерево.

Еще двадцать лет тому назад этот юный росток ютился по деревянным будкам у цирков и базаров, среди вони конюшен и торжища. Пресса и общество пренебрегали им. Но вскоре кино появилось на центральных улицах, заняло роскошные помещения с блестящими украшениями, просторным фойэ и симфоническими оркестрами. Расцветая там полным цветом, кино вдруг получило признание. Разрешив непреодолимую для театра задачу иллюзии и полноценности актерского движения, оно раздвинулось в бесконечность и бросило на экран всю полноту действительности, избавив ее от всякой реальности. Отобрав у действия голос, оно сделало его понятным для всех племен и народов, охватывая колоссальные противоречия, как совершенный диалект, привлекая все взгляды и сердца.

Мелькающий калейдоскоп фигур, далеких стран и народов, сведенных на экран жезлом немого волшебника, возбуждая в Стефане Радченко смесь радости и угнетения, которая овладевает человеком среди бесконечной степи, когда ночь звучит неуловимыми шорохами, и когда в зале гас свет, с первыми аккордами оркестра молодого человека охватывало созерцательное настроение, и он шепотом повторял название фильма, словно предчувствуя его содержание. Потом углублялся в экран с наслаждением исследователя, шаркал ногами, когда прочитанная надпись долго задерживалась, и временами, восторгаясь удачной или трагической сце-

ной, сжимал лежавшую у него на коленях руку Зоськи, его неизменной и незаменимой спутницы. И она тоскливо шептала ему:

— Мне больно, божественный!

Но в это мгновение он был далек от нее, как бог, сливаясь с движущимися световыми фигурками, захватившими его пылкое воображение и увлекавшими его в свои путешествия и приключения, где дышал он ароматом садов и порохом дымящихся ружей. Иногда, вернувшись домой, Степан не зажигал огня, и в темном блеске стекла ему мерещились образы прекрасных артисток.

Но гораздо чаще и тоскливей думал о девушке Зоське, которая называла его «божественным», словно бы насмехаясь над бессилием своего кавалера. Их отношения словно окостенели, и юноша чувствовал невозможность сдвинуть их с мертвой точки. Его радужные планы разбила природа. Неожиданная осень развернула над городом серый мокрый покров, обвевая дни влажными туманами и противным мелким дождем. Острые ветры, внезапно свирепея и утихая, срывали с каштанов зеленые листья. Мостовая и крыши покрывались холодными слезами, безостановочно стекавшими по трубам, в выбоинах асфальта стояли невысыхающие лужи, трепеща поверхностью. Извозчики прятались под поднятые кожаные навесы пролеток. Продавцы папирос укрывались в подъездах вместе с газетчиками. Будочки с искусственными минеральными водами, квасом и ситро снимали свои раскрашенные вывески, и утихали веселые выкрики торговок, продававших яблоки ранет и груши беры. Сырость и скука пропитала воздух и людей.

Злая непогода внезапно оборвала ароматный сезон бульваров и прогулок по реке, где любовь может найти

свое естественное завершение в тиши безлюдных кустов. Природа заперла все удобные приюты, но ни один дождь не способен был залить жажды, охватившей человеческое сердце.

После нескольких напрасных попыток попасть в Зосьсину комнату и напрасных приглашений к себе Степан должен был признать кино единственным местом своих встреч с девушкой—встреч безнадежных, так как увлечение искусством не могло удовлетворить его желаний, а неудовлетворенность только усиливала их, превращаясь в тяжелое испытание. Он подолгу не мог уснуть, беспокойно ворочался, зажмурив глаза, а утром просыпался, обессиленный тяжелыми снами. Временами его мучили кошмары в виде мертвецов, которые потом окостеневали сплошной массой и качались над ним в воздухе, как висельники. Забросив всю свою работу и книжки, отбывая лекции в учреждениях как повинность, он взволнованно ждал вечера, жаждал его, готовился к нему, просыпался вечером для жизни, и каждый вечер кончался для него долгим бодрствованием и вздорными снами.

Правда, она согласилась перейти с ним на «ты», но и это не привело ни к каким результатам.

Кроме того она курила и была стриженой, но и эти несомненные, по его мнению, признаки доступности не привели ни к чему. Она властно держала его на расстоянии и временами только, когда у нее было другое настроение, позволяла себя целовать, сама никогда не отвечая на поцелуи.

— Я люблю тебя так искренно, так страстно,—шептал он, провожая ее из кино домой.

— Ах,—вздыхала Зося,—никакой любви нет! Все это выдумали.

Он пробовал действовать на нее логикой.

— Если не любишь,—говорил он,—то зачем ходишь со мною в кино?

— Потому что ты платишь,—удивлялась она.

Такой ответ был очень обиден, но он молчал, так как должен был сознаться перед самим собой, что немного побаивается ее. Она была капризна, и странные желания охватывали ее. За один только вечер она высказывала желание летать на аэроплане, стрелять из пушки, быть музыкантом, профессором, мореплавателем, пастухом.

— Ах, я хотела бы быть торговцем!—говорила она.— Сидишь в лавочке. «Вам чего? Перцу? На десять? Сто грамм?» Это прекрасно! Приходит много-много людей... А детям я давала бы по конфетке. Я хотела бы быть ребенком—красивеньким курчавым мальчиком. Это так необычайно—сесть верхом на палочку и погонять: «Но, сивый! Но, буланый!»—И дергала его за руку, подпрыгивая.

Эта болтовня обессиливала его, и, временами промолчав целый вечер, не обращая внимания и не глядя на молодого человека, она брала на прощанье его руки и тоскливо говорила, волнуя Степана своим тихим голосом:

— Ах, божественный, какие мы глупые-глупые! Впрочем, ты ничего не понимаешь.

Он действительно отказывался что-либо понимать кроме того, что тонкая девушка приворожила его к себе и заняла в его жизни прочное место. Каждый вечер в семь часов он выходил из дому, заходил по дороге в кондитерскую, где его через неделю начали встречать с приятной улыбкой. И он сам так привык к ее хозяину, что ему казалось неудобным перестать покупать конфеты. Платя деньги, он грустно думал:

«Я вожу ее в кино и кормлю конфетами. Действитель-

но, я глупый. Действительно, я божественный, то есть придурковатый».

Несколько раз он пытался поднять в ее глазах свою ценность, намекая ей на свою связь с литературой, так как сказать ей это открыто он не решался, но намеки эти были такими смутными, что понять их она не могла. Да и интересовалась больше газетами и всегда рассказывала последние политические новости.

— Ты читал сегодня английскую ноту? Такая длинная! А как прекрасно начинается: «Сэр, правительство его величества...» Ах, как это хорошо, писать такие смешные ноты!

Чего она, собственно, хотела? Украдкой поглядывал на ее лицо, украшенное русыми кудрями, выбивающимися из-под приплюснутой шляпы. Это было на редкость живое личико, каждое движение души сразу отражалось на нем. То оно становилось ясным, то темнело от неведомых тучек, которые плыли в ее глазах, и от этих беспрестанных перемен в ее настроениях его охватывала то надежда, то глубокое отчаяние, когда она внезапно хмурилась, погружаясь в зловещее молчание. Молодой человек силился развеять ее беспричинную тоску, рассказывая о своих приключениях во время восстания и войны, но она, увлекшись чем-нибудь на миг, сразу же угасала и хмуро бормотала:

— Ах, как все это скучно! Не нужно никакой войны. Это выдумали люди. Ты хочешь сказать, что был героем? Как это глупо?

Тогда охватывала его тоска, и они шли по скользким улицам, безгранично далекие, но скованные какой-то неизбежностью, неся свое молчание под хмурым осенним небом. Однажды, в припадке скуки, она швырнула через забор свой любимый стэк, заявив:

— Он надоел мне. Я ненавижу его.

А через десять минут пожалела о своем поступке, и Степан, возмущенный ее капризами, должен был войти в незнакомый двор и, зажигая спички, искать в болоте стэк, всполошив собак и перепугав жителей. Стэка он, конечно, не нашел и, выйдя на улицу, чувствовал к своей угнетательнице такую ненависть, что готов был уничтожить ее ударом кулака.

Этой ночью он пережил восстание раба. При свете электричества он впервые заметил кричащий беспорядок. Пыль покрыла убогую мебель, и на полу лежал кучками неубранный сор. Мокрым холодом тянуло со двора сквозь незаклеенное окно, и порывы ветра колебали звенящее стекло, с которого осыпалась замазка. В углу над пальмой, склонившей желтые ветви, зловеще ширилось влажное черное пятно. Тяжелая тоска нахлынула на Степана, ибо это разрушение напоминало ему бессмысленность его собственного существования. Опустошение сердца отразилось на комнате. Сев у стола, где в беспорядке лежали развернутые книги и листы бумаги, он с сожалением осужденного вспомнил лето, спокойную размеренную работу, когда голова так жадно поглощала массу фактов, мыслей.

Где рассветы, полные свежести нерастраченной силы? Где тихие вечера, когда он сладко засыпал, убаюканный ощущением гармонии души? Они утрачены, и путь к ним зарос травой. Ради чего? Раскрыв одну из тетрадей, он смотрел на свои записи о прочитанном, как банкрот на когда-то надежные балансы. Осень почувствовал он в себе, ненастье и туман.

И что получил он взамен? Ничего, кроме неприятностей и унижения. Ничем он не стал, кроме женского прихвостня, игрушки в руках шальной девушки. Да хоть бы было за что! Хоть бы он получил ту реальную ценность, за которую стоит пожертвовать! И какая неле-

пость все эти конфеты и хождение в кино! Мещанство, интеллигентщина!

Кроме того он обеднел. Гонорар, полученный из Харькова, давно уже растрачен. Деньги эти исчезли, не оставив следа. Непомерные расходы безжалостно пожирали его заработки от лекций, оставляя ему копейки на обед и ничего на ужин. Одежда с каждым днем теряла вид, носки были порваны, белье без пуговиц, за квартиру он не платил второй месяц. Случайно и неожиданно эта девушка уничтожила его не только духовно, но и материально, а это в сущности одинаково плохо. Довольно, довольно! Никогда он уже к ней не пойдет. Точка. Конец.

Степан хорошо знал, что лучшее лекарство от бедности—труд. Радость труда ощущал он полностью, отдаваться ему умел до самозабвения, но все несчастье его заключалось в том, что что-то постороннее, беспокойное оторвало его от труда.

Утром, как только Степан раскрыл глаза, пришла ему в голову мысль написать киносценарий. С радостным увлечением Степан обдумывал свое новое задание и был готов его осуществить.

Собрав книги, пролежавшие более месяца, он отправился в библиотеку и, избегнув штрафа ловким заявлением о болезни, взял нужную ему кинолитературу. Двух дней было достаточно, чтобы хорошо усвоить технику писания сценария, которая, к слову сказать, не принадлежит к понятным. Частые посещения кино давали ему нужные иллюстрации, и он удовлетворенно посмеивался, думая, что ничто в мире не гибнет даром, даже увлечение девушкой может принести реальную пользу. Быстро набросав план кинодрамы из времен гражданской войны в шести частях с прологом, где было все, что нужно: социальная ненависть—раз, лю-

бовь между героем рабочим и женщиной вражьего лагеря—два, очаровательная девушка-пролетарка, спасающая рабочего от смерти и переносящая его чувства на себя,—три, выстрелы и дым—четыре, победа справедливости—пять, не говоря уже о мелких фактах, ничем не уступающих главным. Были в драме и комические элементы, например, кулак, которому в сценарии страшно не везло и который своими неудачами страшно насмешил автора. Проработав неделю, молодой человек вложил в эту несложную схему все свое уменье, сделав ее трагичной, и так запутал действие, что фабула стала интересной. Несколько раз перечитал он это произведение, удивляясь легкости своих кадров, и переписав отослал его в ВУФКУ.

Потом почистил костюм, наваксил до блеска ботинки, вымыл калоши, надел пальто и пошел на Гимназический переулок. Когда Зося предстала перед ним, он горячо сжал ее руку и сказал:

— Зося, как я тебя люблю!

— Куда ты пропал, божественный? Я без тебя скучала,—ответила она, вырывая руку.

— Работа, Зося! Проклятая работа!

У него был гениальный план. Кончая писать сценарий, он понял, что суть их отношений упирается в проблему комнаты. Действительно, Зося жила в одной комнате с родителями. С другой стороны, он был уверен, что ни одна порядочная девушка на квартиру к мужчине не придет. Это неприлично. В-третьих, мешала осенняя непогода. Но из всех затруднений был выход. Он узнал об его существовании из романов и пришел в восторг. Это будет по-европейски, сто чертей!

— Я голоден, Зося. Идем ужинать,—сказал он.

— Я тоже голодна,—призналась она.—Но мы никогда не ужинаем.

Он понизил голос:

— Поужинаем в отдельном кабинете.

Она радостно всплеснула руками:

— Ах, отдельный кабинет, это чудесно!

Они свернули в первую пивнушку, где на вывеске была надпись: «Отдельные кабинеты». По узким ступенькам опустились они в подвальчик, она — смеясь веселой выдумке, интересная и возбужденная, а он — рассерженный, волнуясь о последствиях, стесняясь каждого своего шага. И когда стали внизу на площадке, откуда виден был меж раздвинутой завесой вход в главный зал, где играла музыка, и когда внезапно выросла фигура с салфеткой в руке, Степана охватила такая робость, что пока он собрался с мыслями, Зося властно, как завсегдатай и знаток кабинетных дел, небрежно бросила:

— Будьте добры, отдельный кабинет.

Фигура поклонилась и неслышно повела их через темные двери, низким проходом, где сырость и плесень напоминали Лаврские пещеры, и Степан невольно вздрогнул от этого душного запаха, странным образом напоминавшего приют святости среди распутства. Выпустив Зосину руку, он шел, держась середины прохода и нагнув голову, чтобы как-нибудь не коснуться стены или потолка, где, казалось ему, пыль и плесень лежали слоями. Фигура скоро остановилась и щелкнула выключателем.

— Пожалуйста, — произнес официант.

Тогда Степан увидел, что в коридор выходят четыре двери и одно крохотное оконце без стекла. Коридор изгибался подковой, поэтому музыка доходила сюда глухо, будто издалека спускаясь в покинутую мокрую шахту.

Зося уже вошла в комнату, когда Степан медленно

переступил ее порог. Ему бросились в глаза стены, некогда оклеенные обоями, которые, оторвавшись, висели клочьями, обнажая серый мел. Рисунок их исчез под грязью и превратился в странные пятнистые узоры, чернея в углах от сырости и паутины. Окон не было. Справа у стены стоял широкий клеенчатый диван, выцветший, облезлый, весь в выбоинах и прорехах, покрытый следами человеческой тяжести, свидетельствовавшими о долголетней и старательной службе. Над ним висела репродукция картины, на которой были изображены ссыльные, кормящие через окно вагона голубей, другая картина, в такой же раме, висела против дверей, над столом—девушка с кошкой на крылечке, обвитом розами. Все дышало здесь испарениями алкоголя, разлитым вином, перегноем тел, и запах этот висел в комнатке и в коридоре, пронизывая камень и кирпичные стены.

Степан сел к столу, не снимая пальто. Кабинет вызвал в нем отвращение, и хороший план решения квартирного вопроса перестал ему нравиться. Зато Зося была в восторге. Все казалось ей необычайным и чудесным.

Она оглядела картины, попробовала ногой мягок ли диван, заглянула в коридор, погасила и зажгла электричество и сделала вывод:

— Тут очень мило.

— Да что ты, Зося?!—удивился юноша.

— Я хотела бы тут жить всегда!

Появилась фигура с карточкой. Ужин заказан, и гости сняли пальто. Вдруг в коридоре зазвучали бодрые шаги нескольких пар ног, и в соседний кабинет с треском и смехом ворвалась крикливая компания басов и сопрано. Зося бросила на пол папиросу.

— Им весело,—сказала она.

— Нам тоже будет весело,—ответил Степан.

Действительно, первая рюмка сразу подняла его настроение. Необычайный хмель сладко туманил голову, он почувствовал волнующую теплоту в груди, а в пояснице томление. Что там стесняться! Не он ли написал сборник прекрасных рассказов и закончил киносценарий в шести частях с прологом.

— Зоська,—спросил он,—кто я такой?

— Босяк.

Он громко рассмеялся и взялся за отбивную котлету, ничем не уступавшую жареной подошве.

Теперь глаза его бросали на комнату взгляды милосердного судьи, который понимает слабости человеческие и умеет их прощать. И то, что он тут сидел, пил вино и жевал котлету, было ему приятно, и в этом он видел величайший поступок, который волновал его самого.

Неожиданно из соседнего кабинета над криками и хохотом прозвучал хрип расстроенного рояля.

— Вальс!—вскрикнула девушка.—Ты танцуешь?

— Нет,—ответил он, наливая вина ей и себе.

— Надо научиться!

Он сел рядом с нею с рюмкой в руке.

— Зося, выпьем за нашу любовь!

Она пьяно усмехнулась.

— За любовь, божественный!

Через минуту они сидели на диване, и молодой человек, прижимаясь к ней, шептал:

— Будь моей, Зоська, любимая! Будь моей!.. Ну, Зоська, любимая!..

— Как это—твоей?—спросила она.

Он онемел на миг, потом пробормотал:

— Я покажу тебе!

— Покажи,—согласилась она.

Оглушенный ее согласием, вином и завыванием старого рояля за стеной, задыхаясь от близкого осуществления того, что мучило и дразнило, юноша решительно обнял ее, но девушка сразу опомнилась и отодвинулась в угол дивана.

— Там грязно!—крикнула она.

Этот крик остановил его, и он склонился в неловкой позе, упираясь руками в клеенку. Мучась от стыда и тоски, опустился на пол, на колени и припал головой к ее ногам.

— Прости меня, Зоська, прости!—твердил он, не решаясь поднять голову.

Она обвила тонкими руками его шею и нагнувшись молча поцеловала его в губы.

— Еще, еще,—шептал он, замирая, пьянея от ее губ, прикосновения ее волос и сладкого забвенья, топившего его сознание в поцелуях.

Потом они сели рядом, прижавшись и взявшись за руки.

— Ты хороший,—сказала Зоська.

— А ты необычайная,—ответил он.

Он целовал ей шею, руки, пальцы, полный неудержимой любви, покорно заглядывал ей в глаза, благодарно клал на грудь голову и гладил вьющиеся волосы.

— Я похожа на ту девушку,—сказала Зоська, показывая на картину.—Как бы я хотела иметь кошечку и крылечко в розах!

И они смеялись, как дети в солнечный день.

Так как Степан еще не был настолько культурен, чтобы догадаться позвать официанта с салфеткой, постучав ножом о рюмку, ему пришлось выйти в коридор позвать его. Проходя мимо, заглянул в незакрытые двери соседнего кабинета, где весело звенела музыка.

Знакомое мужское лицо поразило его, бессмысленное, смеющееся и пьяное. И вспомнил то, что мог бы забыть навеки,—вспомнил кухню, позорный разговор, драку и побег из дома. Это был Максим, сын Тамары Васильевны, его первой любовницы. Максим отпустил усы, поэтому его трудно было узнать. Он подбрасывал в такт танцу толстую женщину, сидевшую у него на коленях, с поднятой юбкой. Степан невольно отступил и инстинктивно прижался к стене, чтобы его не увидели. Страшное отвращение охватило его. В тот миг ему казалось, что безжалостное прошлое, все ошибки, промахи навеки оставляют в душе человека червяка, подтачивающего корни всех стремлений. Он почувствовал тогда всю низменность и подлость своих поступков, мыслей и мечтаний.

В узкой щели перед ним кружились какие-то женщины и мужчины, пока кто-то не запер дверь.

Оплативши счет, Степан схватил Зоську за руку и испуганно прошептал:

— Идем отсюда!

Она с сожалением прижалась к нему:

— Мне так хорошо тут...

Но он быстро вывел ее на улицу, где осенний мрак разрывался ветром и сочился холодными каплями.

IV

Вопрос о деньгах принимал угрожающие формы. Степан был на краю банкротства. Весь его гардероб—от шапки до калош—начинал проявлять признаки страшного, хотя и естественного разрушения. Процесс одевания, доставлявший ему недавно такое удовольствие, превратился в сущую муку, потому что утром яснее чем когда-либо обнажались дырки его белья, потре-

панность ботинок и блеск локтей на пиджаке—вестник будущей дырки.

Началась скользкая киевская зима, и не топить стало совсем невозможно. Правда, Степан аккуратно заклеил окно, не оставив ни одной предательской щелки, но казалось, что холод проходит сквозь стены, и утром молодой человек просыпался, дрожа от холода, хотя укрывался поверх заслуженного солдатского одеяла всем своим имуществом, даже клал подушку на ноги. Нужда угнетала его и подтачивала энергию. Вечерами, когда он не шел с Зоськой в кино, он ложился на кровать, силясь согреться и утешая себя надеждой придумать тему для рассказа, или просто лежал от усталости и тоски и часто засыпал одетый, удивленно просыпаясь ночью с камнем на сердце.

И вот как-то утром напившись в Нарпите горячего чаю с полуфунтом арнаутки, молодой человек сел у стола, нашел среди бумаг карандаш, очинил его и начал обдумывать, чем бы облегчить свое финансовое положение, а с ним физическое и моральное, ибо часть душевного надлома относил за счет нужды. Сперва надо выяснить свои нужды, расходную часть бюджета. Прежде всего Зоська. Взвесив все обстоятельства, Степан решил, что ассигновать на нее меньше червонца в неделю—вещь невозможная. Скрепя сердце, втайне жалея, что приучил ее к первым местам в кино, он решил, что сменить режим в этой области было бы стыдно, вычеркнуть конфеты тоже немыслимо. В этом деле он был бессилен, с грустью вспоминая, что после ужина в отдельном кабинете и вспышки неожиданной нежности был еще сильнее связан с девушкой и бросить ее теперь было трудней, чем в период простого знакомства. Он чувствовал, что в нем родилось нечто более глубокое, чем желание, нечто с привкусом долга и обя-

занности. С другой стороны, упрямое самолюбие юнца не позволяло ему оставить дело на полпути. Он дорожил Зосей не только потому, что истратил на нее массу денег, но и потому, что ради нее опустошил себя, свою душу.

Нельзя отказаться от законных процентов на вложенный в дело капитал. То хмурый, то радостный от упрямства или от увлечения шел он на Гимназический переулок, где остановилась его жизнь, мысли и волнения. В изредка срываемых поцелуях порою загоралась дивная теплота того первого, расцветшего в гадких стенах кабака, таинственного осязания уст, которое стирает границы личности в таинственном глубоком слиянии.

Иногда он говорил себе, что любит ее крепко, как никого не любил, и радовался, ощущая это большое чувство, а минутами печалился, ибо оно отклоняло его от единственной цели. Желание обладать Зоськой както погасло. К присутствию девушки в своем сердце он относился терпимо, полагая, что быть влюбленным необходимо и естественно. Доход его от лекций равнялся восемнадцати рублям в неделю. Из них десять рублей он отдавал Зоське, а восемь оставлял себе на еду и оплату помещения. Таким образом на дрова и гардероб не оставалось ни гроша. Для приведения своей наружности в порядок нужно было по самым скромным подсчетам восемьдесят пять рублей, а следовательно, бюджет сводился со сторублевым дефицитом.

Тут решил он пойти в редакцию киевского журнала, напечатавшего его рассказ, где следовал ему гонорар. Почему он раньше об этом не думал? Только из добросовестности. Ему неприятно было являться к людям, которые будут смотреть на него как на писателя. В чувстве, которое он вложил в свой рассказ, было что-то

несравнимое с деньгами, бесконечно им чуждое. Перевод из Харькова он получил как подарок. Но притти за деньгами как за заработком было неловко. Однако нужда пересилила благородные соображения и, надев ему на голову шапку, а на плечи пальто, отправила в редакцию, помещавшуюся в отделении Госиздата.

И странная вещь! Редакция, оказалось, была в той комнате, куда впервые пришел он во френче и сапогах по приезде в город. Он узнал ее сразу—тот же самый шкаф и черненькая машинистка, деревянный диван, а на нем молодые люди, в которых он сердцем почуял товарищей! Они курили, смеялись, вполголоса разговаривали, чтоб не нарушать тишины в учреждении. Стыд охватил его за прошлое, за наивность свою и унижение, и тысячи воспоминаний, как раскрытый альбом, родили чувство неловкой, но сладкой гордости.

Но к столу он подошел и назвался скромно, застенчиво. Его усадили. Да, гонорар ему причитается—семьдесят рублей с копейками. Но почему он не показывался так долго? Степан сказал, что был болен. Но чем? И он должен был ответить еще на ряд вопросов о себе, своей жизни, работе. Говорил он уклончиво, на каждом слове врал и сам краснел от своего вранья.

— Вы принесли нам еще рассказ?—ласково спросил секретарь.

— Нет, я еще не кончил,—ответил Степан.

Таких допросов он не выносил.

А с другой стороны, в самом деле, не мог же он положить деньги в карман и уйти? Это было бы неприлично.

Секретарь познакомил его с молодыми людьми, сидевшими на диване. Все это были писатели, кроме одного, который оказался курьером, но по внешности ничем от них не отличался. Кой-кого Степан знал по

фамилии и по произведениям. По интересу, возбужденному его именем, он догадался, что рассказ его не прошел без следа, и в насмешливо-приветливых взглядах новых знакомых увидел блеск задора, безмолвный вызов на соревнование, которое на литературном поле беспощаднее французской борьбы и даже английского бокса.

Тут он попал под новый град вопросов. Готовит ли он к печати сборник? Да где там сборник! А что пишет? Рассказы... О чем? Он не мог на это сразу ответить, ибо ничего не писал и ничего писать не собирался. Но признаться в своей бездеятельности было бы стыдно.

Кто-то иронически произнес:

— Да вы не бойтесь, мы не зажулим вашу тему.

Тогда Степан ответил:

— Пишу рассказы о людях.

Все засмеялись, но он был доволен ответом, который ни к чему не обязывал.

Степан не производил впечатления человека сильного и поэтому понравился. Немного диковатый, но в общем симпатичный парень. Может быть, его рассказы слабоваты, в них много погрешностей формы, они манерны, растянуты, разбросаны, запутаны, а местами и совсем никчемны, но в них есть свежесть и надежда на лучшее.

Так оценили его появление писатели. Потом возник спор, под чьим влиянием он пишет и кому подражает, ибо иначе он был бы оригинальным, а этого никак нельзя было допустить. Из украинцев назвали Коцюбинского, Франка. И тут начался конкурс на знание иностранных литератур, собрался целый букет имен разных вкусов и направлений. Кто-то отстаивал Сельму Лагерлеф, рассказы которой прочел лишь вчера. Число предшественников позабавило бы Степана, число влияющих

ужаснуло бы, но он успел уйти, неся в кармане деньги, которые казались ему добычей наглого мошенничества. За что, собственно, он их получил? Разве может он стать настоящим писателем, как те, что сидят на диване? Разве дойти ему когда-нибудь до такого уменья держать себя, до такой независимости, уверенности и красноречия? Нет, это совсем невозможно. Нет, в писатели он не годится!

«Не буду писать»,—подумал он, но втайне чувствовал, что сам себя обманывает, а писать, конечно, будет и писать хорошо, лучше всех этих хвастунов.

Деньги он сейчас же употребил на покупку суконного, хотя и плохонького костюма, и, переодевшись, пошел на очередную лекцию. Возвращаясь после обеда домой, купил по дороге пять пудов дров, и пока ободранный, грязный человек тянул их на тачке к нему на квартиру, Степан решил посидеть этот вечер дома, натопить комнату и починить белье. Созерцательное настроение, охватившее его после посещения редакции, как раз подходило к такому занятию.

Собрав для починки белье, приготовив иголку, нитки и пуговицы, разорвав на куски самую ветхую из рубах, Степан сложил все дрова возле печи, стал на колени и начал растапливать. Предчувствуя тепло, по которому так томилась каждая клеточка его тела, он с увлечением наблюдал, как разгорается огонь, как пляшут его языки и курчавится дым. Наступал вечер, неизменно мокрый, лохматый от туч, серый, вихрастый. Молодой человек не зажигал огня, и в комнате тень его удлинялась и сжималась от пламени, как кисть огромной руки.

Разостлав одеяло на полу возле печки, он сел и начал шить. Но истома от тепла, которая разливалась по лицу и груди, скоро влилась в его пальцы, и иголка

упала на пол. Он не стал ее искать, устало вытянулся на одеяле, уперся локтями в пол и положил голову на руки. Перед ним был огонь—живой, неспокойный, чудесный, который и теперь увлекает глаза своей палящей и зыбкой красотой, который и теперь дает чувствовать в себе мощность первого и непревзойденного бога! Огонь. Он знал его очень хорошо, ибо огнем были отмечены многие периоды его жизни. Разве это не пламя грело его ребенком в ночи, на пастбище, среди пугающей тьмы, где жили страхи и вурдалаки? У костра лежал он повстанцем-юношей, отдыхая после кровавых стычек на опушке, где стволы казались вражьим отрядом. И теперь, в новых боях с жизнью, глядит он на танец тепла осенней ночью средь города, еще не известного, не побежденного, где кроются, может быть, бо́льшие опасности, чем плоды детской фантазии и военные враги. Но в ответ им шумел его внутренний огонь, та непобедимая сила жизни, которая гаснет только с последним дыханием человека, тот волшебный светоч человеческого порыва, который рисует на экране будущего свое величие и зовет пророческим голосом в новые и новые походы за золотым, хотя и бараньим руном.

Убаюканный воспоминаниями и теплынью, он ощущал мощное единство своей жизни, радостно узнавая себя ребенком, отроком, подростком и юношей. Из этого сознания в душе его оживала какая-то заснувшая часть, покинутая область, где жизнь уже собрала свою жатву. Эти ощущения заставляли его трепетать, ибо впереди он яснее чувствовал еще одну вечность—сестру той, откуда вышел, ту, куда должен был в конце концов войти. И в чудном состоянии восторгов и печали, отказываясь думать и знать, забывая про вчера и завтра, юноша полетел бесконечной мечтой туда, где не было ничего реального, даже возможного, где образы блед-

цели в угасании перегоревших огоньков. Оставив у печки белье, он лег и уснул, полный скорби и жажды жизни.

На другой день Степан решил посетить лекторское бюро, чтоб взять еще кружок где-нибудь в учреждении, ибо полученных за рассказ денег ему не хватит для исполнения задуманного плана. У него было свободное время, которое лучше было бы использовать для укрепления союза между городом и селом в государственном и личном понимании. О, этот союз! Он часто о нем вспоминал, понимая, как трудно сомкнуть его в собственном «я». Город казался ему могучим центром, солнцем, вокруг которого крохотными планетами кружатся села—вечные спутники его движения, и частички их, попавшие в раскаленную атмосферу этого солнца, должны приспособляться к новым условиям давления. Этот болезненный процесс он переживал почти незаметно, увлеченный слепым стремлением вверх, возбужденный, как пьяный, который перестает замечать грязь и недостатки на теле. Ибо город своим размахом и шумом волнует человека неизмеримо острей, чем лоно природы нежностью небосклонов и хаотической игрой стихий, призванных сюда строить новую природу—ловкую и более доскональную.

Степан был уверен, что получит кружок, ибо лектором он считался блестящим. И действительно, секретарь бюро принял его очень любезно и выразил свое глубокое удовольствие при виде его элегантного костюма.

— Вы понимаете,—сказал он,—что пока украинцы не научатся хорошо одеваться, они не будут настоящей нацией. А для этого нужен вкус.

— И деньги,—добавил Степан.

— У человека со вкусом деньги всегда бывают.

Что касается кружков, то свободными были только вечерние лекции для ответственных работников Кожтреста. Хотя ответственные работники, конечно, имеют такие же мощные предубежденья против украинизации, как и их ставки, молодой человек согласился их просвещать.

Во всеоружии знания и опыта явился Степан Радченко в приемную Кожтреста, превращенную в лекционный зал. Вступительное слово он провел в широком масштабе, начав с объяснения явления языка вообще, уверенно и ясно ведя слушателей, как Виргилий вел Данте адскими кругами прямо к центру, где сидел сам Вельзевул—язык украинский.

С радостью видя, что привлек внимание слушателей, и в моменты остановок чувствуя, как ждут они следующей фразы, то напряженное молчание, которое лучше аплодисментов придает оратору уверенность, он начал осматривать аудиторию, силясь в лицах присутствующих прочесть будущее здешней своей работы. И случайно встретил глаза, глядевшие на него бесцеремонно и бесстыдно, глаза, взгляд которых был ему противен и чуть ли не страшен. И как он забыл, что Максим—бухгалтер Кожтреста? Неужто им придется встречаться? Безусловно, это—случай, но случай странный, неприятный, как намеренная хитрость, ибо щеки его сразу покраснели, будто на них вновь проступило не стертое оскорбление.

Продолжая говорить, Степан перебирал неприятные воспоминания, которые не мог зачеркнуть, которые при всей их отвратительности оставались частицами его жизни, были глубоко болезненны для него и глубоко близки. Почему человек не имеет силы и возможности исправлять совершившиеся события? Может быть, потому, что не в силах избегнуть их в будущем? Эта

пессимистическая мысль занимала его все время, пока он бодро проводил лекцию, но, окончив, Степан сразу почувствовал усталость от долгого напряжения голоса и тайного волнения. Пришлось отвечать на вопросы о пособиях, тетрадках и программах, на детские вопросы взрослых, ставших школьниками, и ушел он с грустной мыслью, что должен сюда вернуться. Ох, эта Зоська! Если бы не она, ему не нужно было бы столько денег и, конечно, он не читал бы тут лекций и не должен был бы встретиться с тем, кто дал ему пощечину. Эта девушка только расстраивает ему нервы! Идя безлюдными улицами, в осенней тишине города, взволнованный глухим гулом трамваев, юноша думал то о любви, то об оскорбленной чести, и хотя считал и то и другое предрассудком, должен был сознаться в том, что оба эти чувства чрезвычайно цепки.

Вдруг кто-то догнал его, взял под руку, и в тусклом свете фонарей он узнал Максима.

— Извините, уважаемый учитель,—сказал он, низко кланяясь,—я хотел поблагодарить вас за науку.

— Я еще ничему вас не научил,—ответил Степан.

Максим засмеялся.

— Естественно, я научился сам, но все же... спасибо вам!

Они шли некоторое время молча, и Степан внезапно уловил в дыхании своего спутника явственный запах алкоголя.

— Вы пьяны?—спросил он.

— А вы трезвы?—ответил Максим вопросом.

— Совершенно.

— Напрасно. Как сказано: веселие Руси есть пити.

И, внезапно хлопнув Степана по плечу, он с босяцкой откровенностью рассказал, что пьет часто и много, что пить весело, что пьяных больше любят девушки,

надеясь на лучшую плату, но, конечно, весьма ошибаются.

— А вы еще говорите, что ничему меня не научили!

Он произнес эти слова, притворяясь обиженным, но Степану такие шутки были неприятны.

— Я в этом не виноват,—грубо ответил он.

— Нет, но как же?.. Я ж коллекции марок собирал! Я маме подарки делал.—Максим засмеялся и побежденно добавил:—Не верьте Иосифам, которые убегают от жен, сидят за книжками и любят мам! Они такие тихие и скромные, но... но... правая рука у них не чиста!

И когда он сказал это, страшное отвращение к его присутствию охватило Степана. Это было то самое чувство физического отвращения, которое он почувствовал тогда, когда увидел Максима в отдельном кабинете. Забыв про спутника, он стал думать о себе. Кому нужна их встреча? Сейчас она произошла случайно, как и когда-то, но разве прошлое не имеет права на забвенье? Неужели все плохое, собираясь в жизни, оставляет в человеке неизгладимый след, невыводимое клеймо, которое еще может когда-нибудь причинить боль?

Все можно забыть, говорил он себе, но забыть это изменчивое, поверхностное, ибо и сейчас беспрерывно вставали перед ним воспоминания о неправдах, которые он совершил в своей жизни. Их было достаточно, но все какие-то случайные, и он ни в одном из случаев не мог принять на себя вину. Почему же они неприятны?

— Вы слушаете?—спросил Максим.

— Слушаю,—ответил юноша.

И бухгалтер вновь подхватил свой рассказ, или, вернее, болтовню, которая казалась просто небылицею, так как Степан не обратил внимание на ее начало. Он увлеченно рассказывал про случаи своей жизни, про частые кутежи с женщинами. Он описывал их с пьяным красно-

речием. Внезапно он оборвал свои описания, будто что-то вспомнил, и, изменив голос с разгульного на таинственный, шепнул Степану:

— Идемте в лото. Чудесная игра, ей-богу!

— Я спешу домой,—сказал Степан.

— Успеете. Не убежит. Ну, ради меня!

И решительно потянул юношу в сторону под арку, где одна за другой загорались и разом гасли буквы, складывая надпись: «Электрическое лото». На пороге юношу охватило тоскливое предчувствие, которое возникает в человеке моментально и без причины, придавливая тяжестью страха все попытки рассеяться. Конечно, он мог бы отвязаться от Максима, но какое-то непоборимое любопытство задерживало его и вело вперед, несмотря на глубокое отвращение.

Миновав тихий коридор с седым швейцаром, они вошли в большой, залитый светом зал, где за рядами столов сидели согнувшиеся настороженные люди, женщины и мужчины, а по узким проходам меж рядами стульев неслышно сновали служащие, молча меняя карты для игры. Над этой тишиной напряженных ожиданий как высшее объявление, как приговор верховного судьи, выдерживая мерные паузы, и с металлической ясностью, подчеркивая однообразные слова, которые то окрыляли надеждой, то разочаровывали, холодно, резко и безучастно возглашал кричащий:

— Сорок один. Двадцать. Тридцать четыре.

И после каждого выкрика номера на огромной доске одна за другой загорались названные цифры, сплетая беспорядочный узор светлых пятен.

Максим остановился на пороге у столика, где меняли деньги на условные марки, и Степан вопросительно на него посмотрел, уверенный, что бухгалтер хочет повеселиться на его счет. Но тот шепнул ему:

— Вон там в углу, справа.

Юноша перевел глаза в ту сторону и увидел около стола женщину, одутловатую и заспанную, в синем, хорошо знакомом ему платье, которое теперь еле сдерживало полноту ее пухлого тела. Склонив голову, она сосредоточенно глядела на карточки, поэтому лица ее он не мог видеть, но по фигуре ее, по мертвенному вниманию понял, что этот стул стал ей единственным и родным, что в этот зал она принесла все остатки своей жажды.

«Это она? Она?»—думал он, тоскуя над разрушением.

И неожиданно после очередного выкрика родилась тень старой любовницы, сразу подпрыгнула и сдавленным голосом, будто сквозь сжатые над добычей зубы, крикнула в зал:

— Довольно! Кончила!

— Двенадцать, кончила,—бездушно оповестил кричащий.

И все кругом зашумело шелестящим движением и гомоном, будто заколдованные в сказке фигуры сразу проснулись от волшебного сна под действием волшебного слова. Проверяли выигрыш.

— Всегда выигрывает!—злобно сказал Максим.

Голос его, грубый и жадный, не сравнимый с нежностью прежних слов, взволновал душу Степана. Но в зале вновь родилась тишина, вновь все замерло, будто все воспоминания ушли в чудесный сон. Он почувствовал себя свободным, далеким и высшим. Повернувшись, он вышел из зала, и Максим догнал его уже у выхода.

— Вы позволите мне не посещать ваших лекций?— спросил он, когда они вышли на улицу.

В его трезвом уже и резком голосе зазвенела прежняя ненависть.

— Пожалуйста.

Они раскланялись, и Максим ушел первый, исчезнув во мгле. Степану казалось, что все случившееся—сон, неприятная игра воображения. Силясь воспринять виденное как действительность и хорошенько его обдумать, он раздраженно сел в трамвай, хмуро глядя на темные тени домов, которые, казалось, плыли мимо окон вагона.

Дома вспомнил, что не ужинал, но выходить уж не хотелось. Заранее зная, что ничего съестного не найдет, он порылся со скуки в ящиках и закурив начал беззаботно переворачивать тетради и записи. Одна страница неожиданно привлекла его внимание. Он раскрыл ее, заинтересовался и прочел:

«Сегодня решил начать дневник. Есть минуты, которые нужно отметить. Мои рассказы напечатаны!!. Хочется крикнуть—напечатаны!! И вижу—ровный путь передо мной. Я иду—нет, лечу! Так свободно, тепло, радостно. Целую этот день».

Он бросил папиросу, собираясь порвать страницу. После, найдя карандаш, большими черными буквами начертил поперек страницы одно слово: «идиот».

V

Чем дальше, тем больше начинал волновать Степана Радченко вопрос об его рассказах. Пора было получить из журнала ответ, но редакция молчала. И стереотипная надпись на обложках, гласившая, что по поводу неодобренных рукописей редакция не переписывается, вставала в его глазах гнетущим фактом. В этих строчках звенел похоронный марш его дерзким надеждам, которые сразу обхватили его и бросили в неизвестное темное русло, в водоворот. С каждым днем

росло в его сердце сомнение в себе. Душа его болела, но инстинкт самосохранения уверял его, что болит не душа, а тяжело ему оттого, что жизнь его течет неправильно.

Ему пришло в голову, что питание в Нарпите недостаточно полезно для его организма, и он перешел в частную столовую; потом стало казаться, что он мало бывает на воздухе, и он стал гулять днем, не обращая внимания на грязь и непогоду. Получив легкий насморк и бронхит, Степан страшно перепугался и старательно рассматривал мокрый от мокроты платок, ища на нем следы туберкулезной крови. И хоть никогда не находил ни одной капельки, страх за свое здоровье не давал ему покоя. Трогая свои бицепсы, находил в них утрату прежней упругости, вялость, неохоту двигаться. И правда, подчас от этих внимательных обследований тело его мякло, млело, услужливо давая доказательства бессилия, и тогда Степана охватывала печаль и недовольство собой.

И вот как-то, составляя план ближайшей лекции, он начал просматривать «Fata morgana» Коцюбинского, выбирая отрывок для переложения. С педагогической рассеянностью переворачивая страницы, юноша незаметно заинтересовался и начал внимательнее вглядываться в отдельные строчки. Печальная гармония образов увлекла его, слова, загораясь новым смыслом, распахнули пред ним беспредельные перспективы новых гармонических сочетаний и внезапно загорелись множеством двигающихся светлячков, скользивших и гаснувших в белых полях страниц. Он сидел, прикованный к фосфоричным страницам, тонкое пламя которых оставляло в его груди болезненный след.

Никогда не читал он так жадно и не ощущал такого глубокого слияния с прочитанным. В книге, для него

не новой, он нашел новое пьянящее очарование величием творчества, мощностью резца и насыщенностью красок. Веки его поднимались и пальцы двигались по столу, а окончив, Степан почувствовал муку, муку жаждущего, который, хлебнув глоток воды, только раздразнил жажду. Огромное произведение, которое складывалось перед его глазами по кирпичу, придавило его своей громадой. Уронив голову на руки, слушал он затихающее эхо строк, как далекую песню. И оттуда, из той дали, из пустоты, которая из тишины родилась, повеяло на него мертвящим холодом.

— Никогда, никогда я не напишу ничего подобного,—шептал он горько.

Теперь он понял бессмысленность своих грез. Писатель! Кто коварно подсказал ему это название? Откуда взялась у него сумасшедшая уверенность, так долго манившая его? Теперь он видел всю необоснованность своих грез. Мало ли что захочется каждому! Мало ли что ни мечтается, но только идиоты гонятся за мечтами! Он казак, скачущий на палочке вместо коня! Глупец, безнадежный глупец! И ради грез забросить науку, институт, свести к нулю годы тяжелой работы, выношенные планы, обязанности наконец! Перед кем? Хотя бы перед собою!

Не понимая теперь, как все это могло произойти, Степан перебирал причины своего падения. Выгорский! Вот кто сбил его с толку, вот кто послал в журнал его рассказы! И кто его просил? Проклятый искуситель! И вместе с тем теплая благодарность просыпалась к суровому критику, который прогнал его из дому, даже не выслушав.

Правда, его рассказы были напечатаны, но что из этого следует? Каждый может случайно написать пустяк. Разве мало мелькает в журналах случайных имен,

чтобы никогда не появиться снова. А может быть, он и будет писать, но писать вещи, которые исчезают безвозвратно, создавая собою среду, где развиваются и работают настоящие мастера. Чтоб стать ими, нужна вера, нужно чувствовать свою творческую силу, как чувствуешь физическую. Разве знают они неверие? Но быть фоном для чужого блеска—этого он не хотел. Даже голову сжал при мысли, что может стать лестницей, по которой будут подыматься другие.

Затем почувствовал усталость и жалость к себе. Бедный парень! За что он страдает! Ну, ошибся, увлекся! Он молод, это так естественно. А теперь—конец. Но что делать? Степан поднялся, вытягивая онемевшие руки. Сколько он сидел? Час, два? Медленно надел он пальто и вышел на улицу.

Ноябрь. Осень переходит в стадию старческого маразма, дни ее сочтены, слезы выплаканы перед неминуемым концом. Она стала тихой и холодной, нахмуренной и спокойной в ожидании снежной метели, и каменные звуки города глуше звенели в этой предсмертной пустоте. Чувствуя облегчение на воздухе, готовый бежать из душивших его стен, Степан надвинул на лоб шапку и незаметно дошел до Сенного базара, вышел на Большую Подвальную и остановился около решеток Золотоворотского сквера, где уснувший фонтан возвышался среди бассейна, полного мертвых листьев и зеленой воды дождей.

Никого. И ему захотелось войти в сквер, блуждать тропинками, ступать ногой по шелестящей листве. Там, в углу, он порвал когда-то рассказ. И это воспоминание стало ему близким и дорогим.

Потом двинулся дальше в печальном спокойствии и с желанием заснуть. В тишине подошел к Владимирскому собору. Странное волнение просыпалось в нем.

Институт был по соседству. Разве зайти? Со жгучим интересом, будто собираясь увидеть что-то запретное, вошел он в широкие двери институтского подъезда. Открывались они туго, сжатые мощной пружиной, и от усилия воскресло воспоминание о прошлом.

Но попав в длинные коридоры, темноватые и душные после улицы, по которым двигались взад и вперед, вверх и вниз по лестнице десятки фигур, слышался гомон голосов, омывая жилы дома, он почувствовал в душе холодок. Надвинув шапку еще ниже, боясь быть узнанным, он подошел к стеклянным дверям аудитории. Шла лекция. Он смотрел на скамьи, густо усеянные молодежью, на лектора, хорошо знакомого, замечал то там, то сям движения внимания. И никакого волнения и боли в нем не проснулось, и мучившее его раскаяние заглохло от чувства отчужденности.

Степан отошел и осмотрелся глазами бурлака, пришедшего домой после бесконечных блужданий. И не нашел ничего родного. Все стало до того чужим и далеким от воспоминаний, что даже не стоило сожалений. Встретившись с пережитым, он понял, что вернуться к нему не может, что эти стены для него навсегда чужие и шум этот не позовет к себе и не разбудит.

Вышел он с тем же самым тоскливым чувством, с каким впервые вступал на землю города; увидел запутанные узоры улиц, где можно бродить часами, блуждать до слез и изнеможения по голым камням, которые обозначал горизонт зубчатыми чертами; ощутил те невидимые стены, которые стали пред ним на границе степей, и опустил обессиленный взгляд, желая примирения.

Вечером пришла Зоська. Он схватил ее за руку и стал молча целовать.

Она удивилась:

— Что с тобой, божественный?

— Зоська,—сказал он,—ты единственная, у меня никого больше нет.

Она вздохнула:

— Ах, какой ты лгунишка!

— Никого,—продолжал он.—Ни родных, ни знакомых. Я один-одинешенек в целом городе, и сегодня я себя чувствую так, будто я здесь первый день. Тяжело мне.

— Ему тяжело,—усмехнулась Зоська спокойно.

— Не смейся,—ответил он печально.—Ты не знаешь, что я думаю и как я мучаюсь.

— Он мучается.

Юноша вздохнул и отчаянно прошептал:

— Я больше не могу! Зачем? Разве это любовь? Мне опротивело кино. Нудно мне от этих картин. Я хочу быть возле тебя. Вдвоем, только вдвоем! Не бойся,—прибавил он горько,—я тебе ничего не сделаю. Мне не нужно этого, я и так тебя люблю. Ты же не знаешь меня, совсем не знаешь. Это глупость—вот так, как мы. Мне будет легче, если ты хоть на час будешь только со мною. Мне хочется сесть возле тебя и все рассказать...

— А мне до этого какое дело?

— Не говори так, ты так не думаешь,—просил он.— Я не могу сейчас шутить. Дело серьезное—понимаешь? Серьезное! Зоська, придумай что-нибудь, потому что я ничего не могу придумать. Ну, быстрей!

Зоська задумалась. Потом воскликнула:

— Придумала!

— Говори.

Она кратко изложила свой хитрый план. У нее есть

подруга, которая служит в Церабкоопе. Комната пуста до четырех часов. Понятно? Допустим, она хочет готовиться к испытаниям в вуз, а дома негде заниматься с репетитором.

— Зоська,—воскликнул он увлеченно,—ты гений! Так бы зацеловал тебя!

— Правда?—Она таинственно добавила:—Идем на Шевченковский, там темно, и мы поцелуемся.

Домой он пришел совсем спокойный. Зоськин план ему ужасно нравился. В дневных встречах с девушкой, такой любимой и дорогой, встречах тайных, где-то в чужой комнате, он ощущал сугубо-городскую романтику. Мысли о них льстили его самолюбию и пели в душе, как сладкая песнь.

В такие минуты душевного затишья у него, как хорошего хозяина, появлялась потребность убрать свою комнату, вынести сор, пересмотреть белье. Малейший беспорядок нервировал его. Закончив уборку, Степан сложил книги ровными стопками, вытер грязь, застлал стол белой бумагой и сел отдыхать от работы.

И думал: в молодости естественны мечты о славе, хотя из тысячи достигает славы один. Если бы юноше сейчас показать его дальнейшую судьбу, он бы перестал тосковать, все послал бы к чертям и пошел бы в бродяги. Выходит, что обманы нужны!

Он отдыхал и тешился мудростью своих размышлений. Надо жить, как все живут. Простой, обычной жизнью. Завести знакомых, ходить в гости, развлекаться, читать газеты и переводные романы. Что еще? В конце концов он устроился лучше других. Лекции дают ему кусок хлеба. Украинизация будет продолжаться еще года два-три, потом он поступит на службу. Он будет учительствовать тут в городе, а это сделать легче все-

го, нужно только углублять знание языка, становиться настоящим спецом. Он курил и в тучах дыма видел свою спокойную будущность.

VI

Через два дня Степан впервые пошел на дневное свидание с Зоськой. Войдя в небольшую комнату, наполненную специфическим запахом женщины—пудры и одеколона, он невольно заволновался. Но вдохнув этот хмельной воздух, почувствовал себя легким и бодрым. Быстро оглядев комнату, он увидел и Зоську, фигура которой исчезла за газетой. Она делала вид, будто читает и не слышит его шагов. Только две ножки, обутые в тонкие туфельки, свисали от колен вниз из-под края темного платья.

— Панна Зося,—молвил он важным басом,—пожалуйте заниматься.

Она молчала. Тогда Степан вырвал из рук газету.

— Осторожней!—воскликнула она.

Он на мгновенье остановился, увидев ее в одном платье, без шляпы и пальто.

— Чего ты смотришь?—спросила она.—Где же книжки?

Он опустился к ее ногам, обвив ей колени.

— Зоська... это ты?..—шептал он.—Зоська, ты моя?..

Немного погодя, Зоська говорила печально:

— Ты быстро просветил меня, божественный.

Он был счастлив. Хотелось шутить.

— Да что же тут учить?—ответил он.

— Ты испортил меня,—говорила она.—Теперь я пропащая.

— Сама виновата,—сказал он.—Зачем было закрываться газетой?

Зоська махнула рукой.

— А все равно! Ты что хотел рассказать мне?

— Я?

— Ты же говорил, что сядешь около меня и расскажешь.

Он вспомнил.

— Это ерунда! Впрочем, расскажу, если хочешь.— Ей-богу, пустяки! В прошлом году я был студентом...

— Знаю,—сказала Зоська.

— Разве? По глупости начал писать рассказы...

— Знаю.

— Откуда?—удивился Степан.

— Ты ж читал в институте. На вечере.

— Неужто ты была?

— Я и цветок тебе бросила. Только ты не поднял.

— Это ты?!. Дорогая!

Он обнял ее, утопив в поцелуях окончанье рассказа.

Расставаясь с Зоськой, он думал: «Сама судьба свела нас. Это чудно».

Встречались они дважды в неделю: в среду и пятницу. Кроме того, по отдельному условию, должны были ходить в кино, на выставки и в театры.

Вернувшись, юноша получил необычайной формы конверт и прочел, что сборник его принят, Главлитом разрешен, гонорар причитается в размере трехсот пятидесяти рублей, и договор для подписания прилагается.

Степан прочел его и кинул на стол. Ведь собрался он избавиться от писательства,—так нет, само привязывается!

«Снова морока»,—подумал он.

VII

Литературная жизнь начинается там, где есть люди, умеющие все время говорить о литературе. Конечно, не о литературе как таковой, а о мелочах быта писателя, профессиональной стороне.

Литература складывается из творчества, литературная жизнь—из разговоров литераторов. И на их устах каждый факт жизни волшебно становится литературным фактом, анекдот—литературным анекдотом. Калоши—литературными калошами, как будто все члены его тела имеют волшебную власть придавать своим вещам ощущение литературной ценности. Легенды о богоравных певцах, которые получали за песни ласку деспотов, царевен и состояние, нигде так мощно не звучат, как в сознании писателей, готовых без жалости глаголом сжечь сердца людей. И наплевать, что сердца эти под влиянием библиотек становятся с каждым разом огнеупорнее: писатели упрямо живут надеждой на свою избранность, на исключительное отношение к себе, на исключительные функции свои, оживляя в пережитках прошлого корень творческого порыва. И хотя как ни нудна и ни надоедлива эта бесконечная лента литературных новостей—кто что пишет, кто что думает, кто что про кого сказал, кто кого собирается ругать или хвалить, куда кто едет отдыхать и сколько зарабатывает,—от шуршания всего этого возникает родной дух настоящей, не кустарной литературы, дух скрытого соревнования, и в контуре этой ленты и лежит та среда, где литературные вояки собираются и курят трубки мира перед дальнейшим походом.

К этой литературной жизни начал причащаться и молодой писатель Стефан Радченко, чуть ли не каждый день посещая редакцию журнала, где на скамьях и

стульях собирались около двенадцати часов известные, мало известные и совсем неизвестные литераторы. Побыв час, полтора в их обществе, уходил удовлетворенный, хотя все время молчал, не имея нужного запаса злободневных знаний и будучи новичком, чтобы иметь право высказаться. Известно, что самые умные мысли вызывают недоверие, если говорит их лицо неизвестное, а с известных уст и глупости собирают хвалу; так же и здесь, как и везде, нужно было заработать право на внимание или качеством своей работы или хотя бы постоянным присутствием. И Степан с удовольствием отбывал свой литературный стаж.

«Что ж,—думал он,—если выходит так, что писательство выпало мне на долю, если инстинктивно я уже сделал столько шагов, что останавливаться стыдно, то должен и дальше итти, связываясь с теми, среди которых придется работать, показывать себя, напоминать о себе, вплетаться в цепь литературных знакомств как литературой особе».

Вначале в новом товариществе он чувствовал себя неприятно, потому что никто не обращал на него внимания, иногда не хватало ему места, и слышанные разговоры увлекали его своей недоступностью, но чем больше он там бывал, тем быстрей со всем познакомился; познакомился с личными достоинствами тех, кого приходилось встречать, достоинствами часто не великими, не пропорциональными свободе их поведения, и с радостью замечал, что среди них он не последний. Он с нетерпением ждал выхода сборника, ибо только он мог дать ему настоящий литературный паспорт, вместо временного удостоверения журнальных рассказов.

Вначале его просто терпели, потом привыкли, наконец он приобрел симпатии своим простодушием, и входя мог уже услышать приязненный голос:

— А, вот и Радченко!

Это радовало его невыразимо. Как-никак, а он, выходит, добыл себе в литературе краешек, хоть уголок места для сиденья! И как-то осмелившись, во время спора, в минуту тишины, краснея, пробормотал:

— Мне так тоже кажется.

Было неизвестно, что такое ему так кажется и какую сторону он хотел поддержать, но мысль свою выразил и был горд целый день,—он принял участие в литературном споре.

Больше всего интересовали его, конечно, литературные группировки. Каждая из них имела своё название и вывеску и казалась юноше чем-то вроде коллектива для сбыта продукции своих членов. Ему очень нравилось, что члены каждой компании старательно защищают, выдвигают, вытягивают друг друга, а противников безжалостно топят. Да и сам Степан нуждался в точке опоры. Присматриваясь к людям, прислушиваясь к мыслям, он отбросил те группы, что не подходили к идеям и настроениям, а из мало-мальски подходящих не спешил выбрать, ожидая выхода книги, чтоб не войти в нее незаметным. Приятели ведут за собой врагов, вещь известная. Но познакомиться с внутренней жизнью группировок, своими глазами увидеть те условия, в которые будешь поставлен, было не так легко, потому что в обстановке междоусобных войн собрания происходили закрыто, и терпеть присутствие постороннего на заседаниях, где обсуждались планы нападений и дислокация вражьих сил, они, конечно, не могли.

С первым снегом в город вернулся поэт Выгорский. Встретились они старыми приятелями.

— Ну, пойдем,—сказал поэт.

— Куда?

— Пиво пить.

Они зашли в полутемное днем помещение, со множеством свободных стульев и столиков у стен и посреди комнаты. Пахло не выветривающимся запахом пива и вымытым полом.

— Это моя любимая пивная,—сказал поэт.—Пару пива!

— Тошно здесь как-то,—сказал, садясь, Степан.

Он с интересом смотрел на стойку со съестным, на плохонького хозяина в пиджачной паре и сапогах, на плакаты пивоваренных товариществ на стенах и на сочный рисунок свежего рака перед собой.

— А я люблю пивную днем,—говорил поэт.—Люблю затхлый воздух, где остался запах сотен людей, люблю эту сырость пролитых напитков. И тишину. Чудное настроение овладевает мной. Я лучше вижу. Если хотите знать—обдумываю здесь свои стихи.

Он выпил.

— Я скучал по Киеву. Подъезжая, стоял у окна вагона и смотрел—широко он раскинулся по горам, как огромный краб. И дома кажутся картонными. Великий, Волшебный! Когда вышел из вагона, когда почувствовал под ногами его почву, когда увидел себя в нем—я задрожал. Это глупость, конечно. Но где вы найдете такой простор, такую могучую ширину улиц? И на каждом шагу—воспоминание: ступаешь ногами по следам предков. Вчера я обошел его, осмотрел все знакомые уголки. И вижу—все, как будто ждало меня. Мне кажется иногда, что к человеку нельзя так привыкнуть, как к мертвой вещи. Сколько из нас любило десятки женщин, перебрало еще больше друзей, а котлеты любят всю жизнь! Я был в Лавре, даже в пещеры ходил. Но как там все переменилось. В двадцать втором и двадцать третьем году одни крестьянки приходили на

богомолье, а вчера я увидел массу интеллигентов! Даже мужчины встречались. Я думал: они знают сладость молитвы, глубокое наслаждение в соединении со своим божеством. А мы? В конце концов все наши аэропланы, радио и удушливые газы—никчемная мелочь перед потерянной надеждой на рай. Откровенно говоря, я завидовал им. Слушайте, вы думали о страшном противоречии человека, которому известна бессмысленность своего прошлого существования, а уничтожить его нельзя? Я боюсь, не стоим ли мы перед возрождением веры.

— Ну, нет,—ответил Степан.—Я скажу о селе—молодежь совсем не религиозная.

— Может быть, не спорю. Я знаю только, что общественные проблемы потеряли свой вкус. Мы устали от общественного.

— Да, но наука все-таки растет,—добавил Степан.

— Наука растет уже тысячу лет. Поймите, что опыт веков только фон, на котором всякий показывает свои фокусы. Еще пару пива!

Он расстегнул пальто, и юноша увидел на нем ту самую бархатную рубашку, повязанную той самой кистью, которую он видел на нем весною, когда они впервые встретились в канцелярии Жилсоюза. Длинное лицо поэта стало нервным и подвижным, будто всеми своими мускулами, скрытыми под кожей, производило оно напряженную работу. И Степан, подогретый бутылкой пива, слушал поэта с интересом.

— Пейте,—сказал поэт.—Ничто так не возбуждает способность думать, как пиво. Наука! Это—ноль, пустой, раздутый ноль! Тысячи лет она ширится, ширится и не может научить людей жить. Какая же от нее польза? Вы скажете—революция. Согласен! Человечество линяет, как змея, только сбрасывает духовную шкуру

с большими муками, чем змея физическую. Линяя человечество сочится кровью. Эволюция! Согласен, что она есть, но пользы от нее нет. Наибольшая ошибка принимать неизбежное за бесцельное. Человек—мясо. Сумма счастья движения не увеличивает, вот в чем дело. А может быть я свои грязные ногти ощущаю острей, чем так называемый дикарь целую грязную руку?— медленно выпил стакан и размечтался:—Вот почему я всегда говорил, что поучать людей—мелкое мошенничество. А еще преступнее быть сеятелем идеалов.

— Идеалов?

— Да, да, их самых! Человечество, как и женщина, любит слышать комплименты в виде идеалов. Проклятий в мире много, ибо много идеалистов. Кто же за ними пошел бы, если бы они его не ругали. А идеалы похожи на пищу: пока во рту, имеют различный вкус, но желудок их уравнивает. Катаральный желудок истории, как сказал один поэт, с прекрасным пищеварением.

Он замолк и склонился над бутылкой. Степан закурил, с наслаждением пуская дым в сумрак комнаты. Действительно, тут было тихо и спокойно.

«А он умен»,—подумал юноша о поэте.

— Еще пару пива!—крикнул тот.

— Я больше не хочу,—сказал Степан.—Закури.

— Выпьете! Такой здоровый парень, да чтоб трех бутылок не поборол! Пожалуйста! Вот про идейность. Она всегда была модной и почетной. Но тех, кто живет только идеей, для кого весь свет открылся в ней, мы отправляем в сумасшедший дом. Где же логика?

— Это сумасшедших?

— Так их называют.

— На земле никто ни перед кем не виноват. Но виноватые есть, ибо должна быть ответственность. Об-

ратите внимание, что животные бывают только бешеными. Сумасшествие—нераздельная привилегия человека. Показатель пути, которым он идет. Призрак его будущего.

Часы пробили два. Поэт вздрогнул.

— Мир погибнет из-за распыления тепловой энергии,—сказал он.—Она равно разделится. Все уравновесится и сотрется. Все остановится. Это будет чудесное зрелище, которого никто не увидит.

Степан после третьей бутылки почувствовал на душе печаль, будто мир должен погибнуть через несколько дней. Тем временем часы напоминали ему о лекции в учреждении.

— Идемте,—сказал он, вставая.

— Идемте. Кто угощает? Вы? Кстати у меня мало денег.

Степан расплатился.

Дела его поправились. Неделю назад он получил авансом пятьдесят процентов гонорара за сборник, купил себе фетровую шляпу, заказал чудесный английский костюм и ждал его, чтобы поразить Зоську. Да и сам он с каждым днем все больше обращал внимания на одежду, как на художественное оформление своего тела. Любя его, чувствуя его силу и стройность, он не мог не интересоваться одеждой, которая выявляла красивые формы. Одежда стала для него вопросом формальным, вопросом вкуса и даже впечатления; он великолепно понимал разницу между человеком в потертой рубашке и человеком в добротном пиджаке. Это, конечно, простая условность, но нужно иметь большую силу воли, чтобы не замечать неприглядность одежды.

Когда костюм был сшит, юношу охватило желание сделать Зоське подарок. Чувство к ней вкоренилось в нем, и часто, совсем неожиданно, дома или на лекции,

ее образ неслышно проходил перед ним, легкий и смеющийся. Зоська! Какое чудесное имя! Произносить его было наслаждением, в нем звенел отзвук ласк, сладких поцелуев, которые горели у него на устах, глазах и груди. Он чувствовал ту особую, сугубо-мужскую благодарность, которая придает любви чувство тайного союзничества. И сама она, подступив к темным источникам страсти, срывая с дерева познания вечно свежие плоды, стала уравновешенной, близкой, утратила резкость прежних дней и только порой увядала от приступов непонятной печали.

Тогда она смотрела на него глазами, будившими в нем непонятную тревогу, будто взгляд ее проникал в тайники его сердца. Она лежала, заложив под голову руки, далекая, отчужденная, и молчала. Потом оживала снова.

— Может быть, тебе дома плохо?—спрашивал он.

— Плохо. Но это мелочь.

Отец ее, мелкий служащий, получал слишком мало, чтобы их домашняя жизнь могла быть терпимой. А ей самой никак не удавалось устроиться. Степан старался развлечь ее, как мог. Приносил шоколад, конфеты, цветы, иллюстрированные журналы, которые они вместе просматривали. А теперь хотел сделать подарок. Что именно? Перебрав в уме целый ряд предметов, он остановился на духах, потому что любил их сам.

В парфюмерном магазине он попросил хорошие духи.

— Вам «Коти»?

— Наилучших.

— «Пари»? «Лориган»? «Шипр»?

— Лориган,—сказал он, потому что это название ему нравилось больше других.

Он заплатил пятнадцать рублей за крошечный флакон,

чик, но был доволен. Ибо знал, что духи хорошие, если за эти деньги дают их так мало.

В пятницу, одевшись в новый костюм, он весело явился на свидание.

— Зоська,—сказал он,—вот, что я тебе купил.

— «Коти»!—воскликнула она, как ребенок, получив неожиданную игрушку.

— Это самые дорогие духи,—сказал он.—Очень рад, что тебе нравятся. А на мне новый костюм.

— Неужели? Встань. Повернись. Божественно!

— Подожди,—сказал он, радуясь впечатлению от подарка и костюма.

Он взял флакончик, бережно открыл его, разорвав тонкую пленку на стеклянной пробке, и в порыве нежности начал водить ладонью, смоченной желтой жидкостью, по ее шее, рукам и лицу. Она покорно замерла, как куколка, вздрагивая от холодного прикосновения его руки и ощущения пахучих следов на трепещущем теле.

— Довольно, довольно,—взволнованно шептала она.

— Нет, еще ноги.

Душистая волна медленно распространялась в воздухе, вздымаясь вокруг Зоськиной фигуры невидным сиянием. Тонкий аромат перерождал комнату, превращал ее из обыденного приюта людей в сказочное жилище любовников, вызывал мечту о цветущих лесах, будто сквозь невидные поры стен сюда проникло волшебство секретных масел, эссенций и смол доисторических растений.

Но где обонял он этот дурманящий запах? Почему он так волнует его, так давит сердце? Он вспомнил: так пахло от женщины, стоявшей два года назад перед витриной магазина. И волшебство воспоминаний рассыпалось перед ним, как груда драгоценных камней, сияя

блеском ярких бриллиантов и нахмуренных карбункулов, лаская глаза своими лучами, касаясь ими тела встревоженной дрожью. Вся жизнь прошла перед ним в этой игре света и тени, какая-то неожиданная жизнь, не та, которая должна была быть, а та, которая была.

— Я положу тебе голову на колени,—шепнул он.— Можно?

— Тебе все можно, к сожалению,—ответила она.

Томясь, он прижался лицом к ее надушенным бедрам, обвил их, как мощную поддержку. И почувствовал успокоение. Потом спросил:

— Зоська, ты когда-нибудь любила?

Она гладила его волосы, просовывала в них руку и ворошила.

— Любила,—медленно ответила она.

— Расскажи.

И, не переставая гладить его голову, она рассказала про свою первую любовь. Ей было тогда девятнадцать лет, значит три года тому назад. Она училась на курсах стенографии. Один ученик всегда провожал ее домой. Потом куда-то исчез.

— Но это был чудак,—сказала она.—Он ни разу не поцеловал меня.

— Разве ты хотела?

— Каждой девушке хочется поцелуев, если она любит.

— Почему же ты так долго не хотела меня целовать?

— Ты не любил меня.

— А теперь люблю?

Она отняла свою руку.

— Теперь мне все равно.

Убаюканный, он почувствовал желание говорить, расспрашивать об их чувстве, чтоб понять тайну его за-

рождения. Под влиянием духов и нежности его обволакивало то настроение, которое возбуждает в человеке потребность углубиться и узнать течение жизни.

— А ты меня любишь?

Она задумалась.

— Страшно люблю.

Он прижался к ней в знак благодарности.

— За что?

— У тебя голос хороший,—сказала она.—Закроешь глаза, а он баюкает. И глаза.

«... и глаза,—отозвался в его сердце задумчивый отзвук—... и глаза».

— Еще что?

— Душа у тебя плохая,—неожиданно добавила она.— Совсем плохая.

— Откуда ты знаешь?—спросил он, встрепенувшись.

— Знаю... Но ты нравишься мне! Ты хороший!

— Ты думаешь, что я преступник?

— Ах, если бы ты был преступник! Ты приносил бы мне ковры, как разбойник из песни. А потом бил бы или продал в неволю.

— Зоська,—сказал он, поднимаясь.—Какая ты необычайная! Какое счастье, что я нашел тебя!

— Я сама нашлась,—сказала она.

И они разговаривали, говорили друг другу слова, которые вне любви кажутся банальными и пустыми, слова наивные, бессодержательные, бессмысленные, как карты, побитые до игры, которые в руках каждой пары новых игроков приобретают мощность символов; соединяли их в выкрике и шопоте, старые, как седая земля, но живые, обновленные на влюбленных устах, возрожденные в первичном блеске силой неумирающего чувства. Они сидели, очарованные своей близостью, безграничной преданностью, тихим прикосновением душ,

которые в минуты порывов звенят серебряными звонами весны. И, прощаясь, он долго смотрел на нее, вбирал ее образ, чтобы унести с собою в мечты и сны.

VIII

Сборник Степана вышел в начале января, скорее чем он ожидал. Он почувствовал большое удовлетворение, держа его впервые в руках, подумал, что эта вещь для него дорога и ценна, верный козырь в его руках, но подумал без увлечения, уже привыкнув к факту его близкого появления, ибо не принадлежал к тем, кто стремится методично, шаг за шагом, к намеченной цели и умеет отдыхать на остановках. Желания его были всегда порывистыми, они опаляли его, звали напрямик через трудности, которые могли бы быть облегчены обходами и терпением. И в борьбе неминуемых сомнений он напрасно тратил радости достижения. Душа его была мельницей, мельницей безостановочной, которая мелет спорынью и куколь вместе с хорошим зерном.

На другой день он раскрыл книжку, рассмотрел шрифт, обложку, просмотрел названия рассказов, но перечитывать не решился, чувствуя неловкость перед собой за написанное. Да и стоило ему писать? Ведь он не думал, зачем и для кого он пишет. Какая может быть ценность такой необдуманной работе?

Он показал сборник Зоське, ожидая от нее похвалы и совета.

— Это ты написал?—сказала она.—Такие комики люди! Все они что-то накручивают, накручивают...

— Бросить разве?—спросил он.

— Нет, пиши уж, если начал.

Он и сам это чудесно понимал. Надо писать, раз

начал. Эта книжка превратила его писательство в обязанность, в вынуждение, в честное слово, которое он должен был сдержать. Но вместе с этим оно переставало быть для него простой игрой в славу, способом выдвинуться из массы себе подобных, приобретая в его глазах значение работы слишком ответственной, для того, чтоб позволить себе писать про что угодно и как-нибудь. Почему? Он и сам не мог этого объяснить, не мог проследить того путаного пути, которым прошли его отношения к литературе,—от детской забавы до душевной язвы. Играя, он порезался и случайно перетянул те жилы, по которым сердце гонит кровь. А теперь должен был творить под двойной тяжестью обязанности и ответственности.

Нужно писать. Эта мысль не покидала его ни дома, ни на лекциях, ни в разговорах, ни в редакции. Он курил и обедал с ней, как со своим лучшим другом, как с неотступным врагом. Надо писать! Но о чем? Он выбрал и обдумал несколько сюжетов из жизни повстанцев, такой богатой приключениями, но потом забраковал их, находя в них лукавое повторение того, что уж было написано. Нет, эта область для него исчерпана! Она отошла, стала какой-то призрачной, не пробуждая того интереса, который может захватить, заставить искать и собирать бусы для нового ожерелья. Хотелось писать о том, что видел сейчас, обрабатывать впечатления от города. Здесь, только здесь, та почва, которую он должен вспахать, ибо только тут чувствует то неизвестное, когда, в стремлении понять его, появляются пламя и радость творчества.

Эти впечатления лежали в его душе необработанным плетением, как монтажный материал, который должен быть собран, скреплен в единое стройное произведение. Жизнь дает только глину, которая приобретает форму

под пальцами и дыханием мастера. Он знал это и не мог найти стержня.

Тогда вспомнил про вдохновение и начал ловить его упорно и хитро. Сначала пробовал повлиять на свою совесть, говоря себе, что не писать стыдно: садился к столу, вынимал лист бумаги, открывал чернильницу и брал в руки перо. И ждал. Но всякая мелочь отвлекала его внимание—глаза незаметно останавливались на объявлениях старой газеты, на этикетках папирос, на линиях собственных пальцев, уши прислушивались к гомону и крикам за стеной, а в голове блуждали разрозненные мысли, растворяясь в волнах дыма, который тучей обвивал его и душил запахом горящего табаку.

Тогда он убрал все посторонние предметы, которые отвлекали его, мешая сосредоточиться, выбросил перо, потому что его надо макать, и карандаш, ибо его надо чинить, и завел карандаш выдвигающийся; отодвинул стол от окна, где легкий ветерок обвивал его лицо, и поставил его около печки, в затишьи; затем исправил и электричество; а чтоб избавиться от назойливого шума соседей, стал работать ночью, но с теми же результатами: на бумаге несколько перечеркнутых строчек, множество нарисованных деревьев, домов и рож, а на сердце—горечь и усталость.

Иногда, вернувшись домой, он старался уверить себя в том, что он в чудесном настроении, и, игриво кокетничая сам с собой, говорил:

«Ну, надо что-нибудь написать для заработка! Что-нибудь легенькое и веселое, ну их к чорту, эти серьезные темы! Почему бы не стать юмористом? Вот, например, роскошная тема: учитель проводит на лекции антирелигиозную пропаганду, выбрав жертвой историю с потопом. Разве можно было, говорит он,—вместить

в ковчег всех имеющихся животных, хотя бы по паре? И поражает учеников остротой: даже пара китов не влезет, кит весит тысячу пудов и ударом хвоста перевернул бы всякий ковчег. А ученик—крохотный, с тоненьким голоском: «А зачем кита брать? Он и сам поплывет!» Можно прибавить еще, что учитель сам религиозный и молится богу, прося его простить, перед уходом на лекцию. Или вот что лучше: солидный советский профессор, известный экономист, сочиняет ответ на запрос газеты об его взгляде на развитие хозяйственной жизни Союза; взгляд его ясен и прост, но «нецензурен», и он пишет, преет, читает жене, читает знакомым, исправляет, вычеркивает, выкручивается, оставляя что-то «вообще» и что-то вне времени и пространства. Или украинизация! Сколько драм, комедий, фарсов и анекдотов!»

Но перехитрить себя не удалось. В главную часть того механизма, который он хотел разрушить, был, повидимому, запряжен ленивый осел, который не поддавался ни гневу, ни изменению. В центральном управлении его творчества засел безумный бюрократ, который чего-то требовал, почему-то отказывал и говорил неизменно: «придите завтра». Степан стал суеверным. Может быть, комната эта неудобна, может быть, год такой, не високосный, а он в високосном родился...

Страшась отчаяния, он инстинктивно старался изобразить, будто написал что-то необычайное, целые стопы книг, выраставшие на столе в солидную библиотеку; слыхал вокруг себя льстивый шопот, отправлялся в далекие путешествия, переписывался с читателями, объяснял им свои взгляды, мысли, желания, читал перед необозримой замерщей аудиторией. Эти мечты облегчали его, погашали своей яростью печаль,

оставляли чудесное удовлетворение и вновь влечение к себе. Но вперед не пускали.

В литературных кругах сборник упрочил за Степаном права литературного гражданства, которых он добивался. Он почувствовал это потому, что его мнением начали интересоваться, и из Радченко он стал просто Степаном, старым приятелем в старом товариществе. Выслушав несколько устных похвал за свои рассказы, он понял, что стал равным среди равных; самолюбие его удовлетворилось, но душа немела.

Вечерами Степан частенько встречался в пивной с поэтом Выгорским. Юноша заходил уже сюда свободно. Беззаботно появлялся он на пороге просторного зала, залитого электричеством, и легко нырял в веселый гомон посетителей, пестрыми тройками и парами окружавших белые мраморные столики. Звон посуды, хлопанье пробок, смех и говор, громкая музыка, плывшая из эстрады в углы, объединяла разнообразие лиц и костюмов в цельную сплоченную массу. Но смолкала музыка, и в минуты тишины толпа распадалась на одинокие фигуры и слова, разные и далекие, принесенные из неизвестных жилищ, из неизвестной жизни.

Это удивительное обаяние музыки юноша ощущал на себе,—таяли заботы, освобождая угнетенную душу, которая сразу расправляла крылья в невыразимом, но жгучем порыве, и он сам становился обостренным и внимательным к трепетанию человеческих сердец, проникаясь твердой уверенностью, что напишет что-то, сумеет высказать то невысказанное, которое жило в нем, откликаясь далеким эхом на бурное дыхание жизни.

Он отыскал взглядом Выгорского и усмехаясь подошел к нему, минуя лабиринты стульев.

— Сегодня джаз-банд,—сказал поэт.—Послушаем.

На эстраде, вместо обычных трех инструментов, был

квартет из пианино, скрипки, виолончели и турецкого барабана с прибавлением медных тарелок, которые распространяли в зале звериный крик, уничтожавший мелодию.

— Бандиты,—сказал поэт,—вы видите, что они называют джаз-бандом! За это мы должны доплачивать по пятаку с бутылки! Но обратите внимание на нового скрипача.

Новый скрипач, повязанный широким артистическим бантом, напоминал эпилептика. Он изгибался, дергал головой, высовывал язык, моргал, морщился и кривлялся, подпрыгивая на месте, будто удары барабанщика случайно попадали ему в живот.

— Он разрешает проблему дирижерства с занятыми руками,—объяснил Выгорский.—Сколько чувства! Будьте добры, поставьте им пару пива.

Он качался в такт туловищем и мечтательно подпевал.

— Что нового в литературе?—спросил он.

— Ничего,—ответил Степан.—Да... меня похвалили в «Червоном шляхе». Рецензия была. Словом, ничего особенного.

— Кто похвалил?

— Угадайте... Светозаров.

— Светозаров всегда мыслит наперекор другим. Он хвалит вас потому, что до него никто вас не хвалил. В противном случае он будет кричать из инстинкта самосохранения. А в общем критики держат нас, как скаковых коней, на которых играют в тотализаторе. Ибо надо быть очень хорошим критиком, чтобы быть критиком. Во всяком случае гоните их от себя в три шеи.

— А все-таки придется пристать к какой-нибудь группировке,—сказал Степан.—Плохо молодому одному.

Поэт поморщился.

— Одно из двух: если вы способный, вам поддержка не нужна, если вы бездарность,—она вам не поможет. В чем же дело?

— Сказать правду,—задумчиво ответил Степан,—я привык к общественной работе. То в сельбуде был, то в студенческом старостате...

— Так вступайте в Мопр,—раздраженно ответил поэт.—Идите в Авиахим, Общество помощи детям, калекам, безработным, но причем здесь литература?—Он нервно постучал стаканом о бутылку, чтобы дали еще пива.

— Откровенно говоря, я не понимаю, для чего существуют эти группировки. Мне объясняют, а я не понимаю. Не могу понять. Для меня их существование остается непостижимой и печальной загадкой. Если это костыли для хромающих писак, то, кажется, наши с вами ноги целы. А вот и пиво! Наконец!

Он быстро налил стаканы.

— За литературу! Мы должны уважать то, что дает нам заработок. Но, скажите—только откровенно,—почему вы начали писать?

— Из зависти,—ответил юноша, краснея.

— А я—от чувства слабости. Это то же самое. Но горе не в том. Горе в том, что литература стала постной. Я всегда сравнивал писателя с пекарем. Из маленькой квашни он выпекает огромный хлеб. Печь у него хорошая, дрожжи хорошие, и тесто свое он не ленится месить месяц, год и несколько лет. Но если он боится чужих мнений, лучше ему закрыть пекарню и итти в народные учителя.

Вновь загремела музыка, снова загрохотал барабан, но мелодия звенела явственно, протянувшись тонкой ниткой из-под пальцев скрипача, который мучился в священных корчах. Это был меланхоличный мотив не-

осуществимой любви, блестящий ручеек печального укора, жажды и беспокойства.

— Что это?—спросил Степан.

— Фокстрот. Он принадлежит у нас к танцам, запятнанным клеймом распущенности и вырождения. Кое-кто называет его лежачим танцем, хотя по сути это тот же менуэт. Его упрекают в сладострастии, но какой же порядочный танец не сладострастен? Ведь танцуют в конце концов для того, чтобы обняться. Вообще, у нас танцы имеют странную судьбу. В первые годы революции они были изгнаны как религиозные обряды, а теперь их вводят в клубах как один из методов культработы. Процессы жизни—процессы самозапрещенья, друг мой.

— Писать не могу,—прошептал Степан, захваченный тоскливым напряжением мелодии.—Пробую, и не пишется.

— Не пишется! Пустяки! Припечет, так напишете.

Когда музыка затихла, юноша почувствовал странное возбуждение, какую-то глубокую заботу, ибо мотив замер неоконченным в шумном воздухе зала. Мотив рассыпался неожиданно прозрачным звоном, колыхаясь и дразня слух. Степану безумно хотелось собрать этот разрозненный поющий рой звуков. Печаль от напрасных попыток писать острей проснулась от этого порыва. Он быстро перебрал в памяти этапы своего городского пути и, наклонившись к Выгорскому, рассказал ему о первой встрече с ним не в канцелярии Жилсоюза, а в редакции, где поэт кинул ему вдогонку непонятные тогда слова.

— Странно, правда?—спросил он.

— Не помню,—ответил поэт.—Но дело не в этом, Вот вы—пришли голодный, ободранный, беспризорный, а теперь имеете пальто, пиджак, немного денег и сбор-

ник рассказов. А разве стали счастливей? Теперь вы скулите: писать не могу. Вот вам иллюстрация к моим мыслям о движении. Недаром я всегда говорил, что счастье невозможно. Сегодня съел, а завтра голоден.

— Неестественно все это,—вздохнул Степан.—И все в городе неестественно.

— После того, как СВЕРХЪестественное отвергнуто, НЕестественное осталось нашим единственным утешением,—сказал поэт.—О счастьи, то есть о полном удовлетворении, нельзя говорить без отвращения,—это низменнейшая из людских иллюзий, потому что она всего естественнее.

Он налил стаканы.

— Все те, кто распространяется об естественности,—продолжал он,—понимают в жизни, как свинья в апельсинах. Ибо с тех пор как человеческий разум начал рассуждать абстрактно, человечество безнадежно покинуло путь естественности, и вернуть его снова на этот путь можно только отрубив ему голову. Сами сообразите: как может человек уничтожить естественность вне себя, не уничтожая естественности в себе. Каждое срубленное дерево показывает, что что-то естественное подрезано уже и в человеческой душе. С тех пор как человек променял естественную пещеру на выстроенный шалаш, с тех пор как начал тесать естественный камень, уже тогда он стал на путь изобретательства, который остался нам в наследство. Разве естественно сознавать незавершенность жизни и стремиться к новым формам ее? Или вообще осуждать нашу жизнь? Естественней было бы не замечать ее недостатков и прославлять безоговорочно, как и делают разные соловьи. Поэтому всякий прогресс есть движение, все более отдаляющее нас от естественности. И курение

ваше выдумано, ибо естественней было бы дышать свежим воздухом.

— А я курить не перестану,—сказал Степан.

— Я вас и не заставляю,—продолжал поэт.—Я только хочу, чтобы вы поняли, что человек есть reductio ad absurdum природы. В нас природа сама уничтожает себя. В нас заканчивается одна из областей земной эволюции, и никто после нас не придет, никакие сверхчеловеки. Мы—последнее звено цепи, которая будет разворачиваться, может быть, не один раз на земле, но иными путями и в иных направлениях. Мозг—вот наиглавнейший враг человека... Но, друг мой, не смотрите так внимательно на ту женщину в синей шляпе, хотя это и очень естественно.

— Это так, между прочим,—сказал Степан.

— Наоборот—слушать меня совсем неестественно.

— Вы все про конец света говорите,—смущенно сказал Степан.—Хмурый вы.

— Меня всегда больше интересует не то, что делается, а то, чем оно окончится.

— Вот вас и называют—бесхребетный интеллигент.

Эти слова оскорбили Выгорского.

— Бесхребетный интеллигент,—пробурчал он.—А что за толк от хребта, если он плох?—Потом поднявшись добавил:—Все мы мелкобуржуазны, потому что должны умереть. Дайте нам вечную жизнь, и мы станем новыми, великими, полноценными. А пока мы смертны—мы смешны и ничтожны.

IX

Вечером Степану сказали, что кто-то к нему приходил, пообещав зайти завтра утром. Кто это мог быть? Вопрос этот просто беспокоит Степана, потому что за все время его пребывания на Львовской улице никто к нему ни-

когда не приходил, да и припомнить он не мог, чтоб вообще кто-нибудь знал его адрес. Он жил, действительно, как мышь за печкой. И этот стук неизвестной руки в дверь его комнаты пробудил в юноше желание принимать гостей и беседовать с ними в часы отдыха.

«Надо заводить знакомых»,—подумал он.

Действительно, ему нужно было некоторое время пожить просто, развлекаться мелочами городской жизни, отдохнуть и обновить силы после напряжения последних месяцев. И не пишется ему, наверное, потому, что он сильно утомился, а утомленная душа не в силах нести тяжести дум.

Ложась спать, он твердо решил: не учащать посещения редакции, потому что литературные разговоры только волнуют его бессилие, вообще отойти от литературы как можно дальше, завести друзей, непричастных к литературе, даже с Выгорским встречаться не более раза в неделю. Словом, после первого увлечения философствованиями поэта и его скептическим отношением к миру, Степан почувствовал критическое отношение к нему, потому что сам жил без софизмов и воспринимал мир без фильтра абстрактных теорий. Он не лгал перед собой ни в мыслях, ни в действиях, и действительность оставалась в нем, и жизнь не переставала быть для него душистым, хотя и горьким миндалем.

Утром загадка вчерашнего посетителя разрешилась довольно просто. Степан сразу не узнал лицо, украшенное английскими усиками, и фигуру в широкой оленьей куртке и желтых кожаных перчатках, но как только гость заговорил, узнал в нем Бориса Задорожного, товарища по институту.

— Здравствуй, Стефочка, пришел тебя проведать,— весело говорил Борис.

— Садись,—сказал Степан.—Прекрасно сделал, что зашел.

Борис сильно изменился за год не только одеждой, но поведением и тоном голоса, и только первое восклицание было отзвуком студенческих времен. А дальше в разговоре его почувствовалась уверенность делового человека, который не бросает даром слов и хорошо знает им цену.

Раздевшись и оставшись в толстовке серого сукна, с большими костяными пуговицами, он вытянул из кармана большой портсигар и вежливо предложил хозяину.

— Кури, пожалуйста.

Потом критически оглянул комнату.

— Живешь тут, значит?

— Живу, спасибо тебе.

— Есть за что благодарить! Ободранная клетушка. Обоями б ее оклеить и потолок покрасить. Деньги есть?

— Да, водятся.

— Тогда обклей, конечно. Обои сейчас недороги. Купи в Ленинградском объединении. Там дешевле.

Степан помолчал, потом спросил:

— Как же твоя кафедра?

Борис пустил к потолку струю дыма.

— Кафедра? Да я ее через неделю бросил. Не для меня это сухое, научное. Сейчас я—старший инструктор кооперативного свекловодства на Киевщине. Где у тебя пепельница? На пол наверное сыпешь. Эх ты, студент!

И начал рассказывать о состоянии кооперативного свекловодства, о прошлогоднем урожае и вредителях. Недостатков масса, но все идет вперед, это безусловно. Бюрократизм заедает. Вот строят сахарный завод в районе станции Фундуклеевка, где ему часто приходится бывать, и что ж—работники есть, материал есть,

деньги есть, а пока хороводились, сезон проворонили. Спецы старые сидят, вот в чем дело!

— Живчиков в них нет,—сказал он.—Поганой палкой гнать этих хозяйчиков! Ты когда кончаешь?

— Да я бросил институт,—неловко признался Степан.

Борис сделал гримасу.

— Закрутился, значит? Литература?

Степан кивнул головою.

Тогда Борис, поучая, разъяснил ему, что литература вещь хорошая, но не верная, что в жизни надо иметь верный заработок, какую-нибудь службу, и проводить полезную работу.

— Да и для кого вы пишете?—добавил он.—Мне, например, совсем некогда читать.

— А как жена твоя?—спросил юноша, меняя тему.— Надийка, кажется?

Он, действительно, должен был выловить это имя из дальних пещер воспоминаний.

— Надийка молодец,—сказал Борис,—прекрасная хозяйка. Не нарадуюсь.

— А техникум?

— Уговорил бросить.

Он, конечно, не против женского образования и равноправия, но прежде всего ему нужна семья и покой после проклятых командировок, а, с другой стороны, опыт, к сожалению, показал, что женщины годятся только на подсобную работу—переписчицами, регистраторами, а руководящей, ответственной работы поручать им нельзя. Да и мальчика надо завести,—сказал он.

— За чем же дело стало?

— За деньгами,—сказал Борис.—Хоть и аборты денег стоят. Словом, посмотрим.

— А разве без детей нельзя?

— Тогда и жениться незачем.

— А любовь?

— Любовь, Стефочка, явление временное, двухнедельный отпуск для служащего. Жить надо. Но ты совсем не изменился.

На прощанье он сказал Степану:

— Жду тебя. Я живу на Андреевском спуске, 38, квартира 6. Две комнаты имею. Заходи.

Проводив гостя, Степан сел на кровать, стараясь сосредоточиться. Посещение Бориса произвело на него в общем неприятное впечатление, но вместе с тем он чувствовал к прежнему приятелю благодарность. Если консерватизм Бориса, его мещанская обособленность в сфере высших запросов культуры казалась ему отвратительной, то жажда практической деятельности, любовь к работе и уверенность в ее полезности, звеневшие в словах молодого хозяйственника, импонировали ему своей твердостью. В эту комнату, склад многих неверий и надежд, Борис принес дух настоящего строителя жизни, бодрый дух будничного, незаметного творчества, которое непреклонно преобразует землю. Только благодаря ему и таким, как он, положившим основание материального фундамента людского существования, стало возможным творчество высшего порядка. Его работа, мелкая, обычная, славы не даст, имя его не впишется ни в одну историю, вот почему ищет он свою награду в деньгах, а отдых—в семье и хочет увековечить себя в детях. И разве можно за это наклеивать на него этикетку обывателя? Осторожней! Неизвестно еще, кто кого должен не уважать! Неизвестно, кто настоящий руководитель жизни, кто выше—тот, кто строит жизнь, или тот, кто поет песни, взобравшись на крышу чужого сооружения.

Степан бросил папиросу. Да, разные они люди и разный табак курят в жизни.

Но Надийка бросила техникум! Уговорил. Знает он, как уговорил: административным порядком—и все. Конечно, ему никакого дела нет до этого. Все это страшные мелочи!

Но все же недовольство осталось в нем, как будто Борис его чем-нибудь обидел. И чем больше он оправдывал товарища, тем виноватей казался он ему и враждебней. Пылинка недовольства, покатившись с горы ощущения, ширится, увеличивается, растет, как снеговая баба, и падает в сердце глыбой льда. И много надо тепла, чтобы растопить эту тяжелую льдину.

Половина первого. Пора итти на свидание. Нехотя поднялся он с места—не потому, что итти не хотелось, а потому, что жаль было оторваться от недоконченной мысли, напоминавшей запутанный клубок шерсти. Он оделся, вышел и съежился от морозного ветра. Холодно. Он поднял воротник и засунул руки в карманы. Слепящая белизна изъезженной улицы, сухой скрип шагов, мягкий бег саночек были противны ему, поражали своей бессмысленной четкостью. И он быстро шел, опережая прохожих. Пришел он рано и Зоськи еще не застал. Степан сел в кресло и жадно закурил. Это единственное в комнате кресло, обитое когда-то голубым шелком, а теперь застеленное пестрым ковриком, было излюбленным местом Зоськи, и он занял его теперь, с наслаждением ощущая его мягкость. Он хотел утонуть в чем-нибудь теплом, приятно вытянуться всем телом и отдаться свободным мыслям, которые проходят в глубину души и заботливо разглядывают ее содержание. Хотел опуститься в тайники сердца, снять кованые замки с сундуков пережитого, раскрыть их и погрузить руки в воспоминания давние и засушенные, как цветы меж страницами книги. Может быть, Зоська опоздает сегодня? Может быть, и совсем не придет?

Стал ждать и с интересом разглядывал обстановку комнаты, которая дала ему нежданный приют. Убогая обстановка: кровать, два стула, кресло и столик. Не было даже шкафа для платьев, и они висели на стене, под простыней. Но неизвестная девушка, которая здесь жила, создала из этих бедных вещей какую-то красивую гармонию, сумела вдохнуть женскую грацию, обвить очарованием юности их приятную простоту. Он видел ее заботливую руку в ровной линии коврика, в пушистой подушке, которая кокетливо поднимала верхний угол, в ряде фотографий и флакончиков на застеленном кружевом столе. Тут она работала, тут жила, тут билось ее сердце всеми человеческими стремлениями, тут украсила она стены незаметным узором своих мечтаний. Это чужое жилище, убранное, может быть, для другого, обряженное, может быть, в ожидании поцелуев, стало местом его собственной любви, уголком наиинтимнейшего чувства.

Почему?

Наконец пришла Зоська, веселая, румяная от мороза и ходьбы, принося с собою бодрость морозного воздуха.

— Ты уже тут?—удивилась она.

— Давно пришел,—сказал он, усмехаясь,—чтобы скорей тебя увидеть.

— Ах, какой ты лгунишка!

Она сняла пальто, шляпку и бросилась к нему.

— Погрей меня,—сказала она.—Зоська страшно замерзла.

И вдруг заметила его печаль.

— Божественный раскис? Почему?

— Настроение плохое,—ответил он.—Это пройдет.

Она обняла его.

— Где настроение?—спросила.—Здесь? Здесь?

И целовала лоб, глаза, щеки, как целуют детям раз-

битый палец, чтобы не болел. Потом села в кресло, а Степан на коврик у ее ног.

Зоська закурила, положив ногу на ногу и локтем упершись в колено, начала говорить, как бы раздумывая, произнося свои мысли так, как они рождались у нее в голове, со всеми скачками и пропусками. Безусловно плохое настроение бывает иногда и у Зоськи. Почему? Потому что люди—страшные комики, они не хотят жить просто, а все что-то выдумывают, что-то накручивают, что-то себе представляют, а потом мучаются этим. Она ищет службу, ходит на биржу и в профсоюз, а там все такие надутые, важные, а ей очень смешно и хочется показать им язык. Отец вечерами пишет какие-то отчеты, а она раз нарисовала в конце лошадку, потому что он пишет глупости. Это никому не нужно. Ей очень нравятся аэропланы, потому что они высоко летают, но им не взбредет на ум покатать Зоську. Всех толстых и задумчивых ей хочется толкнуть пальцем в живот, чтоб они рассмеялись.

Но всего смешнее казалась Зоське любовь. Ведь все живут друг с другом, делают всякие приятные гадости в одиночестве, а никто не хочет в этом сознаться! Даже говорят, что это неприлично, но если так—не надо делать гадостей!

— Ты заснул?—спросила она, внезапно толкнув его.

— Нет,—сказал он.

Он сидел, прислонившись к креслу, и слушал ее слова, которые уже слышал в различных комбинациях. Он молчал, и казалось ему, что все в комнате молчит, что вся мебель склонилась, печалясь, почему он здесь, а не далеко, далеко. Он даже не заметил, когда замолчала Зоська, откинувшись на кресле и закрыв глаза. Он не спросил, о чем она думает, зная, что не поймет этого, как и он не мог бы высказать своей задумчивости, чув-

ствуя, что она тоже незаметно отошла от межи, где кончается словесная связь меж людьми. Они сидели в комнате, забыв друг о друге, уйдя во что-то бесконечно свое, притаившись за гранями сердца, которые внезапно вырастают в непроходимые стены обособленности.

Степан очнулся первый и неуклюже встал.

— А ты не спишь?

Она молча раскрыла глаза. Он стоял над нею, не зная, что сказать.

— Невесело сегодня у нас,—сказал он наконец.

Зоська привстала и склонилась к нему, будто падая.

— Что с тобою, Зоська?—спросил он взволнованно.

Она молчала.

— Может быть, у тебя что-нибудь случилось?

Это «что-нибудь» в интимном их разговоре обозначало тот выкуп, который природа стремится взять за обладание утехой, несмотря на все хитрости медицины.

Она подняла свой грустный взгляд.

— Мы все умрем?—спросила она.

— Конечно,—ответил он облегченно.—Все умрем.

— А не умереть нельзя?

Сердце его опечалилось от искренности ее тона. Она не шутила, она спрашивала откровенно, будто имея какое-то сомнение, какую-то таинственную надежду стать исключением из общего правила и идиотской судьбы всего живого. Он целовал ее, ласкал, проникнувшись печальным сочувствием к ней и к себе.

— Не надо об этом думать,—сказал он.

— Само думается,—прошептала Зоська.

Они вышли вдвоем и остановились на углу, где всегда расставались.

— Не уходи,—сказал он.

— Какой ты смешной!

Она кивнула головою, а он стоял, смотрел на ее маленькую фигуру, мелькающую среди прохожих, с каждым шагом уменьшавшуюся, исчезая в толпе. Он еще стоял, надеясь увидеть ее хотя бы на мгновение, хотя бы издалека, потом боль охватила его, будто сразу с нею он потерял надежду еще раз когда-нибудь ее увидеть. Никогда еще не была она так близка ему, как теперь, и никогда он так остро не чуствовал тоски, отпуская ее. Точно не сказал ей того, что хотел, что должен был сказать этому единственному близкому ему человеку, и тяжесть невысказанного томила его.

Было рано, Степан зашел пообедать в первую попавшуюся столовую. Он не принадлежал к любителям вкусно поесть, и отношение к еде оставалось у него деловым. Он совсем не принадлежал к тем, кто, идя обедать, размышляет, что взять на первое, второе и третье, и по дороге смакует будущие блюда. Он покупал шоколад и конфеты, но сам не ел их никогда. Вначале химерные названия блюд в меню заинтересовали его, но после узнал, что жаркое а-ля брош—обычная говяжья котлета, а таинственный омлет—простая яичница, и перестал обращать внимание на эти выдумки, на эти попытки разнообразить блюда с помощью названий и фантазий едоков. Вкус к духам, табаку и одежде развивался в нем, но пища не играла роли в его жизни, он относился к ней, как и всегда.

Оглядывая зал, посетителей и скатерть перед собою, молодой человек внезапно без какой-нибудь связи с предыдущим подумал: «Из Надийки вышла чудесная хозяйка. Борис не нарадуется».

Эта мысль была ему неприятна, как будто от знакомства с той девушкой в нем еще остался не размолотый камень. Тяжелым преступлением казалось ему превращение голубоглазой Надийки в кухарку, уборщицу, в

сторожа постоянного быта молодого мещанина. Но разве тому чудаку Борису знакомо хотя бы чувство простого сожаления? Он все скрутит, все возьмет в свои жилистые руки, будь то свекла или женщина! Такая уж жестокая поповская натура.

Он отодвинул в сторону борщ и начал задумчиво ковырять вареники с мясом, как вдруг в столовую вошла фигура в заплатанном пальто и бурой шляпе, держа перед собой что-то больше и странное. Это была арфа, и собственник ее попросил разрешения развлечь уважаемую публику. Усевшись в углу на стуле и поставив меж коленями тяжелый инструмент, взял он первые аккорды на грубых простых струнах.

Арфист играл известную арию из «Сильвы», и глухие звуки инструмента придавали этой любовной песне печальную глубину и нежность, выражая только часть желания, а другую тая в тихом трепетании тонов. Но Степан смотрел на исполнителя. Где он видел это длинное, холодное, но страстное лицо, эти острые черные глаза, которые вот-вот вспыхнут от скрытого огня?

Кто он? Татарин, грек, армянин? Какая судьба послала в печальное бродяжничество это мощное смуглое тело, повесила ему на плечи треугольную тяжесть, запрятала его жар в меланхоличные звуки струн?.. И как мог он сохранить в своих нищенствах гордость, горевшую в очах, это спокойное невнимание к публике, перед которой будет протягивать руку за копейкой? Он почувствовал в душе музыканта целый мир, свою дивную человеческую судьбу, свои муки и надежды. И взволновался, как волнуется тот, кто летит с земли на далекую планету, удивился, как ребенок, открыв в игрушке спрятанный механизм.

Он понял, что люди—разные, понял это так, как все известное можно понять, когда понимание проникает

в сердце острием, когда блеснет спелым зерном из-под старой чешуи слов. Ибо не понял, а догадался, как любовь можно почувствовать любя, как боль, отчаяние, порыв можно узнать, проникаясь ими и забывая, какое название дано каждому из них. Люди—разные! Он это чувствовал всегда, а теперь узнал.

На Крещатик он вышел, как на аллею большого парка, осыпанную холодным пухом туч—белых птиц из синего неба, которые пролетели вчера над возвышениями жилищ, ровно вытесанных и одетых в разноцветные шапки. И солнце, застыв вверху холодным диском, бросало под ноги, под копыта и колеса густые потоки искр—голубых, золотых и желтых, рассыпавшихся по улице и на крышах блестящим порошком, ярким трепетом мороза, который, в это мгновение близкий и любимый, зажигал глаза невольной радостью, рождал на устах бессознательную усмешку. Все казалось черней и белей, контуры углублялись, становились тоньше в легком сиянии, все звуки повышались на несколько нот навстречу солнцу и крепчал бодрый шелест, скрип тугого снега под безостановочным нажимом шагов. Было людно, служащие валили из учреждений, вливались в толпу, впитывая ослепительный свет и посылая в воздух струйки туманного пара, дыхания. Сколько глаз, сколько движенья!

Степан шел в толпе с затаенным трепетом, будто все глаза смотрели на него и все движение было для него, будто он принимал этот пестрый парад героев, бездарностей и посредственностей, которые проходили мимо него, стройно, ровно. Вот они, такие близкие ему и друг другу, такие простые и понятные, а через мгновение каждый войдет в свой дом, в свою любовь, в свои мысли, в свои стремления, в свои мудрствования и глупости. Там возделывают они нивы своего преходящего

существования, выращивают радостные и печальные цветы своей маленькой жизни, там каждого ждет то, что не ждет другого, может быть, подобное, но втиснутое в другие восприятия, закрашенное и приобревшее другие отенки, разлитое в бутылочки разных видов и качества. Ибо для каждого из них свет зажигается и гаснет, встает и исчезает в маленьком разрезе глаз. Люди—разные! Несомненно, разные, при поразительном внешнем сходстве! И он видел их как единое существо, которое разделялось на разнообразное множество, как одно лицо, преломляющееся в кривых зеркалах на тысячу лиц, из которых каждое сохранило свою загадку—загадку человека.

Толпа возбуждала его, возбуждала не только взгляд и слух, а и нос его расширялся, чтобы вдыхать, пальцы трепетали, чтоб коснуться этой подвижной крикливой массы. Он хотел ощутить ее всеми чувствами, всю и каждого, вобрать всеми соединяющими каналами в ту мощную мастерскую, где впечатления горят на костре крови и выковываются на наковальнях сердца. Все шлюзы его существа были возбуждены, и пенистые потоки света, вливаясь в них, сбегались в узких устьях одним бурным потоком, который сдвигал уже оцепеневшую машину его творчества. Эту первую дрожь он ощущал как боль, как испуг, волнение, как невыразимый восторг, который овладел им, относил его в сторону и выбрасывал вон из толпы, где возник. Тогда пошел он домой, неся этот огонь бережно и боязливо, как православные несут свечку в чистый четверг.

Когда Степан вошел в свою комнату, темную после уличного блеска, сырую после морозной сухости, он почувствовал усталость. Все остановилось в нем, и сжигавшее его пламя внезапно погасло тихо и бесследно. Где оно? Зачем же все это было—зажглось и потух-

ло? Он сел, не раздеваясь, оскорбленный и угнетенный внезапным исчезновением порыва, с безграничным сожалением об утраченной надежде писать. Несколько минут назад он верил в себя и, не зная, о чем будет писать и как, ощущал в себе ту полноту, то бурление чувств, которое вырвется, польется из тесного хранилища души. И вот оно высохло, как ручей на песке, лопнуло, как цветной шар. И снова он вялый, снова в комнате, в гробу своих надежд, снова около стола, где сидел ночами и ранним утром, как жалкий раб своих исканий. Неужто так будет всегда?

Неужели навсегда осужден он на эту муку за необдуманную выдумку—слепую, неожиданную выдумку написать рассказ? Осужденный на вспышки, разрушающие и опустошающие душу, охваченный непоборимой тоской, вызывающей гнетущее отвращение к себе, к жизни, к людям! Ибо непобедим порыв творчества у человека, он порабощает его, делает приложением к себе, покорным исполнителем своих приказаний, уничтожает чистоту чувства своим назойливым призывом, превращает жизнь в смешную постоянную оседлость, утешает неимоверными мечтами, гнетет неимоверным отчаянием, жалит сердце, беспокоит, оплетает человека, как лиана, и нет более могучего порыва, ибо все стремится наружу, и все преходяще, только неисчерпаем его источник, заключающий в себе вселенную.

. . . .

Тем временем за спиной писателя Стефана Радченко, который ничего не мог написать, назревали события, готовя ему приятную неожиданность.

Вопрос касался литературной жизни, этого безостановочного бурленья, которое в условиях существования враждебных организаций медленно накопляет взрывча-

тый материал в ежедневных спорах и ссорах, и раз-два в год дело доходит до настоящих литературных штормов, когда борьба становится открытой и массовой,— борьба за привилегию, за влияние, за первое место у печатного станка и в конторе издательства.

Повод для стычки был очень простой—освободилась должность секретаря в журнале, и каждая группа выставила своего кандидата. Наступил настоящий парламентарский кризис с переговорами, сборами и сговорами, звонили телефоны, создавались и распадались союзные фронты, ставились условия, проводились наступления и блокады по последнему слову стратегии. Так прошел месяц. Все устали, обескровились в борьбе, но никто не уступал. И тогда как единственный выход было выдвинуто отчаянное предложение: всех кандидатов отбросить и позвать какого-нибудь варяга, непричастного к этому кровопролитию. И все как-то сразу согласились на кандидатуру Степана Радченко, потому что устали, а, с другой стороны, новый кандидат не сделал еще никому зла и подавал каждому надежду поддаться всяким влияниям.

Так занял Степан кресло под надписью: «Секретарь редакции принимает по вторникам, четвергам и субботам от одиннадцати до часа дня».

X

А работы, работы!.. Непочатый угол.

За месяц литературных боев в редакционных делах наступил хаос, и Радченко взялся за работу, засучив рукава, придавая всем своим действиям характер ударности, который он усвоил отчасти с военных времен. Архив для рукописей был в беспорядке. Переписка— в безнадежном состоянии. В библиотеке не было ка-

талога и трех четвертей книжек. А у человека только две руки!

Пересматривать рукописи старые и вновь присланные казалось ему сначала священнодействием, делом исключительной важности, ибо он знал по собственному опыту, сколько надежд вкладывала в зачастую малограмотные строки далекая молодежь, тянущаяся, как и он, к литературе, к свету, стремясь выявить свои, следовательно, самые дорогие мысли и чувства, высказать свое, для каждого наивернейшее отношение к миру над, перед и под собою. Он аккуратно перечитывал сотни тетрадей и страниц, каллиграфично написанных, часто украшенных наивными виньетками, а иногда иллюстрациями, и приложенные к ним письма, которые авторы обдумывали, может быть, недели, чтобы вложить в вежливые, скромные строки ту гордость и радость, которые были в их сердцах. Там, где-то далеко в селах, местечках и городах, ждала эта масса авторов, ждала в униженных и рыцарских позах появления своего произведения, ответа, извещений, и Степан, чувствуя это ожидание, листал и листал целыми вечерами куски разнообразной бумаги, от оберточной до самой дорогой, неустанно следя, чтоб не потерялось что-то ценное среди ненужного, проникаясь безграничным сочувствием к неудачникам и для всех имея в сердце слово привета и бодрости.

Но через несколько дней уже понял, как мало талантов, какая неблагодарная работа—искать перлы в этом бумажном море, а через неделю уже испытывал раздражение на смешные претензии бездарностей, пишущих бессмысленные рассказы и еще более бессмысленные стихи. И в конце концов стал таким, каким становится каждый тюремщик среди арестованных,—насмехался над никчемными попытками и рассказывал

знакомым как анекдоты те глупости, которые некоторые пишут. Иногда и сами авторы приходили, смущенные или важные, заходили с чувством обвиняемого перед приговором суда в этот золотоносный край, где слава и уважение лежат так близко, и он выслушивал их серьезно, отвечал им вежливо и учтиво, но в душе смеялся над ними, ибо, действительно, они были только смешны своей неуверенностью и затаенным презрением. Приходили и непризнанные гении, с горькими словами о несправедливости, приходили жулики, выдавая себя за наивных, приходил даже один сумасшедший, называя себя именем известного писателя, умершего давно, и доказывая это документально.

За неделю Степан привел в порядок архив и собрал библиотеку, потому что любил это дело, любил книги, как может любить их тот, кто из них почерпнул не только первые познания о мире, но и увлечение им,—для того книга остается вечным, неизменным и живым другом. Он хотел не только читать книгу, но и ощущать ее около себя, поэтому завидовал всем, кто имеет библиотеку, и втайне надеялся иметь когда-нибудь и свою, любовно собранную из тысяч томов, среди которых он будет жить.

Его никогда не покидала надежда на какое-то тихое, приятное существование среди книжек и друзей, и надежду эту он хранил как запасную часть на случай разных неудач, спасательный пояс, на котором плавать неудобно, но все же лучше, чем тонуть.

Новый секретарь был со всеми неизменно спокоен и вежлив, хотя сердце его в первое время радостно звенело, когда видел, что его ищут, ждут, хотят с ним говорить и обращаются к нему с просьбами. Он был точен в словах и обещаниях, прекрасно понимая, что и кому можно и нужно сказать. Он пребывал в сфере

разнообразнейших встречающихся влияний и вырабатывал под их действием собственные мысли и взгляды на литературу. Собственно, не взгляды, не законченную систему теоретического порядка, а живое отношение к писателю, тяготение к нему и уважение, умение интересоваться им и находить в нем золотые зерна жизни.

Любовные свидания его проходили аккуратно дважды в неделю в назначенные часы. Но теперь приходя к Зоське, наполненный литературными интересами, прилипающими к писателю, как смола, он невольно начинал рассказывать о своих встречах и делах; для него было необходимо поделиться массой накопившихся за несколько дней впечатлений. В этих рассказах была большая доля хвастовства, тайная надежда отметить роль своей личности и вызвать к себе удивление, что очень льстило его юношескому самолюбию. Он хвалил, как бы намекая, что имеет право хвалить, ругал, будто подчеркивая, что может ценить. Это было невинное кокетство перед девушкой, приятная потребность немного похвастаться собою, приобрести право на ее уважение, а ее уверить в том, что, остановившись на нем, она в конце концов сделала неплохой выбор. И Зоська понимала это, ибо временами, прерывая его на интереснейшем месте, гладила рукой по голове и усмехаясь говорила:

— Словом, божественный, вы увлекаетесь.

И он смеялся и уверял, что увлечен только ею.

Кроме работы в редакции, на нем лежала еще обязанность следить за журналом в типографии. Совсем новые, но знакомые чувства навеяло ему это огромное предприятие, которое выбрасывало в сутки тысячи печатных листов. Он вошел в него и сразу полюбил его острый запах красок и оловянной пыли. Ожидая коррек-

туры, с интересом смотрел на широкие шеренги касс, где работники в синих полотняных халатах, одни, смеясь и разговаривая, другие молча и сосредоточенно, брали ловкими пальцами буквы, брали быстро и будто невнимательно, собирая строчки, которые будут разделены на ровные, прямоугольные страницы. Тут перед глазами происходил необычайно чудесный и простой процесс материализации человеческой мысли. Вспыхнув в душе автора, она оседала в этом просторном светлом зале, под бесконечное звучанье вентиляторов, массой нехитрых знаков, сохраняя свое назначение и ясность. Он видел, как двигалась она в руках наборщиков, как лилась по клавишам линотипов, все усиливаясь, готовясь повториться тысячи и тысячи раз на бумаге под давлением верстака. Тут мысль осуществляла свое стремление безгранично расширяться, как ширится газ, но не рассеиваясь и сохраняя свой первоначальный блеск и густоту. Мысль входила сюда маленькой рукописью, чтобы выйти пакетами, подводами, вагонами книжек, размножившись, как живая клетка, на тысячи себе подобных.

Но больше всего любил он машинный отдел — широкий полукруглый коридор, где в ряд стояли коренастые станки, высовывая тяжелые челюсти с каждым оборотом маховика. Тут сильнее пахло краской с прокатных валов, слышен был глухой шелест сдавленной между металлом бумаги и свист моторов в деревянных футлярах. В этом бесконечном пестром шуме, который глушил людские разговоры, билось могучее сердце города. Тут он был в его груди, видел железную систему его ткани, слышал голос его, познал его тайную сущность. Очарование, мечтательность охватывали его, и, прислушиваясь к шуму, внимая сразу его отдельным частям, он постепенно вбирал в себя это блестящее

движение, сливался с ним, утопал в нем, проникаясь его легкостью и порывом. В то же мгновенье в нем воскресало старое ощущение безмерности ночной степи, замершего спокойствия равнин под необозримым небом, которое он наблюдал одиноким ребенком с восторгом и трепетом. И тогда в душе его поднимались невоплотимые желания, как легкие волны на шелестящем песке.

Попрежнему часто заходил он в пивную. Однажды вечером Выгорский кинул ему на стол свой новый сборник «Город и луна». Это была книжка о городе, который засыпает, о городе, который спит и живет ночью странной, темной жизнью. На страницах ее острыми, пружинистыми строчками проходили поздние заседания правительства, страстные мечты влюбленного, фигуры злодеев, тихие кабинеты ученых, освещенные углы театров, уличная любовь, казино, неустанные заводы, вокзал, телеграф, фонари и милиционер на углу.

— Я уже читал ее... В типографии,—сказал Степан.— Чудесная книга.

— Что с того?—пробурчал поэт.—Я уже так не думаю.—Потом добавил:—В ней слишком много сочувствия.

Поэт был хмур, и вечер обещал быть скучным, как вдруг Выгорский обернулся к Степану:

— Друг мой, вы начинаете меня нервировать. Вы глаз не сводите с той дамы в синей шляпе.

— Она бывает тут каждый вечер,—смущенно ответил Степан.

— А где же ей бывать? И ваши взгляды говорят ей больше, чем вы думаете.

— Ну, это вы уж сочиняете.

— Это—проститутка,—сказал поэт,—так называемая, «ресторанная»—отдельно от «уличных», которые рабо-

тают на свежем воздухе. Плохо, что вы не умеете отличать их от «порядочных» женщин. Я говорю, конечно, о практике, ибо теоретическую разницу между ними вряд ли можно найти. Во всяком случае, в каждой порядочной пивной, как и наша, есть три-четыре дамы, заключивших с хозяином договор. Хозяин выпроваживает их конкуренток. В пивной есть несколько каморок, где они занимаются своим, выражаясь словами Гейне, горизонтальным ремеслом. Плата порядочная—от трех до пяти рублей, кроме ужина, где зарабатывает уж хозяин. Теперь вы понимаете суть комбинации? Но в мире нет ничего светлого без тени, в данном случае—без милиции. Хозяин рискует штрафом в пятьсот рублей и закрытием заведения. Для этого существует особая сигнализация, и феи исчезают черным ходом с быстротой Сандрильоны. Взгляните, ваша приятельница исчезла за портьерой.

— Правда,—сказал Степан,—пошла.

Он выпил пиво и закурил.

— А все-таки она хорошенькая,—добавил он.—Жаль ее.

— Мне тоже жаль их,—ответил поэт,—но только потому, что они рано выходят в тираж. Уличные проститутки не так изысканны, зато дешевле. Они нетребовательны, да и к ним нельзя предъявлять больших требований. Но все они неизменно называют себя «женщинами», ярко подчеркивая суть своей профессии.

— Да откуда вы знаете?—удивился Степан.

— Я должен удивляться, что вы не знаете,—ответил поэт.—Предоставьте уж поэтам оставаться на общих мыслях и лирике. Копейка—цена тому прозаику, который не знает людей.

— Людей знать нельзя,—сказал Степан.

— Так только кажется! Жизнь так проста, что начи-

нает казаться в конце концов таинственной. Успокойтесь. Люди, как и числа, складываются из немногих основных цифр, в разных комбинациях. Человек совсем не ребус, а задача, которая решается четырьмя арифметическими действиями. В чем суть пивной? Сюда идут отдохнуть от дел, от политики, от семьи, от забот, чтобы пожить хоть полчаса беззаботно и немного помечтать. Вот против нас сидит служащий, получающий по десятому разряду. Он может позволить себе только раз в две недели притти сюда, выпить бутылку пива и съесть соленых бубличков. Полмесяца думает он об этом, а сейчас растягивает наслаждение на два часа, мечтает о героичных случаях, любви, славе,—и ему хорошо. А справа компания нэпманов кутит после хорошей сделки с госорганом. Отсюда они поедут к «Максиму», который работает до третьего часа. Вот пара молодоженов шепчутся о том, что жизнь их не будет похожа на жизнь их соседей—пожилых супругов, которые тоже решили погулять и чувствуют себя очень неловко...

— А это кто?—спросил Степан, указывая взглядом на человека, сидевшего рядом с ними, скорбно уронив голову и утопив взгляд в пустой бутылке.

Поэт внимательно присмотрелся.

— Это,—сказал он,—интеллигент, сокращенный из-за режима экономии.

— Нет,—сказал Степан,—это—молодой писатель, которому ничего не пишется.

— Проверим,—сухо ответил поэт.

И они пересели к соседнему столику.

— Не печальтесь, товарищ,—сказал поэт, когда незнакомец удивленно поднял на них глаза.—Это с каждым может случиться.

— Правда, что с каждым,—отвечал тот, скорчившись.

— Не пишется?—сочувственно спросил Степан.

— Найдете службу...—сказал поэт.

— Да у меня... свое дело...—через силу ответил тот.—На Большой Васильевской... Ох!—и вновь хмуро опустил голову на руки.

— Так чего же вы печалитесь?—воскликнул Степан.

— Будешь печалиться, когда так за живот схватило! Проклятый паштет... Свежий, называется!

На улице поэт сказал Степану:

— Ошибка всегда возможна, и странно только то, что желудочная боль так часто напоминает душевную.

Приличное жалованье дало Степану возможность прекратить чтение лекций украинского языка в учреждениях. Сказать по совести: они давно наскучили ему, превратились в скучный заработок, без какого бы то ни было удовлетворения. Они интересовали его до тех пор, пока он сам чему-нибудь учился, и превратились в нестерпимое ярмо, когда стали однообразным повторением надоевших фактов. Долбить без конца шипящие и свистящие звуки, смаковать подлежащее, копаться в деепричастиях и глаголах—какая это безнадежная тоска! И он покинул лектуру так же радостно, как когда-то взялся за нее.

Жизнь его текла ровно, размеренно: днем служба и любовь, вечером—пивная, театр, кино и книжки. Он читал теперь не с юношеской пылкостью, а с мудрой солидностью. Книги могли его удивить, научить, но не унизить. И страданья тоски по творчеству утеряли для него свою болезненную остроту. Он как-то забывал о нем. Все время что-то делая и обдумывая, он иногда вспоминал о нем, но спокойно, как вспоминают о далеком прошлом или будущем, хотя каждый раз чувствовал в себе неясное присутствие чего-то постороннего, скрытого, как неслышное журчанье ручейка в тишине

ясного леса. Иногда в голове его внезапно возникал какой-то образ, отрывки каких-то фраз, описания, они с минуту занимали его мысли, наполняя его великой неизъяснимой радостью. Это были коротенькие, почти бессодержательные вести из далекого солнечного края, где он навеки оставил часть себя, чтобы опять соединиться с нею. И он аккуратно собирал эти драгоценные крошки, иногда записывал их на кусочках бумаги и сдавал в архив памяти. Довольно, довольно детских заискиваний и отчаянья! В конце концов он все сделал, для того, чтобы работать,—пусть же теперь творчество заискивает перед ним, чтобы он соизволил обратить на него внимание.

В таком настроении он наконец получил известие о своем сценарии. Тысяча пятьсот рублей гонорара! Сто пятьдесят червонцев, обладающих волшебною силою обмениваться на желанные вещи! Он стал таким богатым, каким никогда не были Крез и Рокфеллер, ибо чувствовал, что отныне материальная проблема для него разрешена, что он сумел подвести под свою жизнь крепкий экономический базис. Дело касалось только надстройки.

И в тот же вечер он похвастался Выгорскому счастливым и удачным началом кинокарьеры.

Поэт скорчил гримасу.

— Не путайте только кино с искусством.

— Наоборот, только два искусства создали для себя промышленность—кино и литература.

— Искусства надо ценить не по промышленности, нужной для их распространения, а по степени абстрактности того материала, каким они орудуют. Только с этой точки зрения можно установить объективный ряд их ценности. Безусловно, первое место в этом принадлежит искусству, которое не существует, хотя и были кое-

какие попытки его осуществить, искусство запахов. Материал его такой тонкий и высокий, что орган восприятия его в человеке не может отличить его оттенков. Поэтому язык наш не имеет самостоятельной номенклатуры для основных тонов запаха, как это есть, например, для цветов. Это—ультрафиолетовый регистр спектра искусств. Дальше идет искусство шумов, музыка—наивысшее из искусств, которое существует реально. Третье место занимает искусство слова, ибо материал его более оформлен, чем звук, и требует для художественного восприятия только предельной чуткости, но все же еще достаточно тонок и пригоден для глубокой обработки. Грубое искусство начинается с живописи, замкнутой в одной плоскости и неспособной так расширяться для восприятия, как два предыдущих. Материал его—краска—слишком конкретный и ограниченный, ибо предпосылкой своей имеет свет. Мрак для него недоступен. Вы понимаете, как, все более конкретизируясь, материал начинает ограничивать искусство? Еще больше сказывается это на скульптуре, которая может работать только в трех измерениях. Но наигрубейшее из известных нам искусств—это театр, который соединяет в себе конкретность всех предыдущих.

— Это и хорошо,—сказал Степан.

— Наконец,—продолжал дальше поэт, не считая нужным ему отвечать,—последним идет искусство жизни, искусство исключительно конкретное и так же не нормированное, как и искусство запаха; чтобы охватить его, нужно только уметь есть. Вот я начертил вам логичный ряд искусств с верным принципом. Для кино в нем нет места. Это—фокус, а не искусство, волшебный фонарь плюс актерская игра, а не наоборот. Это развлечение, поэтому все фильмы кончаются счастливо, а если вы на нем заработали, то угощайте меня сегодня ужином.

— С удовольствием,—сказал Степан.

И они устроили в пивной маленький пир с бутылкой белого вина.

— Я завидую вам,—сказал поэт.—Разница между человеком и растением заключается в том, что человек может передвигаться. Но может ли человек пользоваться этой способностью? Разве не прикованы мы к городам, селам, службам? Жизнь терпима только тогда, когда можешь свободно менять место жительства. Если ты завтра не можешь куда-нибудь поехать—ты раб. Для этого нужны деньги. А теперь они у вас в изобилии.

— А ехать никуда не хочется.

— Поэтому я и завидую вашим деньгам,—ответил поэт.—Но не бойтесь, я не думаю попросить у вас взаймы. К весне я соберу пятьсот рублей. И пойду. Этим летом я буду путешествовать пешком по Украине, как известный украинофил Сковорода. Весной я ненавижу город. Ибо я не порвал еще с природой. Просыпаясь от зимней спячки, она зовет, как забытая мать. Но она слишком от нас далека. Она для нас—воспоминание и отдых.

— Эти леса и поля?—задумчиво спросил Степан.

— Леса и поля. Хоть раз в год надо вспомнить о них. Жизнь бедна, мы вправе на нее жаловаться, но выбирать между жизнью и смертью—это не выбор. Пью за бабушку природу, которая сделала нам хоть и невзрачный подарок, но единственный.

XI

Разбогатев, Степан Радченко прежде всего решил переменить комнату. Он ждал случая, чтобы сдать в архив свою убогую, ободранную конуру, чувствуя к ней глухую вражду, ибо комната человека знает интимней-

шие его порывы, подсматривает его горе, вбирает его мысли и каждый раз выступает лукавым и противным свидетелем прошлого, немного парализуя волю и подтачивая стремление своим вечным надоедливым «я тебя знаю».

Он разыскал комиссионера и изложил ему свои требования: просторная, светлая и отдельная комната в большом доме в центре. Конечно, паровое отопление, без мебели, согласен на отступные. Жилец он тихий, одинокий и аккуратный.

Комиссионер выслушал его и сказал:

— Словом, вам нужна настоящая комната.

Круг его знакомых все расширялся. Незаметно знакомился он с семьями и друзьями товарищей, а у них— с разнообразнейшими представителями рода человеческого. Его шляпа все чаще поднималась на улице, отвечая на приветствия молодых ученых, партийцев, профсоюзных деятелей и просто особ обоего пола, незаметных служащих учреждений, где им платили деньги. В театре, в курильном зале, он мог уже свободно присоединиться к кампании, где обсуждалось представление, исполнители и впечатление; мог зайти куда-нибудь на чашку чая, бывал на вечерах, где читались и критиковались новые вещи за стаканом вина, на вечерах, где просто бездельничали и рассказывали любовные истории, а порою пользовался невинными развлечениями, к которым инстинктивно тянется усталая душа.

Среди товарищей он чувствовал себя хорошо, непринужденно, радуясь тем тоненьким ниточкам, которые плел меж людей, как старательный паук. Всем интересуясь и чувствуя неутихающую, неодолимую жажду знать и понимать каждого нового человека, он незаметно расспрашивал, интересовался его жизнью, взглядами, работой, узнавал его мечты и увлечения, ища

входа в таинственный музей, который представляет собой человек,—музей сокровенных мыслей и чувств, музей воспоминаний, пережитых тревог и поблекших надежд. Интересовался всеми мелочами, в которых ярче сказывается личность, его занимали даже сплетни. Он мог, не застав кого-нибудь дома и попросив разрешения написать записку, рыться в его столе, в записках, в бумагах, охваченный непобедимым желанием узнать тайны чужого существования. И, как настоящий маниак, умел прятать свое волнение под неизменным спокойствием, как хитрый преступник, носил с собой всегда ассортимент универсальных отмычек, незаметно проделывая ими над ближним наисложнейшую операцию. Имел десятки знакомых, но ни одного друга. Идя с кем-нибудь рядом, чувствовал неизмеримую отчужденность, ибо всегда между ним и кем-то другим было стекло, увеличительное стекло исследователя. И часто, возвращаясь с многолюдных собраний, ощущал гнетущее одиночество, пустоту в мыслях и усталость.

Вскоре к служебной работе прибавилась работа в культкомиссии месткома. По обыкновению он взвалил работу себе на плечи, придал ей темп и стройность, удовлетворяя свой общественный аппетит, потребность работать для людей и тормошить их, ибо то иное, лукавое отношение к ним не могло вобрать в себя всей его энергии и исчерпать размах его интересов. Из него вышел хороший гражданин, решительный в общественных вопросах, неуверенный в своих собственных. Сельбуд, КУБУЧ, местком—он всюду проникал в конце концов, ибо должен был найти область, где можно развернуть и применить свои общественные наклонности. Заседание комиссии, заседание месткома, секции, конференции, организация выступлений и вечеров, создание, обсу-

ждение планов и смет—все горело в его руках блестящими шарами жонглера. На него можно было положиться, стопроцентную нагрузку тянул он, как бодрый рысак, и чем больше ощущал на себе давление, тем удобнее разделял свое время. Труднее всего становилось выкраивать несколько часов в неделю для встреч с Зоськой. Они чем дальше, все меньше укладывались в его расписании, ибо час перед обедом был для него самым загруженным. Перед свиданием он с печалью и недовольством думал о том, что завтра придется бросать дела, отговариваясь разными пустяками, бежать в другой конец города, потом возвращаться, вновь подхватывать на плечи работу и обедать поздно, нарушая распорядок дня. Но и вечером он никогда не мог уверенно сказать, будет ли завтра свободен. Да и в театре появлялся с товарищами, не предупредив Зоську.

Комната, где они встречались, стала для него маленькой станцией, где он вставал с экспресса с чемоданом в руках, прислушиваясь ко второму звонку. Целовал ее торопливо, с какой-то нервозной настороженностью, и это разбивало их странные любовные мечты. Ушли минуты тихого очарования, когда они сидели близко, тихо склонившись друг к другу, поблекли жгучие ласки рук, растаяли влюбленные шопоты о любви и слова не соединялись в музыке слияния и превращались в великий шаблон. На рубеже весны желтели листья на древе их познания, облетая незаметно день за днем, оставляя голые понурые ветви.

Девушка чувствовала это болезненно и тревожно. Он совсем забыл ее! Что ж поделаешь, дела! Неужто она значит менее дел? Тогда Степан раздражался и говорил о преобладании общественного над личным, читая ей скучную мораль, в которую сам мало верил.

— Настанет лето, и я буду свободнее,—утешал он ее.—Можно будет уехать на дачу.

Говорил он так уверенно, голос его так баюкал ее, что она против воли верила и уносилась за ним в это сказочное путешествие, где будут снова только он и она, свободные от всех забот, зачарованные и радостные. Но куда ехать? Он решительно стоял за путешествие по воде: или по Днепру, через пороги, или морем от Одессы до Батума. Можно будет побродить по горам. Он достанет фотографический аппарат. Но сейчас ему пора итти.

— Побудь еще хоть пять минут,—просила она.

Он ворчал, но оставался. Она сидела в своем кресле, подогнув ноги, задумчивая, молчаливая, чувствуя тоску, отнимавшую смех, шутки, капризы. И через минуту хмуро шептала:

— Нет, лучше уходи.

Как-то Зоська сказала ему, что у одной из ее подруг проектируется вечеринка в складчину. Там, конечно, будут танцовать фокстрот, но она сомневается, сможет ли божественный усвоить его за такое короткое время. Он отказался бы от вечеринки, но раз вопрос касался его способностей, он сказал:

— Глупости! Показывай!

Сначала надо было научиться вальсу, основе всех танцев. Подобрав юбочку, Зоська медленно и выразительно показывала ему нужное па.

— Раз-два-три! Раз-два-три!

Он стоял, заложив руки в карманы, сосредоточенно наблюдая.

— Еще раз!—скомандовал он.

Теперь он попробовал сам. Сняв пиджак, насильно двигал непослушными ногами. Зоська стояла рядом и, тихо хлопая в маленькие ладоши, напевала мело-

дию, стараясь, чтобы в соседней комнате не слышали жильцы.

— Так, так,—говорила она,—чудесно!

Немного привыкнув, он захотел танцовать вдвоем.

— Даму надо обнять,—сказала Зоська.

— Это я умею,—ответил он.

Время прошло незаметно. Зоська предвещала ему великое будущее в танцах.

— Ты танцуешь необычайно легко.

— Значит наши уроки будут продолжаться?

— Только мы поменялись ролями.

В следующий раз они снова танцовали вальс, тихо напевая мотив. Он стал уверенней в движениях и ритме.

— Я устала,—сказала Зоська.

— Еще, еще,—сказал он.—Надо работать. Времени мало.

В конце концов он признался ей, что дома танцовал со стулом.

После вальса фокстрот показался ему легким, даже разочаровал его своей простотой.

Зоська пояснила, что фигур масса, что тут можно вводить акробатику и собственные изобретения. Но даму обнимают теснее, чем в вальсе. И это его забавляло. Он представил себе, что может обнимать массу женщин, высоких и полных, и сквозь одежду чувствовать их грудь и пружинистый живот. И удвоил усердие.

Вопрос с квартирой двигался медленно, отнимая у него массу времени. Приличной комнаты не находилось. Степан являлся к комиссионеру злой, ругался, вновь выкладывал свои условия, каждый раз слушая ту же самую предупредительную фразу: «Словом, вам нужна настоящая комната».

Затем получал десяток новых адресов, но одно и то же повторялось без вариаций: часть комнат была уже

нанята, часть должна была освободиться неизвестно когда, часть совсем не освобождалась, а другие, которые действительно сдавались, были настоящими трущобами, ободранными и грязными; он с отвращением смотрел на следы, оставляемые после себя человеком, кучу сора и жирные обои, свисавшие, как гной, с отвращением чувствовал в застоявшемся воздухе пот и смрад человеческой жизни, с невеселой мыслью про грязь и животность людей, из которых незначительная часть чиста лишь потому, что моется и меняет белье.

В конце концов заявил комиссионеру, что лазить по лестницам зря не имеет желания, и тот согласился сообщить ему, когда подвернется хорошая комната.

Со своей комнатой Степан уже давно попрощался и заходил в нее вечером, как в отель.

«Вот найдется комната,—думал он,—и тогда можно будет писать».

Вообще он привык к неожиданностям и не волновался.

Приближалась весна. Снег еще не таял, но посерел, потерял блеск, стал рыхлым в кучках, а на мостовой слежался от безостановочной езды в черную массу, с глубокими выбоинами от ритмичных ударов копыт. На тротуарах он превращался солнечными днями в жидкую кашицу, застывающую неровно в холодные ночи. Его бросали с крыш огромными слоями, которые глухо падали наземь, как бездыханное тело. На углах девушки в шубках продавали подснежники со степных курганов, где уже оголилась земля.

— Пять копеек пучок, пять копеек!

Настали солнечные рассветы, полные теплых ветров, несших с полей запах сырой земли, прошлогодних трав и томящийся аромат всходов и набрякших почек. И в тихие, задумчивые дни, когда в крови просыпается

простая радость жизни, когда душу охватывает тот бездумный порыв, приводивший далеких пращуров к алтарям весеннего бога, Степан любил бродить по городу.

Зажав подмышкой тяжелый портфель, блуждал он перед обедом по улицам, без цели, чувствуя необходимость побыть одному после однообразных встреч на службе и общественной работе. Некоторое время он сам не понимал этого тяготения к улице и смутной радости среди гомона и смеха весенней толпы. Думал, что гуляет, как гуляют все,—для отдыха и из желания проветриться.

Но как-то, вернувшись домой взволнованным и возбужденным, должен был признаться, что ходит смотреть на женщин. Он понял, что только на них останавливались его глаза: на веселых лицах, на обольстительных ногах и теплых костюмах, прятавших тело, которое он до боли ощущал. Только на них глядел он с жгучим увлечением, будто каждая таила отдельную, только ей известную тайну, отдельный, выращенный для него сад любви и сладострастья, и от каждой веяло на него сладостным дыханием, которое пьянило его и восторгало. Душа его замирала в горячем тумане, когда видел он женщину, красивую, стройную, способную любить и достойную любви, и сам любил ее, мгновенно проникаясь невыразимой благодарностью, что она есть, что он видит ее и ласкает беглым взглядом. Некоторые озирались, улыбаясь ему незаметной зовущей усмешкой, и сердце его пенилось и пело. И теперь, поняв это, почувствовал не стыд, а тревогу, радость от сознания буйной силы, пылающей в нем, как частица могучего стремления, движущего миром. Какое-то новое, ясное чувство проснулось, не желание, а эхо желаний, уверенность, что способен любить и быть счастливым.

Он подошел к окну и раскрыл его, разрывая бумагу. Вместе с холодным потоком воздуха в комнату ворвался грохот улицы, звон женских голосов, шелест женских шагов и платьев. Юноша вытянул руки. Что это с ним? Весна? Откуда это пьянящее предчувствие близкого, неожиданного свидания? Он упал на кровать и, сжавшись от холода, лившегося в комнату, отдался сладострастным мечтам. Миражи наполняли его комнату, исчезая и нарождаясь от самовольного полета его мыслей. Он путешествовал в горячих чужих краях, блуждал пахучими степями и зарослями, взбирался на горы, откуда виден безграничный овал земли, и всюду тянулись к нему тонкие руки, склонялись волшебные лица, прикосновение которых он ощущал, как настоящие поцелуи. Он мечтал. И внезапно в этом волшебном путешествии по прекрасному краю любви ему навстречу вышла маленькая бледная фигура, склоненная и скорбная, как придорожная нищенка. Зоська. Он остановился от неожиданности, и блестящие видения поблекли, и фигура стала явственней, и вот он остался с нею один-на-один в пустой комнате, угнетенный внезапностью случившегося. Зоська! Страшное сожаление угнетало его при воспоминании о девушке, которая была уже выпита, вычерпана до дна, которую он душевно покинул. Образ ее вызывал печаль, а не порыв, боль за бессмысленную жизнь, где нужно сохранять привычные радости, ибо люди и чувства их цепки и их приходится отрывать, как пластырь.

Был девятый час, и он подумал, что застанет Выгорского в пивной. Шум и толпа его успокаивали. Улыбаясь подошел он к столику поэта.

— Жаль, что вы немного опоздали,—сказал тот.— Только что был интересный скандал. Выводили пьяного, а он вырвался и разбил в буфете два блюда с рыбой.

Зрелище было чудесное. К сожалению, ему не позволили продолжать.

— Будем ужинать?—спросил Степан.

— Если вы угощаете,—сказал поэт.

Они заказали пожарские котлеты, и поэт налил стаканы.

— Мне тяжело,—сказал Степан.—Это—весна.

— Всякая весна кончается морозами,—ответил Выгорский.—Лучше не увлекаться весной, чтобы потом не тосковать.

— Ну, уж извините. Если так смотреть на вещи, лучше умереть, не думать.

— Не имею никакого желания умирать,—ответил поэт.

— Желать то, что должно быть—это уж бессмысленность.

Он внезапно просиял.

— Друг мой, я не сказал вам еще о своей последней радостной новости? Счастье на земле возможно!

— Неужели?

— Да. Я думал о счастьи двадцать восемь лет и пришел к выводу, что оно не существует. А на двадцать девятом изменил свою мысль. Кстати, вы не заметили, как мне стало двадцать восемь лет? Это было позавчера. Это время—большой обманщик—чисто работает!

— Но оно принесло вам счастье,—сказал Степан.

— Лучше бы не приносило,—вздохнул поэт.—Я не боюсь ни старости, ни смерти, но все неминуемое меня возмущает.

Он уперся ладонями в подбородок и минуту смотрел молча перед собой на полную залу, которая трепетала от шагов и голосов. Его худое небритое лицо поросло мелким черным волосом и казалось очень усталым.

Потом задвигал пальцами, поглаживая шершавую щеку:

— Счастье?—сказал он сразу.—Даже счастье меня не удовлетворяет. Дело в том, что я был счастлив, не замечая этого.

Властным и острым движением он налил стаканы.

— Все дело в том, что счастье ничего общего с удовлетворением не имеет. Если бы было иначе, мы не могли бы понимать людей.

И поэт заговорил о счастьи, называя его высшим духовным здоровьем и чувством гармонии.

Степан слушал с интересом, но слишком отвлеченная беседа скоро утомила его. Выгорский сыпал парадоксами, примерами. Время летело незаметно.

Пивная пустела.

— Скоро двенадцать,—сказал хозяин пивной, приятно улыбаясь.

Конечно, это—детское время, но он, как честный гражданин, считает своей обязанностью исполнять букву закона, тем более, что штраф большой.

У дверей он добавил:

— Сегодня было немного шумно, извините, пожалуйста.

Он намекал на скандал с блюдами.

— Заводите алюминиевую посуду,—посоветовал поэт.—Она не бьется, а металл пользуется теперь огромной популярностью.—Потом обратился к Степану:—Хотите погулять? Чудесная украинская ночь.

Молодой человек колебался.

— Я устал,—сказал он.

— Обещаю молчать.

И пошли вдвоем к Опере, где представление кончилось и незанятые извозчики медленно разъезжались домой. Дойдя до Шевченковского бульвара, приятели повернули назад. Поэт действительно молчал, подняв воротник и засунув руки в карманы пальто. Степан,

пьянея от холодного сияния луны, снял калоши и скользил по замерзшему тротуару.

С тревогой и страхом шел на очередное свидание с Зоськой. Где найдет он слова, чтобы высказать то тяжелое сложное чувство жалости и необходимости разрыва, которое его угнетало? Шаблон любви подсказывал, что для ухода должна быть причина, ревность, измена, ссора или хотя бы заметное охлаждение. Да и справится ли он, поймет ли она?

Зоська уже ждала его. Сидела в кресле, в пушистой голубой кофточке, беззаботно, сбросив туфельки, и улыбнулась, когда он вошел.

— Как я соскучилась по тебе!—сказала она.

Юноша нерешительно остановился у порога, смотря на нее смущенными глазами.

— Я тоже соскучился,—ответил он.

В этих словах было столько печали, что и для него они зазвенели неожиданной откровенностью.

— Иди же сюда,—прошептала она.

Он бросил пальто и шляпу на стул и подошел к ней походкой вора.

Она усадила его рядом на коврик и обняла его голову.

— Поцеловать тебя?

— Поцелуй.

— Ты хочешь?

— Хочу,—безнадежно шепнул он.

Она еле коснулась его уст своими устами и, вздрогнув, припала к нему долгим безумным поцелуем, от которого он начал задыхаться.

— Так я тебя люблю,—сказала она.

Он униженно молчал, гладя и целуя ей руки.

— Эти два дня, которые мы не виделись, казались мне такими бесконечными, как два года,—сказала она.—

Не знаю, что стало со мною. Хотела зайти к тебе на службу.

— Весна...—пробормотал он.

Она захлопала в ладоши.

— Ах, конечно, весна, как же я не догадалась!—И тихонько запела, качая ногою:

Весна, весна, весняночка,
Де твоя сестра-паняночка?

Степан глядел на нее, любуясь ее маленькой бодрой фигурой, проникаясь радостью, звеневшей в ее голосе. И ему захотелось взять Зоську за руку, водить ее цветущими полями, чтобы она пела, пела для него, для солнца, для роскошного горизонта, затканного белыми тучами.

Он стиснул ее руку и сказал:

— Зоська, пойдем в поле, когда растает снег?

— Ну, конечно. Я сплету венок!

Он не мог себя сдержать и в сладостном порыве раскаяния, в огне воспоминаний, которые были связаны с этой девушкой, обнял ее и стал безумно целовать ее глаза, волосы, губы, захлебываясь от радости и покорности, как не целовал еще никогда.

— Ты... Зоська... Я не могу без тебя, не могу...—шептал он.

Когда успокоился, она погладила его по голове.

— Ты—божественный.

Но ему мало было этих поцелуев. Что-то невысказанное осталось в душе. Он хотел сделать для нее что-то исключительное, хотел, чтобы ей всегда было радостно около него, хотел связать ее с собою навсегда.

— Зоська, я давно о чем-то думаю,—с увлечением сказал он.

— О чем?

— Давай поженимся.

Она отшатнулась.

— Ты с ума сошел!

Нет, он совсем не сошел с ума. С блестящей находчивостью начал он обстоятельно доказывать свою мысль. Прежде всего фактически они уже женаты. Расставаться они не собираются. Следовательно, надо сделать выводы. Он живет как бедняк, без всякого порядка. И это мешает ему писать. Да и нельзя же вечно пользоваться чужой комнатой! Они достаточно знают друг друга. Зачем красть где-то часы встреч, когда они вообще могут быть вместе? Ей тоже лучше будет жить, конечно, если она любит его. Все же женятся, и странно, как они до сих пор еще не поженились! Материальная сторона целиком обеспечена. Да он и службу поможет ей найти в конце концов.

Он спокойно взвешивал доводы «за» и не находил ни одного «против». Потом спросил:

— Скажи, ты хочешь? Зоська!

Она лукаво ответила:

— Конечно, хочу!—И грустно добавила:—Если бы ты знал, как тяжко быть любовницей. Я так исстрадалась, измучилась.

Он благодарно поцеловал ее.

— Теперь конец твоим мукам. Но родители?

— Я их и спрашивать не стану. Выйду замуж и все.

Теперь она села возле него на коврике, и началась увлекательная беседа о будущей жизни. В Загс они пойдут, когда будет комната. Но, может быть, надо сразу две. Подумав, согласились, что две найти труднее и труднее меблировать. Степан развивал широкие планы работы и развлечений. В Зоське сразу проснулся женский дух порядка. Она сразу представила себя хо-

зяйкой с неограниченной властью в доме. Два ковра — или она замуж не выходит! На завтрак, конечно, яйца.

— Это очень полезно и вкусно,—сказала она.

Он обнял ее и шепнул ей на ухо:

— Кроме того заведем себе пацанка.

— А что такое пацанок?

— Это—маленький мальчик.

— Ах, мальчик, это очень хорошо!

В конце Степан догадался посмотреть на часы. Пять минут четвертого. Какой обманщик это время!

Одеваясь, Зоська вдруг встрепенулась:

— Завтра вечеринка. Ты, конечно, будешь?

Он вежливо поцеловал ее руку.

— Ну, разумеется. Если хочешь, расскажем там о нашей женитьбе.

— О, это будет фурор!

Зоська взяла у него шесть рублей—пай—за себя и за него, дала ему адрес и велела притти в десять часов вечера, сама она собиралась отправиться туда раньше, чтобы помочь хозяйке.

Но он не хотел расставаться с нею до завтра.

— Сегодня мы в театре?—спросил он.

— Только, чтобы обратно извозчиком!

XII

Степан проснулся во-время, но, не вставая с кровати, почувствовал грызущую тоску. Он лежал, открыв глаза, в том полубольном состоянии, когда не хочется ни двигаться, ни думать, когда кровь в жилах движется медленно, будто тело еще спит, несмотря на то, что сознание проснулось. Потом вскочил, вспомнив глупость, сделанную накануне.

Он силился воспроизвести события вчерашнего дня, понять ту путаницу, которая привела его в западню,

ибо одна мысль вклинилась колючим острием в сознание: «Должен жениться!» Да где там должен! Должен, потому что сам напросился, как идиот, с этим глупым планом, который, осуществившись, приневолит и скует его. И весь ужас брачной жизни сразу встал перед ним, рождая в душе ужас и отвращение, как призрак тюрьмы, как гроб, куда он решил лечь с завязанными руками.

Чувствовать неотвязное присутствие так называемого близкого человека, с которым надо делиться мыслями, радостями и горем, который возьмет под нежный, незаметный контроль его действия и намерения, станет постоянным участником его планов и надежд. Обзавестись постоянным приложением, выбранным и припаянным на долгие годы, которое будет жить с ним в одной комнате, есть за одним столом, дышать тем самым воздухом. И всюду и всегда будет он чувствовать его присутствие: ночью будет слышать его дыхание, утром видеть его лицо, днем будет знать, что он ждет его, и вечером, встретится с ним в дверях, которые он откроет. Представил себе ленивое спанье вдвоем на кровати, однообразные вспышки страсти, опротивевшие, как чай и ужин, знакомство с чужой душой, где не будет уж тайн, неминуемые ссоры и столкновения, когда различие двух характеров становится все глубже, а затем— тоска примирения—проявление бессильной покорности пред судьбой.

Так поднялась перед ним завеса супружеских будней, бесконечной норы, куда входят ослепленные любовью, которая гаснет, сделав свое дело, и человек бессильно бьется, как муха в тенетах паука, трепеща прозрачными крылышками души, силясь разорвать ненавистное плетенье. Смешно—стремиться в западню, искать собственного несчастья! Глубокое сочувствие, неисчерпаемое сожаление к себе обняло его, дохнув теплом в глаза;

ему захотелось приголубить и успокоить себя ласковыми словами, как доверчивую жертву человеческих отношений.

За стеной просыпались соседи: застучали дверями, в кухне зашумели примусы, зазвучали звонкие женские голоса и детский плач. Он слушал, ощущая караулившую его опасность. Она казалась близкой, точно стояла у порога комнаты, положив на дверную щеколду ужасную руку. Так будет кричать мой ребенок, так будет ссориться моя жена, а мой басок будет недовольно ворчать, как этот мужской голос. Да разве можно писать в такой обстановке? И голос души его уверенно ответил: «Разумеется нет! Ни черта ты, парень, не напишешь. Амба! Каюк твоим надеждам! А жаль! Ты способный, что ни говори!» И вот он должен попрощаться со своим дорогим внутренним светом, как чернец с миром на пороге монастырской тьмы.

Да одно ли творчество сгорит жертвой на чудовищном, мрачном алтаре? Разве не выдает он вексель на все свои поцелуи, бессрочный вексель на любовь, обязываясь платить ростовщические проценты супружеской верности? Есть масса женщин неузнанных, масса прелестных лиц и выхоленных тел, пройти мимо которых— значит утерять! И в памяти внезапно выросли гибкие фигуры, виденные мельком на улице. Печаль угнетала его. До сих пор любил он женщин, встреченных случайно на городском пути. Ему вдруг показалось, что его ждет воплощенная лучезарная греза, стройная, прекрасная, которая будет целовать его весенней ночью в темном парке, которая будет бродить с ним по спящим улицам, поднимая на него сияющие радостью глаза.

Степан поднялся и сел на кровати, непричесанный, в растегнутой рубахе. Со стула, стоявшего рядом, взял папиросу и закурил, глубоко и жадно затягиваясь.

Как же это случилось? Все его вчерашние красноречивые доводы куда-то исчезли, испарились. Суть была в том, что он почувствовал сожаление к Зоське, прощальное сожаление, и неосторожно был захвачен этим чувством. И вот приходится расплачиваться не за грех, а за собственную доброту! Степана охватило злое желание жениться во что бы то ни стало и тем проучить себя. Пусть в другой раз не жалеет других—не наказывает себя!

Но как она могла так предательски воспользоваться его благородным порывом? Неужели у нее не хватило такта отказаться, понять, что такое предложение делается только с отчаяния! Теперь об уважении к ней не может быть и речи. Недостаток примитовной деликатности—это в наилучшем случае, в худшем—это тонкая, хорошо обдуманная игра, девичья охота на жениха. Между прочим, она безработная, да и делать-то ничего не умеет, а деньги на наряды нужны—почему же ей не выйти? В особенности, если встретился хороший, добрый человек, плохо разбирающийся в жизни и женских хитростьях! Степан взволнованно поднялся, и, ступая босыми ногами, пошел к стулу, где лежали его брюки. Мошенница эта Зоська! Но его так просто не обманешь!

Степан быстро начал одеваться, вспомнив о службе. Личные дела не давали права прогулов. Умываясь, он подумал, что, может быть, и правда, что она его любит, и ей будет больно услышать, что он собирался ей сказать. И, вновь почувствовав сожаление, злобно брызнул себе в лицо водой. А, чтоб ты пропала! Если и любит, то любит напрасно, давно пора бы разлюбить. Не любовный же он собез, в самом деле!

Взяв подмышку портфель, он быстро вышел на улицу, находу застегивая пальто, и вскочил в трамвай. Торопливо выпив в кафэ чашку чая с пирожным, он пришел

в редакцию, опоздав на полчаса. Это опоздание было ему неприятно.

«Надо взять себя в руки», подумал он.

Как на зло было много работы. За какой-нибудь час он раз десять подходил к телефону и ответил на кучу писем. Потом съездил в типографию, опять вернулся в редакцию, составил ведомость на гонорар за последний номер журнала и освободился к четырем. Служащие расходились, кивая ему или пожимая руку, и ему хотелось крикнуть им как приятную шутку: «Знаете, я чуть-чуть не женился! Забавно, не правда ли?»

Потом пообедал, почитал в столовке газету и отправился на заседание месткома. На повестке дня стоял вопрос о курортной кампании—вопрос важный и ответственный. Начиналась весна, пора было подумать о летнем отдыхе писателей, о ремонте их творческих сил. К восьми собрание кончилось, но кто-то предложил пойти в кино, и только в половине одиннадцатого Степан Радченко вернулся домой. Дома волнение, приглушенное посторонними заботами, проснулось вновь. Надо же, чорт возьми, кончить это дело... с этой... женитьбой!.. И еще эта вечеринка! Злоба душила его, когда он вспомнил, что на вечеринке должны были отпраздновать его помолвку. Немного подумав, решил все-таки итти. Пусть не думает эта обманщица, что он трус! Он бросит ей правду прямо в глаза, будьте уверены!

Адрес в блокноте. Прекрасно! Не пропадать же трем рублям! К тому же завтра праздник и можно развлечься. А главное—хотелось потанцовать, практично использовать добытое уменье.

Степан заботливо причесался, аккуратно вымылся, чтобы притти на вечеринку как можно позже. Пусть она немного помучится! Около двенадцати часов он

позвонил на третьем этаже большого дома на улице Пятакова.

Открыла ему девушка, которую он видел впервые, но Зоська сразу вышла в переднюю. Увидев ее маленькую фигуру, худое лицо и кончик носа, Степан решил, что не только разговоры о браке, но и все отношения с этой канарейкой должны быть прерваны. Что могло понравиться ему в ней? Он покраснел от стыда за свой вкус.

Тем временем Зоська познакомила его с девушкой, открывшей дверь.

Это была хозяйка дома, и юноша любезно поцеловал ее руку.

— Раздевайтесь,—сказала она приветливо.—Мы уже давно танцуем.

Степан поклонился. Сквозь незакрытые двери гостиной доносился громкий мотив танца, шелест ног по полу и негромкие разговоры.

— Почему так поздно?—взволнованно спросила Зоська, когда хозяйка вышла.—Я взволновалась. Тебе нездоровится?

— Нет, я здоров,—сказал он.

Зоська успокоилась и радостно твердила:

— Как хорошо, что ты пришел! Все теперь в сборе. Ах, как весело! Родителей, конечно, отправили из дому, потому—родители самый скучный народ. Никто так не надоедает, как родители.

Потом взяла его под руку, чтобы вести в гостиную. Но он выдернул свою руку и холодно сказал:

— Подожди, я должен с тобой поговорить.

Зоська остановилась, удивленная суровостью его тона.

— Я чувствую, что что-то случилось!—воскликнула она.

— Зоська,—продолжал он,—вчера я наговорил глупостей. Признаю свою ошибку. Но забудь о них навсегда.

Она немного помолчала. Потом тихо ответила, смотря ему в глаза:

— Ты ведь сам начал. Что же, пусть будет так, как было раньше.

Покорный тон и укоризненный взгляд рассердил его. Он нервно передернул плечами:

— Да, но не так, как раньше, а никак! Понимаешь?

Зоська прошептала, качая головой:

— Значит ты меня не любишь?

— Брось ты эту любовь!—раздраженно крикнул он.— Опротивела ты мне! Отвяжись от меня, вот что!

И, повернувшись, вошел в гостиную.

На пороге остановился, оглядывая комнату.

Повидимому, это была приемная врача, потому что по столикам валялись иллюстрированные журналы и, несмотря на табачный дым, пахло медикаментами.

Стулья и кресла были сдвинуты к стенам, чтобы освободить посредине место для танцев. В другой комнате горела матовая красная лампа, а слева, сквозь закрытые двери, был слышен звон посуды. Гостей было человек двадцать, и он сразу заметил, что женщин больше. Танцовали только четыре пары. Некоторые сидели у стен, где стояла мебель. За пианино сидел еврей-тапер, поднявший на Степана безразличные глаза профессионала, у которого заняты только руки.

Окинув внимательным взглядом обстановку и присутствующих, юноша, свободно и легко усмехаясь, подошел к хозяйке и, вновь вежливо поклонившись, просил познакомить его с гостями.

— А где Зоська?—спросила она.

— Куда-то исчезла.

Музыка затихла, пары разошлись. Он медленно обошел с хозяйкой комнату, останавливаясь возле занятых стульев и уверенно произносил свое имя, небрежно глядя на мужчин, а на женщин остро и внимательно, как на подсудимых. Он скользил глазами по их волосам, щекам и шеям, безжалостно открывая в фигурах малейшие недостатки. Его пожатие было сильным и зовущим, и, глядя на женщин, он выставлял себя напоказ, с удовольствием чувствуя себя самым интересным из всех кавалеров. Но перезнакомившись остался недоволен— ни одна ему не понравилась.

— Мы не были еще в «красной гостиной»,—сказала хозяйка.

— Извините,—ответил он.

Там, в красном полумраке, за столиком, сидели в мягких креслах двое мужчин и женщина. Здесь было много зелени—высокий фикус, олеандр, лапчатые кактусы, острые трилистники, и в тусклом свете лампочки, обернутой красной бумагой, комната казалась таинственным садом. На полу был пушистый ковер—зеленый мох этой волшебной опушки. Тут было то затишье, та истома, которая заставляет говорить шопотом и тихо, украдкой смеяться.

У женщины было спокойное, почти недвижимое овальное лицо в прямоугольной рамке гладко подстриженных волос с ровным локоном над глазами, оно напоминало что-то старинное, утонченное и застывшее, как лица далеких египтянок, шедших с опахалами за фараоном. Но глаза его жили, двигались и смеялись, большие загадочные глаза, блестевшие в полумраке, как у кошки. Одета она была в темное бархатное платье, которое проходило узкой полоской через одно, свсем оголенное плечо.

Хозяйка вышла. Степан отодвинул кресло и сел про-

тив нее, между двумя мужчинами, и, не ожидая, пока разговор возобновится вновь, прерванный его появлением, непринужденно сказал:

— Можно подумать, что тут фотографическая лаборатория.

— Нам как раз и недоставало фотографа,—ответила женщина низким контральто.

По этим словам и смеющейся интонации он понял, что понравился.

— Я, Рита, тоже фотограф,—отозвался сосед слева, женоподобный юноша.

Этот ответ показал Степану, что дела этого юноши очень шатки.

— А я фотограф-спец,—заявил он.

И спокойно, уверенно добавил, что он—писатель, а искусство его заключается в фотографировании душ.

— Только душ?—спросила она.

— Дорога к душе идет через тело,—ответил он вычитанным парадоксом.

Разговор зашел о литературе, и Степан, закурив, умело вел его. Конечно, ни один из присутствовавших не мог превзойти его в знании предмета и уверенности суждений.

Женоподобный юноша не выдержал и исчез. В комнату проникали густые звуки фокстрота, оседая на ковре, мебели и растениях увядшими лепестками огромного увядшего цветка. В светлом просторе дверей мелькали фигуры, и некоторые, переступая порог, нарушали священное затишье резким шорохом обуви. Степан говорил о литературе современной, своей и чужой, декламировал стихи любимых поэтов, чтобы навеять прекрасной Рите чувство и желание любви, чтобы притянуть к себе ее оголенные руки, смуглые и обольстительные под тусклым светом красной лампочки. Иногда она оста-

навливала на нем свой блестящий взор, который намекал на понимание и согласие, и тогда юноша чувствовал глухое и горячее кипение крови.

— А все-таки какая масса новых писателей!—сказала она.

Усатый юрист неприятно усмехнулся.

— Нечему удивляться! Ведь каждый пишет в детстве дневник и стихи, но, вырастая, бросает эти пустяки, а кое-кто и в зрелости остается ребенком.

Степан вспыхнул и, не поднимая головы, едко ответил:

— Усы—еще не признак возмужалости!—Потом поднялся и спросил Риту:—Хотите танцовать?

— С удовольствием,—сказала она, взяла его под руку, и они вышли в зал.

Теперь, при свете шести лампочек, горевших под потолком, он мог рассмотреть ее целиком. Она была из двух тонов—черного: волосы, глаза, платье и лакированные туфельки, и смуглого: лицо, тело, руки, плечи и чулки, и это простое соединение придавало ее фигуре гордое очарование; ни одного локона и гребешка в гладкой прическе, ни одного ухищрения в ровном платье, которое от талии немного расширялось и было подрезано внизу, как пряди волос надо лбом. Все черное шло у нее от глаз, а смуглое застыло. Жизнь была в нарядах, а в теле сон.

Перед ним качались танцующие пары, и Степан внезапно увидел, что Зоська с увлечением танцует с женоподобным. Он невольно подумал: «Ну, вот, она и утешилась. Как раз к паре». Потом обнял свою даму, и, выждав такт, они пустились в толпу танцоров. Она двигалась гибко, внезапно прижавшись к нему всем телом, от груди до колен, отдавшись целиком ему и танцу, а он заглядывал ей в глаза молящим взглядом. Их горячее

тепло встречалось, пройдя сквозь ткани, волна истомы, могучая и сладостная, затрепетала в их крови, и юноша мгновенно перестал чувствовать все, кроме ритма и прижавшегося, отданного ему тела, которым владел в то мгновенье полней, чем мог бы взять его когда-нибудь взаправду.

— Ужинать, ужинать!—крикнула хозяйка.

Музыка оборвалась, и Степан с сожалением опустил руки. Тоскливое недовольство угнетало его, ибо этот жестокий танец душит, насилует страсть, оставляя после себя печаль и бездумный порыв. Он взял ее под руку, чтоб чувствовать ее тело. И она, будто откликнувшись на его тревогу, крепко стиснула его пальцы.

— Сядем рядом?—шепнул Степан, просияв.

— Конечно.

Все двинулись в столовую с радостным шумом, желая подкрепиться. Он столкнулся на мгновенье с Зоськой и, пользуясь тем, что ее кавалер отвернулся, тихонько, но весело шепнул: «Прощай, Зоська!»

Она посмотрела на него глубоким, медленным взглядом, знакомым ему, но уже нечувствительным, и тоже что-то тихо ответила, но он не расслышал ее слов.

Стол был раздвинут во всю длину и густо уставлен простыми, но вкусными вещами: консервы, сыр, селедка, ветчина, фаршированная рыба, винегрет и разнообразные колбасы. Среди блюд и тарелок стояло немного цветов, лежал нарезанный хлеб в трех корзинках, блестели зеленые шейки винных бутылок и стеклянные пробки графинов с водкой.

Степан старательно наливал себе и Рите. Она пила спокойно, медленно и уверенно выбирала вино. Он глядел на нее и не узнавал. Что-то инертное, безразличное было в ее чертах, и только тогда, когда глаза их встречались, он снова узнавал ту, с которой сейчас танцовал.

— Рита, Риточка!—шептал он.—Какое роскошное имя!

Лица гостей казались ему уже более близкими под безостановочным действием напитков. Усатый юрист бодро увивался возле белобрысой девушки с пышным бюстом, встретил его взгляд сначала сурово, потом совершенно неожиданно подмигнул ему и усмехнулся, как союзник.

Зоська сидела в конце стола, любезно разговаривая с женоподобным юношей. Он сиял от удовольствия своим круглым лицом. Степан несколько раз внимательно посмотрел на ту пару, желая встретиться с девушкой глазами и пристыдить ее, но она упорно не оборачивалась, и юноша почувствовал разочарование. Вот вам и любовь! Кокетничает с первым попавшимся, как будто ничего и не случилось. Жаль, что он не наказал эту обманщицу!

В конце концов перестал обращать на нее внимание. Голоса становились громче, разливаясь потоком беспорядочных разговоров, в которых слышались смех и пьяные выкрики. И Степану казалось, что он мчится с высокой горы на саночках. Он нащупал ногу соседки и сдавил ее.

— Осторожней, чулок запачкаете,—спокойно сказала она.

— Я вымою его в собственной крови,—ответил он.

— У вас много лишней крови?

— Вдвое больше, чем следует!—ответил он многозначительно.

Наконец опьянение его дошло до такой степени, когда человеку становится грустно. Так, будто он уже съехал с горы и стоял одинокий на серой равнине и смотрел оттуда на свою соседку с отчаянием и страхом. Неужто опять любовь? Это скучное тяготение между мужчиной и женщиной? Любовь—это большое алге-

браическое задание, где после всех усилий, раскрыв скобки, получаешь ноль. И всегда во всех случаях одно и то же. Меняются слагаемые, множители, знаки, но результат всегда равен себе.

Он глубоко задумался. Вдруг она положила руку на его колено.

— Стефан...

— Что?

— Дайте руку.

Он протянул руку и сейчас же вырвал, вздрогнув от острой боли. Она безжалостно уколола его в ладонь. Он в мгновенье очнулся, как будто иголка проколола мыльный пузырь его размышлений.

— Подождите!—сказал он, смеясь.—Я тоже при случае уколю вас!

Ее глаза изменились.

— Не успеете.

Он наклонился и рассказал ей смешную сказочку Катула Мендеса о слепой бабушке, которая пришивала внучку к юбке, чтобы уберечь ее от соблазнов, и все-таки стала прабабушкой, хотя отпустила внучку только два раза—первый раз на четверть часа, а другой—на пять минут. «Как же ты успела за четверть часа найти себе любовника?»—грозно спросила бабушка. А грешница скромно ответила: «Нет, бабуся, это было во второй раз».

— Глупая бабушка, зачем она заставила девушку так торопиться?—сказала Рита.

— Но у вас-то, надеюсь, нет бабушки?—спросил он.

— Нет, но зато есть поезд.

И объяснила, что она приехала навестить родителей, а постоянно живет в Харькове, где танцует в балете, и утром уезжает.

Никогда еще Степан не ощущал такой благодарности

к женщине, как сейчас. Она едет! Значит любви тут не будет? Какое счастье!

Он способен был стать перед ней и петь ей хвалебный гимн. Боже, как хорошо все-таки жить на свете!

— Второй час,—сказала она.—Пора итти. Хотите меня проводить?

Степан охотно согласился.

Юноша ждал в передней, пока Рита попрощается с хозяйкой. Когда она вышла, он схватил ее за руку и притянул к себе.

— Поцелуй меня,—сказал он.

Она тихонько запела, смеясь:

А дівчатка ногы мыли,
А хлопчыска воду пыли,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля!

Потом прижалась к нему, как танцовала, и он почувствовал на мгновенье сладостное щекотание ее языка.

— Огонь любви—приятный только миг!—воскликнул он в увлечении.—А потом на нем начинают варить борщ.

— Миг—для женщины недостаточно,—сказала она.

— Я говорю аллегорически.

Из столовой доносился шум отодвигаемых стульев: это гости вставали из-за стола.

На улицу он вышел без пальто, не обращая внимания на ее протесты. Было холодно, он сразу отрезвел.

— Небо цвета пятирублевой кредитки,—сказал он.

— Вы такой материалист?

— Безусловно. А вы?

— Тоже. Мы и так слишком много отдали идеалам.

---

[1] Наши девки ноги мыли,
А парнишки воду пили,

Сев на извозчика, она протянула ему руку.

— Прощайте, шалунишка!

— Прощайте, мечта!

Он радостно глядел, как пролетка исчезла за углом, махая ей рукой. Конец!

Пора домой. Но он был без пальто. К счастью, двери за ним не закрылись. В передней взволнованно метался женоподобный юноша.

— В чем дело?—спросил его Степан.

— Да вот...—пробормотал тот.—Зоське дурно.

— Ну, так тащите ее домой.

— Надо... Только на руках ее не понесешь.

Степан вынул три рубля.

— Нате.

Юноша помедлил, но деньги взял и исчез.

В зале танцовали—устало, беспорядочно, толкаясь, но танцовали. Степан безразлично прошел под стеной к красной гостиной, сел под фикусом в углу, вытянул ноги и сразу заснул, убаюканный музыкой, шопотом и робкими поцелуями.

Проснулся среди полнейшей тишины.

Красный свет в комнате погас, только в зале горела одна лампа. Он поднялся и тихо вышел в переднюю, снял пальто и пошел медленно пустынными улицами города, тихо спавшего под оловянным небом.

XIII

Домой он пришел в состоянии теплой дремоты, охватившей его в кресле под фикусами. За всю дорогу от улицы Пятакова через пустынный Еврейский базар, который кажется ночью кладбищем, он не успел проснуться от сильного сна после душевного напряжения. Шел вяло и не думал, смотрел не больше, чем необхо-

димо было для ходьбы и во всем теле, в мозгу, в сердце ощущал сладкую истому и потребность полнейшего забытья. В комнате машинально разделся и вытянулся на кровати, забыв снять носки.

Проснулся он в час дня и сразу сощурился от яркого весеннего солнца. Сквозь окно, против кровати, лились горячие лучи. Ложились на стену узором и ласкали лицо. Он схватился и сел на кровати, отдаваясь бессмысленной радости тепла и предчувствию близкого, необъятного счастья. И долго стоял, напрягая мускулы, купаясь в ярких потоках, которые омывали его, как исцеляющая вода. Потом подбежал к окну, раскрыл его и высунул на двор лохматую голову. Первое дуновение воздуха дрожью охватило его тело, второе он встретил приветливей, третье было уже привычное, бодрое и волшебное, будто гигантская солнечная рука протянулась к нему, гладила его волосы и ласкала его грудь. В душу его проникала новая сила, какая-то первичная мощь. Он видел, что прошлое растаяло в могучем сне и солнечном пробуждении, что нет у него воспоминаний, что он сейчас только родился в аромате весны, родился сразу взрослый, опытный, мудрый, полный сил и непоколебимой веры в себя.

Потом оделся торопясь, будто каждая потерянная минута была утратой, умылся и вышел на улицу. Веселые люди разбрызгивали старые лужи зимы, растаявшие под смеющимся солнцем. И все было как счастливая развязка трагической фильмы.

Он шел прямо, без цели, без малейшего желания дойти куда-нибудь и остановиться. Пьянящее чувство гнало его вперед, чувство полнейшей независимости, животная радость избавления от того, о чем вчера думал. На углу Владимирской и улицы Свердлова стояли девушки с полными корзинами цветов. Он купил два

пучка синих подснежников и, не решившись приколоть их к пальто, аккуратно спрятал в карман.

Дома, после обеда, поставил цветы в стакан с водой. Они пахли зеленью, естественной сыростью растения, но это был проснувшийся запах жизни, которая выбралась из глухих недр земли, из мрака, холода, в жгучее сияние тепла. Скромные цветы улыбались ему маленькими знаменами в большой жизни. Он поставил их на стол. Потом достал из кучи книг свой сборник.

Теперь только припомнил он, о чем писал, и читал свою книгу увлекаясь, как что-то чужое, удивляясь неожиданным образом мощному соединению вещей, отдельным словам, которые он предчувствовал, которые стояли там, где он бы их и теперь поставил. И все читанное оживало перед внимательным взглядом и давало возможность вторично пережить радость прежнего творчества. Глубокое удивление охватило его, когда он кончил последнюю страницу. Неужели это он писал? Безусловно! На обложке четко стояло его имя. Но душа его кокетничала, отказываясь от заработанной похвалы, как пятнадцатилетняя девушка, получив пышный букет из желанных рук. Может быть, это не ей? Но тут же, сразу, стыдливо улыбаясь, соглашалась принять подношение, о котором давно горячо мечтала. «Это ты», шумело в его груди. «Это ты, это ты», стучало его сердце. Он слышал симфонию хора, который пел ему песню самолюбия, и сам проникался уважением к себе и к своему таланту. И вновь захотелось ему итти, блуждать улицами, улыбаться всему и всем, но он спрятал этот порыв внутрь и еще раз перечитал свой сборник от начала до конца.

Теперь остался разочарованным. Отдельные ошибки волновали его. Неприятное чувство. О чем, собственно, он писал? Нигде на протяжении ста страниц не встретил

он человека, который мучится и стремится к намеченной цели, преодолевает препятствия, борется с невзгодами, верит, ползает и возносится на высоты. Он не нашел в своих страницах печального карлика с гигантским умом, мелкого зверя, несущего на щуплых плечах вечную тяжесть сознания; не нашел волшебного ребенка, который так мило плачет и смеется среди разноцветных игрушек существования, жестокого воина, который умеет умирать и убивать за свои мечты, сурового бойца за далекие дни. И это отсутствие поразило его. Зачем писать, если человеческое сердце не бьется на его страницах? Мертвыми показались ему его рассказы, где человек исчез под нагромождением вещей.

Он вяло поднялся и лег, положив под голову руки. Значит, он не нашел человека, а что же кроме него достойно внимания? Без него все теряет смысл, становится бездушной схемой, призывом в безвоздушном пространстве. Наивная вера старины, что человек есть сумма вещей, что для него создан мир и зажглись звезды, блеснули ему единственной правдой земли, высшей над всеми правдами и доказательствами. Из этой печали за давнее непонимание основ жизни добыл он первые нити своего горячего творчества.

Он напишет повесть про людей.

И когда подумал это, страшная тоска охватила его от бессилия перед этим величайшим заданием, тяжесть которого он почувствовал остро, ярко, незаметно увеличивая в воображении все трудности работы. Как соединить массу собранных фактов, как сплесть эту массу наблюдений в одно общее стройное целое, точное, как механизм часов. Как выявить в нескольких тысячах строк бесконечное разнообразие людей, их мыслей, настроений, желаний и действий? Так, чтоб человек выступил весь, без купюр и ретушевки, таким, каким он

есть в действительности, со всеми высокими и низкими порывами и преступлениями, с сожалением, подлостью и преданностью? Нет, это совсем ему не под силу! Надо сразу отказаться от такого размаха и предостеречь себя от неприятностей неудачи. Да и вообще, надо бросить эту литературу, которая, насколько он мог вспомнить, платила ему за муки литературной печалью разочарований.

Он лежал, стиснув зубы, прислушиваясь не столько к своим безнадежным мыслям, сколько к чему-то едва ощутимому, невыразимо далекому, как воспоминание о сне. Надежда? Нет, в нем родилось большее, чем надежда! Внезапно он забыл обо всем: о себе, о своих намерениях, он как будто перестал существовать, раскрывшись в страстных мечтах. Неведомые лица заполнили его комнату, легкие и прозрачные творенья его возбужденной фантазии задвигались перед ним в тихом предвечернем сумраке. Без малейшего усилия давал он бытие массе тел, одевал их, не зная зачем, утонув в сладкой дремоте, где нарождалось это призрачное царство. Не ощущал ни действия воли, ни напряжения чувств, ни наслаждения от этого творческого отблеска — он заглох, онемел, замер, чтобы не прервать своим неудачным вмешательством блестящего течения мыслей. И вот неожиданно эти дивные фигуры, неожиданные гости его убогой неприглядной квартиры начали улыбаться, плакать, жаждать и бороться, задвигались и ожили под дыханием ненависти и любви!

Степан вскочил. Не сошел ли он с ума? Галлюцинация? Но он так ясно слышал голоса! Минуту Степан сидел неподвижно, слушая испуганный трепет сердца, единственный звук, который казался ему реальным в тишине темной комнаты.

Целую неделю длилось это таинственное опьянение.

Из того, что он видел и слышал, что подсмотрел в себе и около, он мысленно вырезывал фигуры и сшивал их тонкими нитками сюжета. Не писал, а только выдумывал, даже не думал, что об этом надо будет писать— такое жгучее, сладостное удовлетворение давала ему эта фантастическая, желанная работа, превращаясь в доступную цель, впитывая все его интересы и стремления.

На службе и на заседаниях он был хорошим автоматом, заведенным механизмом, который исполняет сумму необходимых действий, делает привычные реакции на внешние раздражения, обладает способностью отвечать. Все чувства его сосредоточились в мечтах.

В связи с этим он изменил отношение к себе. Теперь уже не позволял себе есть, когда захочется и что захочется. В назначенный час садился обедать, ужинать, выбирая еду питательную, главным образом овощи и каша. Выходя на улицу, аккуратно закутывал шею кашне. Заботливо проветривал комнату и уменьшил порцию табака днем, чтобы вечером курить больше, не выходя из границ, за которыми никотин начинает вредить. По утрам стал заниматься гимнастикой нервов по системе доктора Анохина, и иногда обращался к себе во втором лице: «Ложись спать» или: «Иди, немного погуляй». Со знакомыми был вежлив, как всегда, но втайне чувствовал свое превосходство—даже немного смешно было, что они здороваются и говорят с ним, как прежде. Неужто никто не заметил великого порыва, охватившего его существо? Тем хуже для них. Временами, отдаваясь сладкому чувству самовлюбления, он, усмехаясь, думал, какую чудесную вещь он напишет и как поразит тех, которые ничего не замечают!

Поэт Выгорский, озабоченный его долгим отсутствием в пивной, зашел к нему в редакцию.

— Что с вами? Вы, верно, сели писать?—спросил он.

— Почти. Обдумываю.

— О, это самая счастливая пора, весна творчества,— вздохнул поэт.—Это платоническая любовь,—сказал он,—а за ней начинается тоскливая семейная жизнь.

И внезапно спросил:

— Знаете ли вы, как ошибается большинство, употребляя термин «платонический»?

— Знаю,—ответил Степан.—Только слово это почти не употребляется.

В тот же день к Степану зашел еще один посетитель, которого он меньше всего ждал: пришел Максим Гнедой, бухгалтер Кожтреста, в потертом пальто, но с независимым видом. Он развалился на стуле у стола Степана, а когда юноша вопросительно посмотрел, промолвил усмехаясь:

— Я подожду, пока ты освободишься.

Вначале Степан подумал, что недослышал, но, освободившись от молодого графомана, приносившего в редакцию каждую неделю по рассказу, начал с Максимом разговор и действительно убедился, что бухгалтер не только говорит ему «ты», но называет его просто «Степой».

В семействе Гнедых произошло немало перемен. Все жили теперь вместе—«хоть на старости по-человечески», как заметил Максим. С рыбной лавочкой случилась неприятность—пошла в ликвидацию из-за проклятых налогов. Но несмотря на это старый Гнедой торгует рыбой с лотка на Житном базаре, а Тамара Васильевна— галантереей, так что понемногу зарабатывают. Только он, Максим, бедствует. Дело в том, что в Кожтресте, где он был бухгалтером, случилась небольшая неприятность с деньгами, и он должен был оставить должность, чтобы избавиться от недоразумений. В сущности, это

чепуха, он даже рад этому случаю, потому что надоело сушить голову цифрами, которые убивают душу, особенно ему, человеку живому и независимому. Поэтому он решил переменить должность.

— Степа,—сказал он,—ты знаешь, что я всегда любил книгу. Помнишь мою библиотеку? Жаль, что продал ее, но должен был! Разные бывают случаи, как ты сам понимаешь.

Он хитро усмехнулся, как бы намекая. Но молодой человек еще не совсем понял, к чему ведет бухгалтер. Но скоро все разъяснилось. Максим думал получить должность заведующего магазином Госиздата или хотя бы помощника заведующего, и в этом деле Степан должен был ему помочь.

— Ты—человек известный,—добавил Максим,—с коммунистами встречаешься, а в наше время без протекции никуда, без поддержки, сам знаешь, умереть можно.

И снова усмехнулся. Степан вяло согласился, возмущаясь в душе, что этот жулик предъявляет на него какие-то права. А Максим сказал:

— Так я заявление тебе напишу, а ты передашь кому надо и словечко замолвишь.

Написав, он все-таки не уходил. Попросил папироску и закурил.

— Хороший табак куришь,—сказал он неожиданно.— Помнишь, я тебя угощал?

Он нервно дернул головой. Потом заговорил тихо:

— У меня есть пять альбомов с марками. Теперь я в таком положении, что должен их продать. Но не хотелось бы кому-нибудь чужому. Они мне очень дороги. Купи, я возьму недорого, сто рублей, это все равно, что даром. По знакомству.

— Нет, марки мне не нужны,—ответил Степан.

Тогда Максим начал уговаривать его. Подобной кол-

лекции не найдешь во всем Киеве. Кроме того он может уступить свои права члена всемирного товарищества филателистов. В крайнем случае, он уступит двадцать пять рублей и часть денег на выплату.

— Не надо,—сказал Степан.

Максим вздохнул.

— Ну, если так, одолжи хоть червонца три на неделю.

Степан дал ему пять рублей и решительно поднялся.

— Я иду, иду,—заторопился Максим.—Когда же ты к нам придешь? Нехорошо забывать знакомых, нехорошо! У нас весело теперь, компания собирается. Поем. Мамаша за последнее время поправилась, совсем молодец. Заходи! А со службой когда наведаться?

— Месяца через полтора,—ответил Степан.—Раньше ничего не будет.

Максим распрощался с ним по-приятельски, но с примесью предупредительного уважения. От дверей он еще раз вернулся и неловко сказал:

— Ты, может быть, сердишься на меня, Степа, я ж тогда по-глупому... сам каюсь.

— О, пожалуйста, пожалуйста!

Когда Максим наконец ушел, молодой человек дернул плечами. Комедия! Только подумать, что когда-то была какая-то Мусинька, какие-то трагедии, даже драка! С тех пор минули тысячелетия. И вот ненужное, бессмысленное прошлое протягивает ему руку. Чорт знает что! Прошлое должно знать свое место и не рыпаться. Заявление Максима он порвал и выбросил в корзинку.

Наконец с повестью кончено, то есть додумано до конца со всеми подробностями. Произведение было в его голове, как цветная прозрачная фотография. Вначале Степан задумал огромную вещь в трех частях, где дей-

ствующих лиц было не менее сотни и время действия длилось десять лет. Потом сжал его до двух частей и выкинул три десятка персонажей. Потом сократил еще часть, оставив повесть размером в четыре-пять листов, с двенадцатью участниками. Под давлением его творческого пресса из первоначального плана выбрасывалась вся мелочь, случайность, дешевые эффекты и трагедии, лишние разговоры и эпизоды и осталась сгущенная пружинистая масса, которая держалась формы под дальнейшим давлением. Это был болезненный процесс отсечения живого тела, жадно цеплявшегося за жизнь. Но он, как суровый хирург, причинял боль во имя будущего здоровья. Ему было приятно, что только сейчас можно осуществить лишь частицу огромного задания, которое стояло перед ним. Ему было известно, что за всю жизнь свою он осуществит небольшую часть замыслов, ибо неизмерима душа человечества. Но из отрезков того материала, который проработал, Степан вылепил сюжет для киносценария и скомбинировал несколько тем для следующих повестей. Теперь он был обеспечен с этой стороны приблизительно на год интенсивной работы. Теперь можно писать.

Купив полстопы линованной бумаги, юноша сел к своему столу и взял карандаш со священным трепетом жреца, который занес нож над жертвой. Этого момента он боялся. И—о радость!—написал первую главу, потом другую, третью—легко, не останавливаясь, не ощущая напряжения. Слова лились потоком. Он бросил перо, сжал в восторге руки и поднялся. На сегодня довольно.

Но на другой день не написал ничего. Сидел, ходил, ложился, но ни одного слова не выдавил на бумагу. Точно движение его фантазии внезапно остановилось и в голове остались мертвые сгустки, которые не в силах был растопить его горячий темперамент. Он знал,

что и как писать, только между замыслом и бумагой выросла пропасть. Вначале он возмущался, потом уговаривал себя, в конце концов задумался. Откуда этот неожиданный кризис? Быть может, следующие главы построены беспорядочно и эта задержка есть просто знак предостережения?

Потом решил, что следует отдохнуть. Надо беречь себя! Он просто духовно устал. Нельзя же гнать себя безжалостно! Надо забыть на день-два о работе, развлечься, погулять и обновить силы. Только как?

Внезапно воспоминание о Зоське окружило его радостной теплотой. Зоська! Славная, веселая подруга, верный товарищ его блужданий! Он вспомнил ее маленькую фигуру, милые усмешки и внезапные печали, наивную домашнюю философию и жгучие поцелуи. Захотелось увидеть кудряшки на ее лбу, услышать ее ласковый шопот и сидеть на коврике у ее ног, «возле ног королевы». Он ощутил ее так, будто пред тем она вышла из комнаты и сейчас должна была вернуться. Спохватившись, юноша посмотрел на часы. Еще не было шести. Можно пойти с ней в кино, а потом позвать ее к себе в гости. Это чудесно. Они устроят здесь маленький пир примиренья, и наплевать на то, что будут шептать в своих норах соседи-мещане!

Степан, полный радостных мыслей, начал торопливо надевать праздничный костюм. Правда, между ними произошло недоразумение. Женитьба, конечно, чепуха, но он был на нее немного сердит. Он не возражает. Но извиняется. Чувствовал, что между повестью и разрывом была какая-то непонятная связь, и жалел, что не устроил себе своевременно двухнедельного отпуска. А так—немного неприятно.

«Если она действительно любит меня,—подумал он,— то не должна сердиться».

Юноша быстро дошел до Гимназического переулка и позвонил у знакомых дверей. Старая женщина в фартуке ему открыла.

— Можно видеть Зоську?—спросил он.

Женщина удивленно переспросила:

— Какую Зоську? Голубовскую?

— Да.

Женщина всплеснула руками.

— Разве вы не слыхали? Она отравилась.

— Умерла?—спросил Степан.

— Как есть умерла,—сочувственно вздохнула женщина.—Царство ей небесное!—Она перекрестилась.

— А вы... откуда знаете?—спросил юноша.

— Как,—обиделась женщина,—по соседству живу, да чтобы не знать. Может быть, к ним пройдете?

— Нет,—сказал Степан.

Они стояли минуту молча, глядя друг на друга. Степан—угнетенно, женщина—с интересом.

— А вы кто такой будете?—спросила она.

— Я... Степан Радченко,—ответил он.

— Родственник, может быть?

— Знакомый.

— Не увидите уже,—вздохнула она,—ну, померла как есть!

Он медленно пошел прочь, а она глядела ему вслед некоторое время, потом громко захлопнула дверь.

На улице юноша остановился. «Надо зайти к родителям ее и расспросить обо всем подробно,—думал он.—Может быть, она оставила мне письмо? Где ее похоронили?» Но думал вяло, точно думал кто-то другой, нудно, тоскливо склеивая обрывки мыслей. А сам он был совершенно пуст. Утратил ощущение своего существа и ощущение света над собой. Будто был ничто,

нигде, никогда. Боялся поднять глаза, чтобы не увидеть кругом эту пустоту.

Он вздрогнул, съежился и пошел, с ужасом наблюдая свое движение. Потом стал размышлять, чем вообще можно отравиться? Сулемой, стрихнином, синильной кислотой? Какая разница между действием этих ядов? Каким из них отравляют мух, покупая в аптеках темные листы, где написано большими буквами с восклицательным знаком: «Смерть мухам!»? И что такое смерть? Как может человек исчезнуть так, чтобы его больше не увидели? Как можно умереть не на день, не на неделю, не на год, а «умереть как есть»? Значит, и он может умереть? Какая бессмысленность! Какое страшное недоразумение! «Это невозможно,—говорил он сам себе,— это невозможно!»

Казалось, что он свободно может лечь под трамвай, проколоть сердце ножом, пить какой угодно яд и все-таки остаться в живых.

Он поднял глаза, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, подойти к нему, но встречные лица были чужими... И какими-то неживыми. Так, будто они уже давно умерли, давно уже приняли яд. И он внезапно почувствовал себя единственным живым в безграничном царстве смерти.

Наконец решился подумать: «А может быть, она... случайно?» Вместо ответа сумасшедшая печаль охватила его. Хотелось бежать, кричать, ползать на коленях, умолять, выть. Чтоб кто-нибудь наказал! Чтоб кто-нибудь простил!

Потом сожаление обволокло его глаза. Ему захотелось сидеть у могилки, среди молодой поросли, украшать могилку васильками и плакать. Он явственно, болезненно ощущал ту недостижимую связь, которая плетется между исчезнувшей душой и душой живой, ко-

торая стремится в потустороннее в бездумном порыве. Она становилась доступной его возбужденным чувствам, входила ему в душу, как теплое веяние. Это ощущение было невыразимым и светлым-светлым. Он думал в тоскливой радости: «Зоська, тебя нет, но я твой навеки. Каждый год буду приходить к тебе, когда цветет земля. Ты умерла для всех, но не для меня».

Но на пороге дома его вновь охватила тоска—ужас вечера и предстоящей ночи.

У входа он встретил коммиссионера, который так долго и неудачно искал ему комнату. Комиссионер сиял от удовольствия.

— Ну, есть комната,—лукаво сказал он.—Но какая! Настоящая комната, одним словом.

— Не нужно мне комнаты,—хмуро ответил Степан.

Комиссионер откровенно удивился. Хорошая комната всегда нужна! Зачем же он прибежал сюда сам? Зачем же он тогда целый месяц бегал по городу? Но какая комната! Как только товарищ увидит ее, так сразу и начнет в ней жить!

И Степан согласился. Лишь бы что-нибудь делать. Лишь бы не быть в одиночестве. Да и комната в конце концов ему нужна.

— Хорошо,—сказал он,—подождите, деньги возьму.

И они поехали вдвоем в Липки.

— Но вы только увидите, какой домик!—увлеченно говорил комиссионер, когда, сошли с трамвая.—Конфетка, а не дом. Ну, как здесь не жить?

Дом был, действительно, показной, семиэтажный, с массой окон, загоравшихся ранним золотом огней.

Они сели в лифт, и этот способ передвижения очень понравился Степану. Сидя в кабинке, Степан решил нанять комнату. Но и она сама говорила за себя. Это

был небольшой, светлый, хороший кабинет, с паркетным полом, центральным отоплением, оклеенный сине-серыми новыми обоями, с двумя окнами, откуда виден был безграничный купол неба и далекий горизонт за рекой. Да, о такой комнате он и мечтал! И юноша сразу представил, как разместит мебель и как приятно ему будет работать.

«Тут я начну писать»,—думал он.

Просили дорого, и он долго торговался. Наконец сошлись на ста пятидесяти отступного плюс расходы по ремонту, плюс комиссионеру десять процентов за услугу. Он дал деньги, документы и завтра должен был перебраться.

Из комнаты он выходил последний, и когда погасил электричество, тяжелая печаль проснулась вновь. Было тихо, темно; окна синели, как большие мертвые лица. Он взволнованно стиснул руки и помимо воли почти во весь голос сказал:

— Прощай, Зоська!

Все молчало кругом, но ведь молчание—знак согласия.

Он быстро вышел, со страхом закрывая за собою двери. Комиссионер, получив деньги, исчез не попрощавшись, а хозяева раскланялись с ним вежливо. Он еще условился с ними о какао утром и отдельном ключе от парадных дверей.

Потом позвал лифт и мягко спустился вниз.

На улице он остался снова один и вновь страшное беспокойство охватило его. Был восьмой час. За два часа произошли два необычайных происшествия. Два— он помимо воли поставил их вместе. Но какая связь между тем и счастливой ликвидацией жилищного вопроса? Ему внезапно показалось, что ступил вперед, вверх, оставив кого-то на пройденной ступени. Но на это

тайное соображение, которое еле слышно коснулось его головы, душа заныла еще сильней.

На улицах он не встретил знакомых. В этом не было ничего особенного, но ему показалось, что все его покинули. И внезапно вспомнил, что сегодня 19 апреля, тот вечер, который он должен был провести с Выгорским, уезжавшим путешествовать. Он радостно встрепенулся и прибавил шагу.

XIV

Путешественника в пивной еще не было, и юноша сел вяло к столику среди залы. Впервые за все время пивная показалась ему отвратительной. Впервые он понял искусственность веселья, рожденного алкоголем, дешевую позолоту здешней радости. И музыка джаз-банд с барабаном, тарелками и цимбалами, которая всегда бодрила его, угнетала надоевшими мотивами и дразнила нестерпимым громом. Он ушел бы отсюда сейчас же, если бы не ждал кого-то, и сидел, насунув шляпу и полулежа на столе, перед начатой бутылкой пива. Потом нетерпеливо закурил, ломая спички.

Наконец пришел Выгорский в резиновом плаще и кепке. Взгляд Степана поразил его.

— Почему этот чайльд-гарольдовский вид?—спросил он, здороваясь.

— Скорее у вас, потому что вы едете.

— Еду, но никого не проклинаю.

— А я проклинаю, но не еду .

Поэт беззаботно махнул рукой.

— Оставьте! От проклятий мир становится все хуже и хуже.

Сегодня угощал Выгорский.

— Но, извините,—сказал он,—я стал вегетарианцем.

— По убеждениям?

— Нет, для разнообразия.

Когда пища и вино были поданы, поэт спросил Степана:

— Откуда все-таки эта нахмуренная меланхолия? Неужели по случаю моего отъезда?

— Нет,—усмехнулся Степан,—это—мировая скорбь.

Поэт облегченно вздохнул.

— А, это совсем безопасно.

Он был очень мил, весел и ласков. И Степану захотелось высказаться, рассказать ему о своей боли, об ее темных источниках, но что-то тайное удержало его.

— Если хотите правду знать, то это просто плохое настроение. Временами чувствуешь, что ты зверь, кровожадный зверь, и становится печально. Жизнь жестока. Знаешь, что исправить этого нельзя, и все-таки плохо. И ясней понимаешь, что кругом животные, мерзавцы, грязь, висельники, и становится страшно. Оттого, что ты такой, как они, а они такие, как ты.

— Да где вы видите такие ужасы?

Степан безнадежно усмехнулся.

— Где? Да кругом!

— Кругом прекрасные, приятные люди!

— Вы шутите,—вздохнул Степан.

— Нет, совсем нет. Посмотрите.

Поэт перегнулся на стуле и дотронулся рукою к плечу соседа, который сидел сзади него. Тот обернулся.

— Извините,—сказал поэт.—Вы мне очень нравитесь. Разрешите пожать вашу руку.

Тот помедлил, но руку подал. Даже сказал:

— Есть... Очень благодарен!

— Чудак вы,—вздохнул Степан.

Потом они ели и пили, уйдя в собственные мысли. И

Степан, изнемогая от потребности высказать свою тоску, сказал, подымая стакан:

— Выпьем, друг, за любовь.

Поэт удивился.

— С какой стати нам пить за это ужасное чувство, которое отнимает у людей спокойствие?

Степан возбужденно ответил:

— Отнимает спокойствие, укорачивает жизнь. Ужасна эта любовь.

— Так вы согласны со мною?—неуверенно спросил Выгорский.

— Целиком.

— Терпеть не могу сходиться во взглядах,—недовольно пробурчал поэт.—Согласие—это смерть. К тому же должен заявить, что сила любви исходит исключительно из традиции. Золотой век любви прошел, рыцари и дамы растаяли в вековой мгле. В двенадцатом столетии женщины разделяли свою особу на две части—тело мужу, душу—избраннику. В XIX столетии они делали наоборот, а в XX и совсем потеряли ощущение разницы. Любовь вернулась к своему исходному пункту. Чтоб правильно понять ее современное, народное, если хотите, положение, надо помнить, что любовь не сопровождала человека на всех ступенях его развития. Дикари не знали ее, а наш век есть век просвещенного дикарства, дикарства в «снятом» виде, как говорят диалектики. Вот и любовь «снимается». Песня любви пропета, любовь умерла вместе с музами и вдохновляет лишь старомодных поэтов. Вместо этого выдвигается то, что было главнейшим в дикарстве,—работа. Настоящий поэт может быть теперь только поэтом труда.

— Например—вы,—сказал Степан.

— Я—печальное исключение. На грани двух эпох неминуемо являются люди, которые остаются как раз на

грани, откуда видно далеко назад и еще дальше вперед. Поэтому они страдают болезнью, которую люди ни одной партии никогда не прощают,—остротой зрения. Наилучшие слуги жизни—ослепленные и подслеповатые. Они бодро идут вперед, ибо видят то, что им кажется. Видят новое, потому что хотят видеть. Воля управляет, друг мой, жизнью, а не разум.

— Чорт знает, что ею управляет!—хмуро сказал Степан.

Скоро они вышли, потому что поэт собирался хорошо выспаться перед отъездом.

— Еду, еду!—воскликнул поэт на улице.—Ничего этого завтра не увижу. Какая радость не видеть завтра того, что видишь сегодня. И вас тоже, мой друг! Достаточно я вас терпел.

— И я вас,—признался Степан.

— Сознайтесь, что не было так уж скучно? Но не вздумайте завтра меня провожать. Знакомые на вокзале—это кошмар!

— Да я не знаю даже, каким поездом вы едете,—успокоил Степан.

— Я и сам точно не знаю.

На углу Большой Житомирской они остановились.

— Прощайте, дружище,—молвил поэт.—Я говорю «прощайте», ибо мы можем уже и не увидеться. Не забывайте, что исчезнуть на этом свете так же легко, как и появиться.

Он пошел, а Степан почувствовал, что остается один, среди улицы, среди сурового безжалостного города, среди безграничного утреннего света, который ясно блестел над ним перед заходом месяца.

Потянулись однообразные дни, печальные, как четки чернеца. Скука не оставляла его. В новом помещении молодой человек устроился скоро. За неделю оно при-

обрело тот вид и затейливость, о которой он когда-то мечтал, когда мечтать было еще интересно. У окна в углу он поставил американское бюро из темного дерева, против дверей у стены—зеркальный шкаф для одежды, против окон—диван, обитый темнокрасной тканью, рядом со столом—небольшой остекленный шкаф для книг. Кроме того купил ковер на пол и полдюжины стульев на деньги, оставшиеся от гонорара за киносценарий.

Но чем больше Степан украшал свою комнату, тем более чуждой она становилась ему. Каждая новая вещь наполняла его непонятным беспокойством. Он ставил ее на место и смотрел на нее с удивлением, как на что-то чужое, нагло ворвавшееся в его жизнь. Потом за несколько дней привыкал к ее присутствию, пользовался ею, когда нужно было, но чувство странности и враждебности все еще таилось в глубине души, всплывая внезапно, когда вечером, приходя домой, он зажигал свет. Так, словно без него они жили своей особой жизнью, может, разговаривали даже, шептались о нем, подслушав его мысли, и внезапно утихали, когда он растворял двери. С порога в прямоугольном блестящем зеркале он видел всю свою фигуру и это ему было неприятно, словно он неожиданно встретился со своим двойником.

Но наибольше боялся стола. Там в верхнем ящике справа хранилась начатая повесть. Он никогда не выдвигал его, но чувствовал, что рукопись там притаилась, как нечистое сомненье. Писать он не мог. Та пустота, которую он почувствовал, когда отошел тогда от Зосиных дверей, незаметно разрушала его душу, и в этом опустошении исчезало прошлое, таяло, растворялось. Исчезало почти без следа под отравляющим действием скуки.

В восемь он просыпался, пил кофе, шел на службу.

Это были самые счастливые часы его жизни, когда в нем просыпалась давняя мощь, живость и настойчивость. Он работал энергично, с увлечением, углублялся в дела, бегал по городу, улыбался, был остроумным, дельным, всюду незаменимым, но в восемь часов, кончив работу, отбыв все собрания и нагрузки, оставался один с самим собой. Переход этот был ужасным. Так, словно бы он был поделен на две части, одну для других, другую—для себя, и вторая оставалась пустой.

Вечера наполняли его пугающим беспокойством, чувство страшного одиночества угнетало его. И он терпел сумасшедшую боль человека, который утратил личное, придающее жизни вкус и приятность.

Все его попытки найти что-нибудь были напрасны. Разговоры со знакомыми казались ему пустыми, женские взгляды противными, любезность хозяев смешной. На лекциях, которые он начал посещать изредка, он не слышал ничего ни интересного, ни нового, в театрах пьесы были однообразными, а кинофильмы пошлы и шаблонны. В пивные он не заглядывал. Как-то вошел в казино и бросил рубль на 20—ему подали три червонца. Он поставил снова на ту же самую цифру, проиграл и нетерпеливо вышел. Всюду было слишком людно, светло и шумно. И всюду щемящее одиночество неотступно следовало за ним.

Как-то вечером он медленно шел по Крещатику в том темном конце его, где расположены технические магазины. Его остановила женщина из тех, что просят прикурить и интересуются временем. Она употребила первый способ, и молодой человек зажег ей спичку:

Она предложила:

— Идем?

Молодой человек согласился. Женщина взяла его под руку и свернула на Трехсвятительскую. Они вошли в

темный двор сквозь калитку на цепочке. Степан должен был согнуться вдвое, чтобы пролезть в низкую дверь. Тут женщина шепнула ему:

— Не шелести! Знаешь, какой народ пошел—ко всему придираются.

И он услышал от женщины ту ругань, которую считают привилегией мужчин. Наконец в конце затхлого полуподвального коридора она забренчала ключом и ввела Степана в комнату.

Тихий огонек лампадки скудно светил в уголке.

Женщина зажгла лампу.

Он впервые смог ее рассмотреть. Была она толстой, пухлой, стареющей, со злыми глазами и бледным ртом, из которого выходили хриплые звуки, как из старого граммофона.

В комнате стояла кровать, застланная серым одеялом, и несколько стульев, соответственно простоте действия, которое в комнате совершалось. Матерь божия в углу склонилась над сыном и ни на что не обращала внимания.

Прежде всего женщина потребовала рубль.

Потом немного ласковей сказала:

— Тебе как? Голой?

Он покачал головой.

— По-походному,—засмеялась она.

И прибавила, что работала на германском фронте.

Молодой человек рассматривал фотографии, которые висели на стене, без рамок, запыленные и засиженные мухами. Внезапно в нем проснулся интерес к этой женщине, желание знать ее быт, взгляды, интересы, отношение к власти и то тайное, чем живет ее душа за привычным торгом. Он предложил ей закурить и сел у стола. Она вынула сразу полдесятка папирос, но недовольно сказала:

— Ты чего маринуешь меня? Давай тогда еще два рубля за ночь?

Он вынул кошелек и высыпал ей серебро—шестьдесят пять копеек.

— Врешь,—недоверчиво сказала она.—Дай сама посмотрю... А это что?

— Это две копейки.

— Давай и их.

Вывернув кошелек, она успокоилась и начала грубо, но вполне охотно отвечать на его осторожные вопросы, часто употребляя острые, удачные слова, которые касались ее профессии. Вспоминала время военного коммунизма, когда приносила полные чулки денег. А теперь народ пошел жулик, скупой и «мучительный». Правда, у нее много есть женихов, но они ей неинтересны.

— Замуж нужно выходить по любви,—сказала она.— А побаловаться я и с тобою могу.

Потом рассказала одну из выдуманных, стереотипных историй, которыми они тешат своих гостей и себя, которые из фантазии постепенно превращаются в полудействительные воспоминания в бессознательный обман, за который цепляется их душа в своих машинальных порывах к счастью. Рассказала, что какой-то деникинский полковник на коленях молил ее ехать в Англию.

— Ну, и чего бы я поехала,—мечтательно спрашивала она,—если английского языка я не знаю? Ну, вот выйду на улицу—и ничего не понимаю... Да и он не знал,—добавила спокойней.—Ко мне ходил англичанин, так тоже говорил, что он не знал.

Но по мере того как его вопросы становились более точными и требовательными, она насторожилась и внезапно перебила его:

— Что это ты расспрашиваешь меня? Ты чего сюда пришел?

Он безразлично ответил, что пришел к ней больше за тем, чтобы по душе поговорить. И она страшно возмутилась.

— Душа ему нужна! За рубль душу ему выворачивай! Для тебя моя душа под юбкой.

Он еле успокоил ее, божась, что не хотел обидеть.

— Да разве тебе не все равно, что делать?

— Не все равно,—ответила она.—За что платишь— бери, а душу не трогай.

Разговор дальше не клеился. Прощалась она холодно, словно он причинил ей величайшую обиду. Степан вышел, преисполнившись к ней уважением, взволнованно понимая, что женщина продается, а человек нет.

Однажды, читая газету, он узнал, что в городе заседает окружной съезд сахароваров. Среди десяти лиц, которые фигурировали в отчете, Степан заметил фамилию бывшего институтского приятеля Бориса Задорожного. Тот делал доклад о какой-то системе селекции свеклы, был выбран в комиссию для составления резолюции и делегатом на всеукраинский съезд. Как много сказали ему эти строчки! Каким горьким щемящим укором стали они перед ним! Он еще раз прочел их. Да. Борис Задорожный—молодой мещанин, угнетатель прекрасной девушки—шел вперед, творил, работал, выдвигался! Давняя затаенная вражда зашевелилась в сердце Степана. И он откинул газету, чтобы не видеть неприятного имени.

Съезд сахарников скверно на него подействовал, разбудил в нем ряд печальных размышлений о самом себе. Долго ли это так будет продолжаться? Пусть он провинился, пусть сделал кому-то большую неприятность, но и покаяния уже достаточно! По календарю

прошло уже три недели одиночества. Пора уже расшевелиться! Пора! Пора!

Кричал он это, как погонщик над конем, упавшим на дороге. Но откуда ждать помощи? От кого? И он начал надеяться, что в его жизни произойдет какая-то глубокая внезапная перемена, и отчаяние его, дойдя до определенной ступени, превращалось в надежду.

Теперь он обедал в большой столовой Нарпита на Крещатике, выбрав ее потому, что она была по дороге на Бессарабку, где он садился на трамвай, идя домой. В ней облюбовал маленький столик у стены, где мог сидеть за едою и полбутылкою пива, которая стала неотменной составной частью его меню.

Однажды он с досадой увидел, что столик его занят. Это было чуть не оскорблением для него, покушением на установленное привычкой право, даже на его «я», которое в постоянном пользовании превращает мертвую вещь в свою неотъемлемую часть. Но, посмотрев на захватчика внимательнее, Степан подбежал к нему и крепко схватил его за руку.

— Здравствуй, Левко!—крикнул он.—Это ты, Левко!

Тот удивленно поднял на него глаза, не узнавая.

— Это я, Степан, из Теревней. Помнишь?—взволнованно говорил молодой человек, склонившись к товарищу.—Помнишь, мы ехали сюда на пароходе?

Левко узнал, но еще больше удивился.

— Степан?—пробормотал он.—Вот не узнал бы, ей-богу!

И от этих слов душу молодого человека охватила грусть.

— Чего?—тихо спросил он.

А Левко уже усмехался добродушной улыбкой.

— Изменился,—сказал он.—Во какой нарядный. Красавчик, да и только.

Степан торопливо снял фуражку и сел рядом с Левко. Неведомое волнение увеличивалось, росло, подымалось из глубин души горячим отзвуком. Он смотрел на товарища радостными, влюбленными глазами и с невыразимой радостью открывал на его лице те самые черты, те самые движения, ту самую улыбку и добродушие, которые оставил давно и нашел неизменными.

— Левко, как я рад, что увидел тебя!—сказал он.— Ты представить себе не можешь, как рад! Эх, Левко, чужое тут все—и люди и жизнь.

— Жизнь?—отозвался Левко.—Дерганье тут, а не жизнь. А кормят чем, ты только посмотри!

Он засмеялся, показывая на порцию котлет, и его усмешка показалась Степану остроумной, рассуждения мудрыми, выражения очаровательными, поведение несравненным. И зависть поднялась в нем к тому, кто сумел не измениться, остаться самим собой, стыд нашалившего школьника, который заметил пристальный взгляд учителя.

— Как поживаешь, Левко?—вскрикнул он.

— Э, ты рассказывай сначала.

И молодой человек рассказал,—коротко, бледно о времени, прошедшем с их разлуки, вспомнил о своих рассказах, о работе, не чувствуя ни в словах своих, ни в событиях, которые за ним стояли, никакого просвета жизненного веселья.

— Ого, так ты важная особа!—усмехнулся Левко.— Наверно, рублей полтораста тянешь?

Приблизительно, кроме гонорара. А вот продал несколько месяцев назад сценарий. Полторы тысячи взял.

Левко свистнул.

— Сто чертей его матери!—промолвил он.

Но в голосе его было только удивление и никакой зависти. Потом другая мысль привлекла его внимание.

— Выходит—ты украинский писатель?—серьезно спросил он.

— Выходит,—грустно усмехнулся Степан.

— Значит, и живые писатели есть?—спросил он.

— А что?

— И есть такой, как Шевченко?

— Такого нет.

Левко облегченно вздохнул, словно современная литература ничем ему не угрожала.

Потом, не торопясь, рассказал о своих делах и планах. Институт он кончил и отбыл год практики в деревне. Теперь приехал получить диплом и должен ехать на Херсонщину, куда получил назначение на должность районного агронома.

— А как же... тот учитель, латинист, у которого ты жил... что чаем нас угощал?—спросил Степан и ощутил беспокойную радость от этого прикосновения к прошлому, которое внезапно ожило в нем, еще туманное, туманное, словно предрассветная мгла, которую прорежет сейчас ясный луч.

— Э, с ним плохо,—засмеялся Левко.—Зарезался, брат, сам и нож себе наточил. Так и говорил, что зарежется, как философ, а мы думали, что бредит. А он и доказал. Ну, и было заботы!

— А жена?

— О, козырь бабуся, хоть и беззубая! Если что сварит или спечет, то куда там ресторану! Умели буржуи вкусно кушать. Я думаю ее с собою на Херсонщину взять...

— Ты не женат?

— Нет еще.

— Чудак ты! Что же ты без жены будешь делать в глуши?

— Охотиться там хорошо,—сказал Левко.—Ну, и степь люблю.

Степь!

А Степан разве не любит степей? Ясное, горячее воспоминание встало в нем,—воспоминание о неподвижной ночи, о безграничности неба и земли, синей тишине лунного сияния. Лежать кверху лицом в траве, раскинув руки, без шапки, босым, смотреть на золотое, лазоревое, красное, зеленое мерцание звездочек, рассыпанных по небу чьей-то могучею рукою, чувствовать эту руку, в дыхании воздуха на лице и заснуть утомленным от созерцания дали. А утром, за холмами всходит солнце— страшная, громадная почка холодного огня медленно расцветает горячим кругом.

Левко съел котлеты и вытер руки бумажной салфеткой.

— Собираюсь в кино,—сказал он.—Люблю посмотреть, как скачут люди. Подумаешь только, чем только человек не кормится! Может, вдвоем пойдем?

— Нет, у меня дела,—сказал Степан.

На улице они крепко поцеловались, молодой человек был взволнован.

— Пиши, Левко, из своей Херсонщины,—сказал он.

— Да, как видно, не будет о чем,—ответил тот.— Это уже вы, писатели, пишите себе, а мы когда-нибудь прочитаем.

XV

Осенью в степи тревожно шелестит сухими ветвями кукуруза—целые поля ровных желтых стволов, словно бы кто-то крадется, раздвигает ее обвислые листья. Осенью у дорог осыпаются семенем бурьяны—высокие заросли лебеды, молочая, чертополохов, чернобыльников. Осенью ветры ходят внезапные, изменчивые. Осенью ветры нападчивые и хитрые. Удивит и исчезнет. Рвы в степи проваливаются внезапно, раскрывая глиняные

внутренности, На дне их растет бурьян, а в нем змеи, комары и миллионы ящериц. Множество путей в степи, дорог и тропинок. Перекрещенные, кривые, коленчатые. Словно бы нарочно перепутали их там, чтобы ходить и блуждать без конца. И хочется в степь итти. Хочется свернуть на боковую тропинку. Вьется она горками, холмами, убегает прямо по нивам и баштанам. И ломается под ногами шелестящее жнивье.

Степан внезапно остановился. Насколько он мог понять, это была Павловская улица. С полчаса ходил он, расставшись с Левко на пороге столовой. Ходил, задумавшись, радостно, в том молчаливом спокойствии, которое овладевает человеком после болезненных беспокойств и разочарований. Чувствовал, что надеется на что-то и это что-то сейчас сбудется. Предчувствие освобождения было в нем, и всплывавшие воспоминания возвращали его все назад и назад, в прекрасное детство, незабываемое время первого познания мира. Он шел волшебной тропинкой прошлого, вдохновенно ища истоков жизни, и весною средь города страстно грезил теплотою осенних степей.

Потом посмотрел на часы. Четверть девятого. Еще не поздно. Еще можно увидеть ее. Да и что ему время?

Он возвращается на село.

Эта мысль—дикая, внезапная не испугала его. Даже не удивила. Она родилась вдруг, ясная, прекрасная, полная жгучей радостью, силой и надеждой. Он возвращается на село. В степь. К земле.

Навсегда оставит этот город, чужой его душе. Этот камень, эти фонари! Отречется навсегда от жестокой путаницы городской жизни, отравляющих грез, которые нависли над гулкой мостовой, душных порывов, которые разъедают душу в узких закоулках комнат, бросит сумасшедшее желание, которое растравляет мысль, сжа-

тую тисками. И пойдет в спокойные, солнечные просторы полей, к оставленной воле и будет жить, как растет трава, как зреет нива.

Звонок трамвая остановил его. И он радостно подумал: «Завтра я тебя не услышу».

И боль, собранная за полтора года, гнетущее неудовлетворение, вся горечь ежедневных стремлений и утомительность мечтаний, которые он познал в городе, превращались в приятное утомление, в щемящую тягу к спокойствию. Он видел себя завтра не сельбудовцем, не сельсоветчиком, не учителем или союзным активистом, а незаметным хлеборобом, одним из множества серых фигур в свитках, в армяках, которые водят по земле вечное орало. Влажный рассвет! Свежесть первого луча! Прекрасный блеск тихой росы! Будь благословенно время, когда родится свет жизни! Дух прошлого пробудился в нем, дух веков, который дремлет в душе и подымается в минуты сдвигов, тот непреодолимый хоть и придушенный голос, который шепчет в сказке об утраченном рае и поет песни природы.

Но не в этом была главная забота. Охотника купить комнату и обстановку он найдет завтра же, завтра же подаст заявление об увольнении, и завтра же вечером двинется на юг, чтобы пристать где-нибудь к коммуне либо артели. Это нетрудно. Это просто и легко. Об этом нечего думать и беспокоиться... Но... он поедет не один!

Думая об этом, он захлебывался. Что-то безграничное было в этом неожиданном пробуждении откинутой угнетенной любви. Из маленькой искры, полуугасшей, покрытой теплом, словно мстя за холодный страх угасания, вспыхнул жгучий огонь, который озарил его новым порывом. Ясным, таким простым, радостным был перед ним путь, и он тихо пойдет по нему вдвоем с Надеждой.

— Надийка, Надюся!—шептал Степан.

Понимал теперь, что она всегда была в его душе, как зовущий звон из дали, что рождала в нем своим дыханием тревоги, являлась ему в мечтах, и он не узнавал ее до сих пор; что и в других любил только ее, а в ней любил что-то безгранично далекое, какое-то непознанное воспоминание. Он чувствовал теперь, что не забывал ее никогда, что искал ее все время в недрах города, и она была тем огнем, что горел в нем, порываясь в даль. Возвращаясь к ней, он находил себя. Возвращаясь к ней, он оживлял то, что погибло, то, что исчезло от его испорченности, то, что он сам в ослеплении разрушил.

Надийка! Прекрасная девушка! Светлая русалка вечерних полей! На его призыв она отозвалась тихим трепетом, который вселился в него, донесшись оттуда, где жила она, где ждала его, угнетенная и скорбящая. Она словно повернула голову на его мольбу, и глаза ее засветились счастливым согласием, и рука протянулась к его лбу. Она прощала! Да и могло ли быть иначе? Она пойдет! Да, это и неминуемо. Теперь в цветущих долинах, которые ждут их, он будет смотреть без конца в ее глаза, где будет видеть свет и жизнь, будет брать ее за руку в радостной покорности чувству и ощущать на своей ладони неисчерпаемое тепло ее тела, к которому он никогда не прикоснется. Ночами будет стеречь ее сны, прекрасные сны убаюканной красоты. Будет их понимать, как понимают разговор людей. И будет пить, пить каждую минуту сладостную отраву ее обожествления и будет медленно умирать у ее ног в смертельном опьянении. Так нужно. Ее воскресение одновременно с певучей тягой в степь сливалось в единый порыв сладкого покаяния, порыв к бесконечному рабству, в котором он чувствовал всю радость обновления.

На углу Владимирской он озабоченно остановился. Не забыл ли он их... то есть ее адреса? Нет. Андреевский спуск, квартира 38/6. Название улицы и цифры всплыли в памяти, хоть слышал он их только раз. И странным ему только казалось, что к ней так близко итти, так легко добраться. Тем лучше, ибо он согласен был исходить пустыни, голодный и жаждущий, блуждать в подземельях и чащах, среди неземных опасностей и все преодолеть во имя ее.

Молодой человек приговаривал:

— Андреевский спуск, Андреевский спуск...

Он сразу вспомнил эту крутую, искривленную улицу, свою старую дорогу с Подола к институту и снова встрепенулся,—на том пути, где он потерял ее, он должен ее найти.

«Как это прекрасно... как прекрасно...»—думал он.

Новая мысль внезапно пришла ему в голову. Ему хотелось увидеть этот маленький дом на Бессарабке. Войти в него, как входил впервые, когда увидел Надийку в обществе друзей—сельских парней. Где они? Где стыдливая Ганнуся и молодцеватый Яша? Где пышная Нюся с инструктором клубной работы? Они вдруг стали ему дорогими, родными, интересными, и его охватила смутная надежда на то, что он застанет их всех у стола и сядет рядом с Надийкой, которая его ждет. Да чего и действительно ей не зайти туда случайно? Мог же он встретиться сегодня с Левко, которого еще дольше не видел! Степан свернул направо и быстро сошел на Крещатик.

Сердце его так растерянно трепетало, когда он постучал в шаткие двери низенькой халупы. Все кругом он узнал: старомодное крыльцо, ограду, надворные ставни. Ничто не изменилось, какое счастье! Да и времени-то в конце концов прошло не много. Полтора года, ко-

торые казались ему сейчас сплошной ночью непробудного сна.

Ему открыли. Открыл человек с грубым голосом, недовольный и неприветливый.

— Тут живут девушки... которые жили здесь полтора года тому назад?—спросил Степан.

К сожалению, спросить иначе не мог, так как забыл их фамилии.

— Нет здесь никаких девушек,—ответил человек таким тоном, словно хотел сказать, что здесь проживают только честные люди, и хотел закрыть двери.

Тогда Степан, путаясь, начал объяснять ему. Он, собственно, ищет свою сестру, которую оставил в городе полтора года тому назад, и где она—могут знать только девушки, которые здесь жили. Если он их не найдет, то ничего не узнает про сестру, которая куда-то выехала. В адресном бюро он уже был. Ничего не сказали.

— Деньги только берут. Порядочки советские!—пробурчал человек, смилостившись.

— Да, страшный бюрократизм... Одна из них была портнихой, такая низенькая...

— Да тут портниха какая-то во дворе живет. Пройдите за ворота.

Расстались они приветливо, и молодой человек вошел в темный двор—узенькое пространство между высокими соседними домами, на котором росло несколько деревьев. Тут заметил крохотный домик, словно гриб, прилепленный к глухой стене. Бледная полоска света светилась в щели ставней. Спотыкаясь о комья земли и камни, Степан подошел к окну и осторожно постучал.

— Кто там?—услышал он женский голос.

Молодой человек, затрепетав, ответил:

— Откройте... Это я... Степан... Помните к вам приходил, когда Надийка здесь жила...

— Степан? — удивленно переспросили в доме.

— Да, да... Степан из Теревней. Откройте, Ганнуся!

Внутри вдруг засмеялись.

— Вот как! А меня зовут Евгенией!

Степан со страхом отступил. Ее зовут Евгенией... Какое ненужное имя! Он готов был упасть здесь на землю, закрыв глаза. Но на улице мысль о Надийке снова овладела им, и он снова начал о ней думать. Только это было уже не сладкое мечтание, которое только что грело и радовало его, а болезненная тяга. Теперь он думал о деле больше умом и взвешивал его со стороны его реального осуществления. Что Надийка ждет его, это казалось ему несомненным. Сознание исключительного права на эту девушку никогда не оставляло его. Он объяснит ей, что жизнь возможна только на лоне природы, которую они оставили и к которой должны вернуться, а город, душный и нудный, — это страшная ошибка истории. Мысли эти, он сам знал, не новые, но это только доказывает их правдивость. Да она это поймет без слов. Сейчас он о ней совсем не беспокоился. Но она же замужем! Ах, как это неприятно! Молодой человек посмотрел на часы. Двадцать минут десятого. Поздновато, но он должен это сделать сегодня.

Чувствуя страшное утомление, он позвал извозчика и поехал, вяло склонившись на сиденье. Уличные огни, вечернее движение толпы угнетали его, доводили его до полного бессилия. Желание уснуть, как теплый тяжелый покров, укрыло его мысли неподвижной истомой. Он чувствовал, что тело его связано, чувствовал, как крепко обвили его душу пеленки, мягкое качанье рессор колыхало его, отодвигая все далее и далее беспокойный рокот жизни.

Внезапно извозчик остановился.

— Что?—спросил Степан, очнувшись.

— Приехали,—сказал тот.

Молодой человек, вздрогнув, соскочил на землю.

— Можно подождать?—спросил извозчик.

— Подождите, я сейчас,—ответил Степан.

Он торопливо раскрыл двери дома, над воротами которого горел номер, но по ступенькам шел медленно, зажигая спички. Наконец остановился на третьем этаже, и душа его переполнилась безучастностью.

Он прислонился к косяку и начал думать о том, куда девался его портфель. Очевидно, он потерял его. И хотя в нем не было ничего ценного, Степана охватило неприятное чувство: «Эх, остолоп же я, право!»—подумал он.

Шаги за дверью прервали его размышления. Он снова заволновался. Она или не она откроет? Незнакомый женский голос спросил: «Кто там?» И Степану вдруг пришло в голову, что они переменили квартиру. Это предположение ободрило его, и он громко спросил:

— Можно видеть товарища Бориса?

Тогда двери открылись на цепочку, и в щель выглянуло лицо девочки-подростка.

— Бориса Викторовича нет дома,—важно ответила девочка.—Они уехали в командировку.

— Жаль,—буркнул Степан и безразлично добавил:— В таком случае я оставлю записку.

— Пожалуйте,—промолвила девочка.

В передней он повесил на вешалку фуражку, пригладил волосы и вошел в комнату, где над застеленным клеенкою столом горела лампа под широким абажуром из оранжевого ситца. Он сел за стол и, пока девочка отыскивала карандаш и бумагу, украдкой осмотрел обстановку. На окнах—кружевные занавески, на подокон-

никах—цветы. В углу матерчатый диван, пред ним коврик. Под стеною простые, но изысканные стулья. И сейчас же справа—большой помещичий буфет, покрытый резьбою. Темные обои не соответствовали размерам комнаты. Было тихо и опрятно. Мебель была расставлена по назначенным местам, по принципу симметрии, а буфет казался верховным надсмотрщиком за порядком, суровым представителем неподвижных основ местной жизни.

Что-то коснулось его ног—кошка прижалась к его ботинку. Он взял ее на колени и начал писать.

«Милый Борис, наконец я собрался тебя проведать и так неудачно. Думал поболтать вечер о прошлом...»

Вдруг скрипнули двери, и Степан увидел на пороге женщину в широком, красном платке. Степан неловко поднялся, думая о том, что она смотрела на него в щель, пока ласкал он кошку.

— Это вы, Степан...

— Павлович,—подсказал он, поняв ее остановку. И только услышав голос, узнал ее. Это была Надийка, изменившаяся до неузнаваемости. Даже голос ее иначе звучал, как-то неприятно, гордо. Она испугала его своим появлением, своей фигурой, церемонностью и насмешливым взглядом. Сжимая ее руку, молодой человек думал: «Я настоящий остолоп».

— Садитесь, Степан Павлович,—промолвила хозяйка.

И он заметил, что она беременна.

— Благодарю,—ответил он, преодолевая чувство страха, обиды и боли.

Она села на кресло у дверей и крикнула:

— Наташка, поставь самовар!

— Благодарю, я только что пил чай,—нервно отказывался Степан.

— А я еще не пила,—ответила она.

Настало неприятное молчание, и хоть молодой человек чувствовал, что это молчание его унижает, а ее, может, и тешит, язык его отказывался повиноваться. Выпуклый тяжелый живот сбил его с толку.

Наконец хозяйка промолвила:

— Редкий вы у нас гость, Степан Павлович.

— Да,—пробормотал он,—проклятая нагрузка... Да и Борис в командировках...

Он хотел остановиться, но страх перед молчанием выдавил из него еще несколько фраз.

— Я хотел предложить... Если бы Борис, конечно, был... Поехать завтра куда-нибудь погулять... куда-нибудь далеко... За город.

— Прекрасная мысль,—ответила она.—Но я не совсем здорова.

И молодой человек снова со страхом чувствовал, как ширится между ними молчание, нудное дразнящее молчание людей, которым не следует встречаться. Каждая мысль его натыкалась на ее живот и бессмысленно убегала назад в свои недра.

Вдруг она спросила:

— Вы, говорят, пишете?

— Да... писал,—грустно ответил молодой человек.

— А теперь?

— Теперь не пишу.

— Почему?

— Не о чем.

Она усмехнулась.

— Разве в вашей жизни не было приключений?

Он вздрогнул. Не чересчур много ли она позволяет себе над ним насмехаться? И гордо ответил:

— Были, но очень мелкие.

Потом медленно посмотрел на часы и поднялся.

— Извините, Надежда...

— Семеновна,—подсказала она.

— ...Семеновна. Я должен итти. Передайте от меня привет товарищу Борису.

— Заходите,—сказала Надежда Семеновна.—Мы всегда будем рады вас видеть.

На ступеньках он дал волю своему гневу. Какое нахальство! И кто? Кто, спрашивается? Не та ли, которую он прогнал от себя, как проститутку? Думает, вышла замуж и стала святой! А муж ее вор. Разве на кооперативное жалованье можно купить такой буфет! Посидит он еще в Допре за такие дела! А сама она— брюхатая мещанка! Он сладостно прошептал несколько раз это название и немного успокоился.

Ему захотелось спуститься на Подол, сесть в автобус и встать на Крещатике, но не сделал он и нескольких шагов, как кто-то позвал его:

— Товарищ! Товарищ!

Это был извозчик. Расплачиваясь, он снова затосковал.

И, спускаясь по темной крутой улице думал о метле жизни, которая заметает следы прошлого. Великой, священной метле, всегда новой и безупречной. А все-таки он не был спокоен. Его тянуло туда, где он оставил частички самого себя, и эти рассыпанные частички не давали ему покоя, словно он хотел собрать их и вернуть себе, чувствуя обеднение своего существа. Дойдя до площади Революции, освещенной фонарями и подвижным блеском трамвая, он медленно свернул налево на узкие улицы Подола. Вот Нижний Вал. Вот дом Гнедых, его первое пристанище. Он остановился на противоположной стороне улицы и смотрел на знакомый ему двор, на сарай, на крыльцо, где сидел вечерами. Странно,—окна были ярко освещены, и прекрас-

ные звуки проходили сквозь его стены на сонную тишину улицы. Там танцовали под звонкие переливы мандолины. Старый ветхий домик раскрыл свои глаза и вышел из гробовой тишины. Домик ожил, и в этом позднем воскресении тоже, может быть, обозначился его ход по земле, ход человека, который приближается к смерти.

Внезапно глубокое спокойствие охватило его. Смешно вспоминать, ибо все позади засыпается геологическими наслоениями, превращается в прах, под гнетущим действием времени. Безумец тот, кто желает оживить воспоминание новым существованием, ибо прошлое разлагается, как труп.

На площади Интернационала он замер от неожиданности: навстречу ему плыли светящиеся незабываемые глаза, улыбаясь ему с неподвижной маски женского лица. Он узнал их сразу. Он кинулся к ним, как на спасательный огонь маяка.

— Рита, Риточка!—шептал он, пожимая ей руки.

Он чувствовал теперь ту ранку, которую она оставила когда-то на его ладони, в своем сердце и готов был обнять эту женщину тут, среди улицы, страстно и бессознательно.

Она усмехнулась.

— Какая неожиданная встреча!

— Только неожиданная?—взволнованно спросил Степан.

— И желанная.

Он восторженно смотрел на нее.

— Куда вы идете?—спросил наконец.

— На Малую Подвальную.

Он взял ее под руку.

— Идемте.

Но в темноте переулка остановился и страстно обнял ее за талию.

Она освободилась и недовольно шепнула:

— Вы, кажется, сошли с ума.

— Да, я безумец!—радостно ответил он, снова взяв ее под руку.—Склонитесь ко мне. Ну, ближе! Ну, не будьте скупой! Я блуждал сегодня целый вечер. Я и портфель свой где-то потерял. Но зато нашел вас. Вы не можете меня понять. После того как вы уехали тогда, я ничего не мог делать. Я жил воспоминаниями о вас, надеждою вас увидеть.

— Правда? Я тоже вас не забыла.

— Тем лучше! Но я еще не уверен в том, что это вы. Понимаете? Вы в другом костюме, и мне кажется, что это не вы.

— Нужны доказательства?

— Вы отгадали мою мысль!—вскрикнул он.

Она на миг, на один миг коснулась его прежним поцелуем.

— Это я?

— Да, вы,—ответил он. Потом спросил:—Вы надолго в Киев?

— До осени.

Он благодарно пожал ей руку. Он немного побаивался, что она скажет навсегда.

— Я безумно люблю вас,—шепнул он.—Вы особенная, вы чудесная!

Вся скорбь его полилась вдруг любовным шопотом, трогательными словами, нежными названиями, смелыми надуманными сравнениями, в которых вся глубина его чувств.

Внезапно она остановилась.

— Довольно, шалунишка! Я уже дома.

Он бурно вскрикнул:

— Не гоните меня! Позвольте зайти к вам.

Она погрозила пальцем.

— Нельзя, я живу у родителей.

— Ах, как это ужасно!—плаксиво промолвил Степан.—Что же делать?

— Завтра мы танцуем в опере. Ждите меня.

— Только завтра?

— Только завтра. Но я хочу цветов.

— Вы их получите.

Во мраке подъезда, еле освещенного лампами, он целовал ее пылко, требовательно и безудержно, ища в глубине ее уст разгадки жизни. Потом быстро пошел домой, расцветая радостью.

Никогда еще он так сильно не ощущал себя. Земля плыла под ним бархатным ковром, и крыши домов приветствовали его, как фуражки великанов, а в голове, прекрасной свободной голове, рядами, лавами, роями, в счастливом восторге носились всеобъемлющие мысли.

Не ожидая лифта, он решительно взбежал на шестой этаж и, войдя в комнату, распахнул окно в темную бездну города.

Город покорно лежал внизу волнистыми глыбами утесов, размеченный огненными точками улиц, и простирал ему из темени горбов острые каменные пальцы. Он замер от сладостного созерцания величия этой новой стихии и внезапно широким движением послал вниз поцелуй.

Но потом, при свете лампы, стал писать свою повесть о людях.

— —

Киев. 1927.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР

Винниченко, В. — БОРЬБА. Перевод с украинск. Под редакц. Е. Приходченко. Стр. 261. Цена 1 р. 90 коп.

Винниченко, В. — ТАЛИСМАН. Перевод с украинск. Под ред. Е. Приходченко. Стр. 289. Цена 2 руб.

Коцюбинский, М. — СОЧИНЕНИЯ. Перевод с украинского. Под редакц. Ф. Конара. Том I. Стр. 454. Ц. 2 р. 50 к. Том II. Стр. 461. Ц. 2 р. 50 коп.

Нечуй-Левицкий, И. — БУРЛАЧКА. Перевод с украинского П. Опанасенко. Стр. 191. Ц. 1 р. 40 коп.

Франко, Ив. — БОРИСЛАВ СМЕЕТСЯ. Повесть. Пер. с украинск. В. Ф. Дуткевича. Под ред. Е. Приходченко. Стр. 95. Ц. 60 к.

Франко, Ив. — ЗАХАР БЕРКУТ. Картина общественной жизни Карпатской Руси XIII века. Перевод с украинского В. Ф. Дуткевича. Стр. 196. Ц. 1 р. 20 к.

Бядуля, З. — СОЛОВЕЙ. Роман. Пер. с белорусск. К. А. Пушкаревича. Стр. 182. Ц. 1 руб.

Цишка Гартный. — ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. Пер. с белорусск. В. Раковской. Со вступит. статьей Сергея Городецкого. Стр. 213. Ц. 1 р. 50 коп.

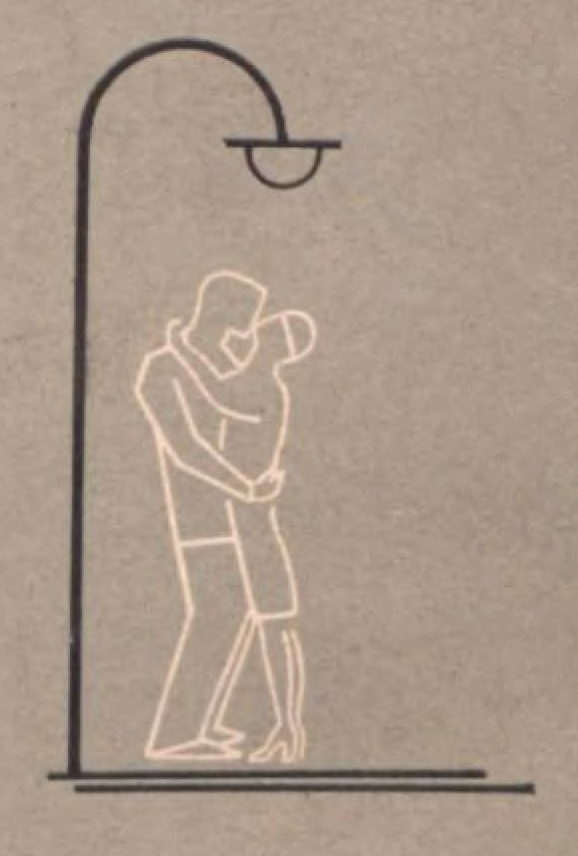
Цишка Гартный. — ЩЕПКИ НА ВОЛНАХ. Рассказы. Пер. с белорусского К. Пушкаревича. Стр. 212. Ц. 1 р. 5 к.

Гуща, Тарас (Якуб Колас). — В ГЛУШИ ПОЛЕСЬЯ. Пер. с белорусского К. Яковчика. Стр. 211. Ц. 1 р. 50 к.

Амур-Санан, А. М. — МУДРЕШКИН СЫН. С предисл. Ф. Ф. Раскольникова и И. С. Архинчеева. Изд. 3-е. Стр. 240. Ц. 1 р. 20 к.

Лебедев, Д. А. — ДОМИК НА САКМАРЕ. Роман из жизни Башкирии. Стр. 248. Ц. 1 р. 75 к.

Лебедев, Д. А. — МАМБЕТ И КЫДЫРБАЙ. Повесть. Стр. 178. Цена 1 р. 25 коп.



2 р. 25 к.